

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://to1stoyleo.ru/> приятного чтения!

Русский мир. Лев Николаевич Толстой

Вместо предисловия

(Из очерка М. Горького «Лев Толстой»)

...У него удивительные руки – некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать всё. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на такого русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой», и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов...

Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса неприютные и чужие всем и всему. Мир – не для них, бог – тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди – пеньки, корни, камни по дороге, – о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним.

Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно – в пресные воды рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно ей, и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чувствует, что молчит еще больше. Иного – никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится.

В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «БОГ есть мое желание».

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его – что это?

– Незаконченная мысль, – сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами. – Должно быть, я хотел сказать: бог есть мое желание познать его... Нет, не то... – Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге».

* * *

Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновьи ноги, потряхивая десятифунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее.

– Вот такими кариатидами и поддерживалось всё это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими вот лошадьми, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного растворяла. Это полезно.

О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с той грубостью русского мужика, которая – раньше – неприятно подавляла меня. Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова:

– Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

– Я был неутомимый...

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о «Вареньке Олесовой», «Двадцать шесть и одна». С обычной точки зрения речь его была цепью «неприличных» слов. Я был смущен этим и даже обижен; мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.

* * *

Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищурив острые глазки, и, по-детски – трубой – сложив губы, насвистывал неумело.

– Как ярится пичужка! Наяривает. Это – какая?

Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерном для этой птицы.

– На всю жизнь одна песня, а – ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность – справедливо ли это? – задумчиво и как бы сам себя спросил он. – Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что ей следует знать о нем. Он сказал – и забыл, а она помнит. Может быть, ревность – от страха унижить душу, от боязни быть униженным и смешным? Не та баба опасна, которая держит за..., а которая – за душу.

Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с «Крейцеровой сонатой», он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил:

– Я не зяблик.

Вечером, гуляя, он неожиданно произнес:

– Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет – трагедия спальни.

Говоря это, он улыбался торжественно, – у него является иногда такая широкая, спокойная улыбка человека, который преодолел нечто крайне трудное или которого давно грызла острая боль, и вдруг – нет ее. Каждая мысль впивается в душу его, точно клещ; он или сразу отрывает ее, или же дает ей напиться крови вдоволь, и, назрев, она незаметно отпадает сама...

Больше всего он говорит о боге, о мужике и о женщине. О литературе – редко и скудно, как будто литература чужое ему дело. К женщине он, на мой взгляд, относится непримиримо враждебно и любит наказывать ее, – если она не Кити и не Наташа Ростова, то есть существо недостаточно ограниченное. Это – вражда мужчины, который не успел исчерпать столько счастья, сколько мог, или вражда духа против «унизительных порывов плоти»? Но это – вражда, и – холодная, как в «Анне Карениной». Об «унизительных порывах плоти» он хорошо говорил в воскресенье, беседуя с Чеховым и Елпатьевским по поводу «Исповеди» Руссо. Сулер записал его слова, а потом, приготавливая кофе, сжег записку на спиртовке. А прошлый раз он спалил суждения Л. Н. об ибсене и потерял записку о символизме свадебных обрядов, а Л. Н. говорил о них очень языческие вещи, совпадая кое в чем с В. В. Розановым.

* * *

Иногда кажется: он только что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже – не так двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немного.

«Что значит – знать? Вот я знаю, что я – Толстой, писатель, у меня – жена, дети, седые волосы, некрасивое лицо, борода, – всё это пишут в паспортах. А о душе в

паспортах не пишут, о душе я знаю одно: душа хочет близости к богу. А что такое – бог? То, частица чего есть моя душа. Вот и всё. Кто научился размышлять, тому трудно веровать, а жить в боге можно только верой. Тертулиан сказал: «Мысль есть зло».

Несмотря на однообразие проповеди своей, – безгранично разнообразен этот сказочный человек.

Сегодня, в парке, беседуя с муллой Гаспры, он держал себя, как доверчивый простец-мужичок, для которого пришел час подумать о конце дней. Маленький и как будто нарочно еще более съежившийся, он, рядом с крепким, солидным татаринном, казался старичком, душа которого впервые задумалась над смыслом бытия и – боится ее вопросов, возникших в ней. Удивленно поднимал мохнатые брови и, пугливо мигая остренькими глазками, погасил их нестерпимый, пронизательный огонек. Его читающий взгляд недвижно впился в широкое лицо муллы, и зрачки лишились остроты, смущающей людей.

Он ставил мулле «детские» вопросы о смысле жизни, душе и боге, с необыкновенной ловкостью подменяя стихи Корана стихами Евангелия и пророков. В сущности – он играл, делая это с изумительным искусством, доступным только великому артисту и мудрецу.

Несколько раз я видел на его лице, в его взгляде, хитренькую и довольную усмешку человека, который, неожиданно для себя, нашел нечто спрятанное им. Он спрятал что-то и – забыл: где спрятал? Долгие дни жил в тайной тревоге, всё думая: куда же засунул я это, необходимое мне? И – боялся, что люди заметят его тревогу, его утрату, заметят и – сделают ему что-нибудь неприятное, нехорошее. Вдруг – вспомнил, нашел. Весь исполнился радостью и, уже не заботясь скрыть ее, смотрит на всех хитренько, как бы говоря:

«Ничего вы со мною не сделаете».

Но о том – что нашел и где – молчит.

* * *

Как-то он неожиданно спросил меня – точно ударил:

– Вы почему не веруете в бога?

– Веры нет, Л. Н.

– Это – неправда. Вы по натуре верующий, и без бога вам нельзя. Это вы скоро почувствуете. А не веруете вы из упрямства, от обиды: не так создан мир, как вам надо. Не веруют также по застенчивости; это бывает с юношами: боготворят женщину, а показать это не хотят, боятся – не поймет, да и храбрости нет. Для веры – как для любви – нужна храбрость, смелость. Надо сказать себе – верую, – и всё будет хорошо, всё явится таким, как вам нужно, само себя объяснит вам и привлечет вас. Вот вы многое любите, а вера – это и есть усиленная любовь, надо полюбить еще больше – тогда любовь превратится в веру. Когда любят женщину – так самую лучшую на земле, – непременно и каждый любит самую лучшую, а это уже – вера. Неверующий не может любить. Он влюбляется сегодня в одну, через год – в другую. Душа таких людей – бродяга, она живет бесплодно, это – нехорошо. Вы родились верующим, и нечего ломать себя. Вот вы говорите – красота? А что же такое красота? Самое высшее и совершенное – бог.

Раньше он почти никогда не говорил со мной на эту тему, и ее важность, неожиданность как-то смяла, опрокинула меня. Я молчал. Он, сидя на диване, поджал под себя ноги, выпустил в бороду победоносную улыбочку и сказал, грозя пальцем:

– От этого – не отмолчитесь, нет!

А я, не верующий в бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю:

«Этот человек – богоподобен!»

Насилие власти над народом

«Не верьте, что народ вас любит...»
(Из письма Л.Н. Толстого царю Николаю II)
Любезный брат!

Такое обращение я счел наиболее уместным потому, что обращаюсь к вам в этом письме не столько как к царю, сколько как к человеку – брату. Кроме того еще и потому, что пишу вам как бы с того света, находясь в ожидании близкой смерти.

Мне не хотелось умереть, не сказав вам того, что я думаю о вашей теперешней деятельности и о том, какую она могла бы быть, какое большое благо она могла бы принести миллионам людей и вам и какое большое зло она может принести людям и вам, если будет продолжаться в том же направлении, в котором идет теперь.

Третью России находится в положении усиленной охраны, то есть вне закона. Армия полицейских – явных и тайных – все увеличивается. Тюрьмы, места ссылки и каторги переполнены сверх сотен тысяч уголовных еще и политическими, к которым причисляют теперь и рабочих. Цензура дошла до нелепостей запрещений, до которых она не доходила в худшее время 40-х годов. Религиозные гонения никогда не были столь часты и жестоки, как теперь, и становятся все жесточе и жесточе и чаще. Везде в городах и фабричных центрах сосредоточены войска и высылаются с боевыми патронами против народа. Во многих местах уже были братоубийственные кровопролития, и везде готовятся и неизбежно будут новые и еще более жестокие.

И как результат всей этой напряженной и жестокой деятельности правительства, земледельческий народ – те 100 миллионов, на которых зиждется могущество России, – несмотря на непомерно возрастающий государственный бюджет или, скорее, вследствие этого возрастания, нищает с каждым годом, так что голод стал нормальным явлением. И таким же явлением стало всеобщее недовольство правительством всех сословий и враждебное отношение к нему.

И причина всего этого, до очевидности ясная, одна: та, что помощники ваши уверяют вас, что, останавливая всякое движение жизни в народе, они этим обеспечивают благоденствие этого народа и ваше спокойствие и безопасность. Но ведь скорее можно остановить течение реки, чем установленное богом всегдашнее движение вперед человечества. Понятно, что люди, которым выгоден такой порядок вещей и которые в глубине души своей говорят: «после нас хоть потоп», могут и должны уверять вас в этом; но удивительно, как вы, свободный, ни в чем не нуждающийся человек, и человек разумный и добрый, можете верить им и, следуя их ужасным советам, делать или допускать делать столько зла ради такого неисполнимого намерения, как остановка вечного движения человечества от зла к добру, от мрака к свету.

Ведь вы не можете не знать того, что с тех пор как нам известна жизнь людей, формы жизни этой, как экономические и общественные, так религиозные и политические, постоянно изменялись, переходя от более грубых, жестоких и неразумных к более мягким, человечным и разумным.

* * *

Ваши советники говорят вам, что русскому народу как было свойственно когда-то православие и самодержавие, так оно свойственно ему и теперь и будет свойственно до конца дней и что поэтому для блага русского народа надо во что бы то ни стало поддерживать эти две связанные между собой формы: религиозного верования и политического устройства.

Но ведь это двойная неправда. Во-первых, никак нельзя сказать, чтобы православие, которое когда-то было свойственно русскому народу, было свойственно ему и теперь. Вы можете видеть, что наиболее духовно развитые люди народа, несмотря на все невыгоды и опасности, которым они подвергаются, отступая от православия, с каждым годом все больше и больше переходят в так называемые секты. Во-вторых, если справедливо то, что народу свойственно православие, то незачем так усиленно поддерживать эту форму верования и с такою жестокостью преследовать тех, которые отрицают ее.

Что же касается самодержавия, то оно точно так же если и было свойственно русскому народу, когда народ этот еще верил, что царь – непогрешимый земной бог и сам один управляет народом, то далеко уже несвойственно ему теперь, когда все знают или, как только немного образуются, узнают – во-первых, то, что хороший царь есть только «счастливая случайность», а что цари могут быть и

бывали и изверги и безумцы, как Иоанн IV или Павел, а во-вторых, то, что, какой бы он ни был хороший, никак не может управлять сам 130-миллионным народом, а управляют народом приближенные царя, заботящиеся больше всего о своем положении, а не о благе народа.

Вы скажете: царь может выбирать себе в помощники людей бескорыстных и хороших. К несчастью, царь не может этого делать потому, что он знает только несколько десятков людей, случайно или разными происками приблизившихся к нему и старательно загораживающих от него всех тех, которые могли бы заместить их. Так что царь выбирает не из тех тысяч живых, энергичных, истинно просвещенных, честных людей, которые рвутся к общественному делу, а только из тех, про которых говорил Бомарше: «Будь ничтожен и подобострастен и всего достигнешь». И если многие русские люди готовы повиноваться царю, они не могут без чувства оскорбления повиноваться людям своего круга, которых они презирают и которые так часто именем царя управляют народом.

* * *

Вас, вероятно, приводит в заблуждение о любви народа к самодержавию и его представителю – царю то, что везде при встречах вас в Москве и других городах толпы народа с криками «ура» бегут за вами. Не верьте тому, чтобы это было выражением преданности вам, – это толпа любопытных, которая побегит точно так же за всяким непривычным зрелищем. Часто же эти люди, которых вы принимаете за выразителей народной любви к вам, суть не что иное, как полицией собранная и подстроенная толпа, долженствующая изображать преданный вам народ, как это, например, было с вашим дедом в Харькове, когда собор был полон народа, но весь народ состоял из переодетых городских.

Если бы вы могли, так же как я, походить во время царского проезда по линии крестьян, расставленных позади войск, вдоль всей железной дороги, и послушать, что говорят эти крестьяне: старосты, сотские, десятские, сгоняемые с соседних деревень и на холоду и в слякоти без вознаграждения со своим хлебом по несколько дней ожидающиеся проезда, вы бы услышали от самых настоящих представителей народа, простых крестьян, сплошь по всей линии речи, совершенно несогласные с любовью к самодержавию и его представителю. Если лет 50 тому назад еще стоял высоко престиж царской власти, то за последние 30 лет он, не переставая, падал и упал в последнее время так, что во всех сословиях никто уже не стесняется смело осуждать не только распоряжения правительства, но самого царя и даже бранить его и смеяться над ним.

Самодержавие есть форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в центральной Африке, отдаленной от всего мира, но не требованиям русского народа, который все более и более просвещается общим всему миру просвещением. И потому поддерживать эту форму правления и связанное с нею православие можно только, как это и делается теперь, посредством всякого насилия: усиленной охраны, административных ссылок, казней, религиозных гонений, запрещения книг, газет, извращения воспитания и вообще всякого рода дурных и жестоких дел.

* * *

Мерами насилия можно угнетать народ, но нельзя управлять им. Единственное средство в наше время, чтобы действительно управлять народом, только в том, чтобы, став во главе движения народа от зла к добру, от мрака к свету, вести его к достижению ближайших к этому движению целей. Для того же, чтобы быть в состоянии сделать это, нужно прежде всего дать народу возможность высказать свои желания и нужды и, выслушав эти желания и нужды, исполнить те из них, которые будут отвечать требованиям не одного класса или сословия, а большинству его, массе рабочего народа.

И те желания, которые выскажет теперь русский народ, если ему будет дана возможность это сделать, по моему мнению, будут следующие.

Прежде всего рабочий народ скажет, что желает избавиться от тех исключительных законов, которые ставят его в положение пария, не пользующегося правами всех остальных граждан; потом скажет, что он хочет свободы передвижения, свободы обучения и свободы исповедания веры, свойственной его духовным потребностям; и, главное, весь 100-миллионный народ в один голос скажет, что он желает свободы пользования землей, то есть уничтожения права земельной собственности.

И вот это–то уничтожение права земельной собственности и есть, по моему мнению, та ближайшая цель, достижение которой должно сделать в наше время своей задачей русское правительство.

В каждый период жизни человечества есть соответствующая времени ближайшая ступень осуществления лучших форм жизни, к которой оно стремится. Пятьдесят лет тому назад такой ближайшей ступенью было для России уничтожение рабства. В наше время такая ступень есть освобождение рабочих масс от того меньшинства, которое властвует над ними, – то, что называется рабочим вопросом...

Советники ваши скажут вам, что освобождение земли от права собственности есть фантазия и неисполнимое дело. По их мнению, заставить 130-миллионный живой народ перестать жить или проявлять признаки жизни и втиснуть его назад в ту скорлупу, из которой он давно вырос, – это не фантазия и не только не неисполнимо, но самое мудрое и практическое дело. Но ведь стоит только серьезно подумать для того, чтобы понять, что действительно неисполнимо, хотя оно и делается, и что, напротив, не только исполнимо, но своевременно и необходимо, хотя оно и не начиналось.

Я лично думаю, что в наше время земельная собственность есть столь же вопиющая и очевидная несправедливость, какую было крепостное право. Думаю, что уничтожение ее поставит русский народ на высокую степень независимости, благоденствия и довольства. Думаю тоже, что эта мера, несомненно, уничтожит все то социалистическое и революционное раздражение, которое теперь разгорается среди рабочих и грозит величайшей опасностью и народу и правительству.

Но я могу ошибаться, и решение этого вопроса в ту или другую сторону может быть дано опять–таки только самим народом, если он будет иметь возможность высказаться.

Так что, во всяком случае, первое дело, которое теперь предстоит правительству, это уничтожение того гнета, который мешает народу высказать свои желания и нужды. Нельзя делать добро человеку, которому мы завяжем рот, чтобы не слышать того, чего он желает для своего блага. Только узнав желания и нужды всего народа или большинства его, можно управлять народом и сделать ему добро.

* * *

Любезный брат, у вас только одна жизнь в этом мире, и вы можете мучительно потратить ее на тщетные попытки остановки установленного богом движения человечества от зла к добру, мрака к свету и можете, вникнув в нужды и желания народа и посвятив свою жизнь исполнению их, спокойно и радостно провести ее в служении богу и людям.

Как ни велика ваша ответственность за те годы вашего царствования, во время которых вы можете сделать много доброго и много злого, но еще больше ваша ответственность перед богом за вашу жизнь здесь, от которой зависит ваша вечная жизнь и которую бог дал вам не для того, чтобы предписывать всякого рода злые дела или хотя участвовать в них и допускать их, а для того, чтобы исполнять его волю. Воля же его в том, чтобы делать не зло, а добро людям.

Подумайте об этом не перед людьми, а перед богом и сделайте то, что вам скажет бог, то есть ваша совесть. И не смущайтесь теми препятствиями, которые вы встретите, если вступите на новый путь жизни. Препятствия эти уничтожатся сами собой, и вы не заметите их, если только то, что вы будете делать не для славы людской, а для своей души, то есть для бога.

Простите меня, если я нечаянно оскорбил или огорчил вас тем, что написал в этом письме. Руководило мною только желание блага русскому народу и вам. Достиг ли я этого – решит будущее, которого я, по всем вероятностям, не увижу. Я сделал то, что считал своим долгом.

«Вы заслужили ужасную славу...»

(Из письма Л.Н. Толстого к П.А. Столыпину)

Пишу вам об очень жалком человеке, самом жалком из всех, кого я знаю теперь в России. Человека этого вы знаете и, странно сказать, любите его, но не понимаете всей степени его несчастья и не жалеете его, как того заслуживает его положение. Человек этот – вы сами.

Давно я уже хотел писать вам и начал даже письмо писать вам не только как к брату по человечеству, но как исключительно близкому мне человеку, как к сыну любимого мною друга. Но я не успел окончить письма, как деятельность ваша, все более и более дурная, преступная, все более и более мешала мне окончить с непритворной любовью начатое к вам письмо.

Не могу понять того ослепления, при котором вы можете продолжать вашу ужасную деятельность – деятельность, угрожающую вашему материальному благу (потому что вас каждую минуту хотят и могут убить), губящую ваше доброе имя, потому что уже по теперешней вашей деятельности вы уже заслужили ту ужасную славу, при которой всегда, покуда будет история, имя ваше будет повторяться как образец грубости, жестокости и лжи.

Губит же, главное, ваша деятельность, что важнее всего, вашу душу. Ведь еще можно бы было употреблять насилие, как это и делается всегда во имя какой-нибудь цели, дающей благо большому количеству людей, умиротворяя их или изменяя к лучшему устройство их жизни, вы же не делаете ни того, ни другого, а прямо обратное. Вместо умиротворения вы до последней степени напряжения доводите раздражение и озлобление людей всеми этими ужасами произвола, казней, тюрем, ссылок и всякого рода запрещений, и не только не вводите какое-либо такое новое устройство, которое могло бы улучшить общее состояние людей, но вводите в одном, в самом важном вопросе жизни людей – в отношении их к земле – самое грубое, нелепое утверждение того, зло чего уже чувствуется всем миром и которое неизбежно должно быть разрушено – земельная собственность...

Мне, стоящему одной ногой в гробу и видящему все те ужасы, которые совершаются теперь в России, так ясно, что достижение той цели умиротворения, к которой вы, вместе с вашими соучастниками, как будто бы стремитесь, возможно только совершенно противоположным путем, чем тот, по которому вы идете: во-первых, прекращением насилий и жестокостей, и, во-вторых, удовлетворением требований с одной стороны всех истинно мыслящих, просвещенных людей, и с другой – огромной массы народа, никогда не признававшей и не признающей право личной земельной собственности.

Да, подумайте, подумайте о своей деятельности, о своей судьбе, главное, о своей душе, и измените все направление вашей деятельности, – или, если вы не можете этого сделать, уйдите от нее, признав ее ложной и несправедливой.

«Два враждебных лагеря»

(Из обращения Л.Н. Толстого «К царю и его помощникам»)

Опять убийства, опять уличные побоища, опять будут казни, опять страх, ложные обвинения, угрозы и озлобление с одной стороны, и опять ненависть, желание мщения и готовность жертвы с другой. Опять все русские люди разделились на два враждебных лагеря и совершают и готовятся совершить величайшие преступления.

Очень может быть, что теперь проявившееся волнение и будет подавлено. Но если теперь оно и будет подавлено, оно не может заглухнуть, а будет все более и более развиваться в скрытом виде и неизбежно рано или поздно проявится с увеличенной силой и произведет еще худшие страдания и преступления.

Зачем это? Зачем это, когда так легко избавиться от этого?

Обращаемся ко всем вам, людям, имеющим власть, от царя, членов государственного совета, министров, до родных – матери, жены, дядей, братьев и сестер, близких людей царя, могущих влиять на него убеждением. Обращаемся к вам не как к врагам, а как к братьям, неразрывно – хотите ли вы этого или нет – связанным с нами так, что всякие страдания, которые мы несем, отзываются и на вас, и еще гораздо тяжелее, если вы чувствуете, что могли устранить эти страдания и не сделали этого, – сделайте так, чтобы положение это прекратилось.

Вам или большинству из вас кажется, что все происходит оттого, что среди правильного течения жизни являются какие-то беспокойные, недовольные люди, мутящие народ и нарушающие это правильное течение, что виноваты во всем только эти люди, что надо усмирить, обуздать этих беспокойных, недовольных людей, и тогда опять все будет хорошо, и изменять ничего не надо.

Но ведь если бы все дело было в беспокойных и злых людях, то стоило бы только переловить, заключить их в тюрьмы, сослать или казнить, и все волнения

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
окончились бы. Но вот уже более 30 лет ловят, заключают, казнят, ссылают этих людей тысячами, а количество их все увеличивается, и недовольство существующим строем жизни не только растет, но все расширяется и захватило теперь уже миллионы людей рабочего народа, огромное большинство всего народа. Ясно, что недовольство происходит не от беспокойных и злых людей, а от чего-то другого.

Стоит только вам, правительственным людям, на минуту отвести внимание от той острой борьбы, которой вы сейчас заняты, – перестать наивно думать то, что выражено в недавнем циркуляре министра внутренних дел – что если полиция будет вовремя разгонять толпу и вовремя стрелять в нее, то все будет тихо и спокойно, – стоит вам только перестать верить этому, чтобы ясно увидеть ту причину, которая производит недовольствие в народе и выражается волнениями, принимающими все более и более широкие и глубокие размеры.

Причины в том, что правительство решило не только не идти вперед, отрешаясь все более и более от несвойственных условиям жизни деспотических форм правления, но напротив, вообразив себе, что спасение, именно в этих грубых отживших формах, в продолжение 20 лет не только не идет вперед, соответственно общему развитию и усложнению жизни, и даже не стоит на месте, а идет назад, этим обратным движением все более и более разделяясь с народом и его требованиями.

Так что виноваты не злые, беспокойные люди, а правительство, не желающее видеть ничего, кроме своего спокойствия в настоящую минуту. Дело не в том, чтобы вам сейчас защищаться от врагов, желающих вам зла, – никто не желает вам зла, – а в том, чтобы, увидав причину недовольства общества, устранить ее. Люди все не могут желать раздора и вражды, а всегда предпочитают жить в согласии и любви с своими братьями. Если же теперь они волнуются и как будто желают вам зла, то только потому, что вы представляетесь им той преградой, которая лишает не только их, но и миллионы их братьев лучших благ человека – свободы и просвещения...

* * *

Обращаемся ко всем вам – царю, министрам, членам государственного совета и советчикам и близким к царю, – вообще ко всем лицам, имеющим власть, помогите успокоению общества и избавлению его от страданий и преступлений. Обращаемся к вам не как к людям другого лагеря, а как к невольным единомышленникам, сотоварищам нашим и братьям.

Не может быть того, чтобы в обществе людей, связанных между собою, было бы хорошо одним, а другим – худо. В особенности же не может этого быть, если худо большинству. Хорошо же всем может быть только тогда, когда хорошо самому сильному, трудящемуся большинству, на котором держится все общество.

Помогите же улучшить положение этого большинства – только тогда и ваше положение будет спокойно и истинно хорошо.

Мнение это не одно мое мнение, а мнение многих и лучших, разумных, бескорыстных и добрых людей, желающих того же.

«Ничего не может быть хуже насилия власти...»

(Из книги Л.Н. Толстого «Суеверие государства»)

Люди в наше время так привыкли в тому, что из всех дел, которые делаются, есть такие, которые им запрещено делать, и такие, которые им велено делать, как бы это ни было трудно для них, и что если они будут делать то, что запрещено, и не будут делать того, что повелено, то кто-то за это накажет их, и им будет от этого худо. Люди так привыкли к этому, что и не спрашивают, кто те лица, которые запрещают им, и кто будет наказывать за неисполнение, и покорно исполняют все, что от них требуется.

Людям кажется, что требуют от них всего этого не люди, а какое-то особое существо, которое они называют начальством, правительством, государством. А стоит только спросить себя: кто такое это начальство, правительство, государство, чтобы понять, что это просто люди, такие же, как и все, и что приводить в исполнение все их предписания будет никто иной, а только тот самый разряд людей, над которыми и производятся эти насилия.

Если не будет государственной власти, говорят начальствующие, то более злые будут властвовать над менее злыми. Но дело в том, что то, чем пугают, уже совершилось: теперь уже властвуют более злые над менее злыми, и именно потому,

что существует государственная власть. О том же, что произойдет от того, что не будет государственной власти, мы судить не можем. По всей вероятности должно заключить, что если люди, делающие насилие, перестанут его делать, то жизнь всех людей станет от этого никак не хуже, но лучше.

Стоит только вдуматься в сущность того, на что употребляет свою власть правительство, для того, чтобы понять, что управляющие народами люди должны быть жестокими, безнравственными и непременно стоят ниже среднего нравственного уровня людей своего времени и общества. Не только нравственный, но не вполне безнравственный человек не может быть на престоле или министром, или законодателем, решателем и определителем судьбы целых народов.

Нравственный добродетельный государственный человек есть такое же внутреннее противоречие, как целомудренная проститутка, или воздержанный пьяница, или кроткий разбойник.

* * *

Макиавелли вот как поучает государей об исполнении их должности: «Государям совсем не нужно иметь хорошие качества... но каждому из них необходимо показывать вид, что он имеет эти качества. Скажу больше – в самом деле правителям эти качества могут быть только вредны, тогда как притворство в том, что имеешь те добрые качества, которых не имеешь, напротив, очень полезно. Так для государей очень важно уметь выказаться милосердными, верными своему слову, человеколюбивыми, религиозными и откровенными; быть же таковыми на самом деле не вредно только в том случае, если государь с подобными качествами сумеет в случае надобности заглушить их и выказать совершенно противоположное.

Всякий может видеть, что государям, особенно только что получившим власть или управляющим вновь возникающими монархиями, бывает невозможно согласовать свой образ действий с требованиями нравственности: весьма часто, для поддержания порядка в государстве, они должны поступать против законов совести, милосердия, человеколюбия и даже против религии. Государи должны обладать гибкой способностью изменять свои убеждения сообразно обстоятельствам, и, как я сказал выше, если возможно, не надо избегать честного пути; но, в случае необходимости, прибегать к бесчестным средствам. Особенно важно для государей притворяться благочестивыми; в этом случае люди, судящие по большей части только по одной внешности, так как способность глубокого суждения дана немногим, легко обманываются. Личина для государей необходима, так как большинство судит о них по тому, чем они кажутся и только весьма немногие бывают в состоянии отличить кажущееся от действительного; если даже эти немногие поймут настоящие качества государей, они не посмеют высказать свое мнение, противное мнению большинства, да и побоятся оскорбить достоинство верховной власти, представляемой государем. Кроме того, так как действия государей не подсудны, то подлежат обсуждению одни только последствия действий, а не сами действия. Если государь сумеет только сохранить свою жизнь и власть, то все средства, какие бы он не употреблял, для этого, будут считаться честными и похвальными».

* * *

Разбойники обируют преимущественно богатых, правительства же обируют преимущественно бедных, богатым же, помогающим им в их преступлениях, покровительствуют. Разбойники, делая свое дело, рискуют своей жизнью – правительства почти ничем не рискуют. Разбойники никого насильно не забирают в свою шайку, – правительства набирают своих солдат большей частью насильно. Разбойники делают добычу большей частью поровну, – правительства же распределяют добычу неравномерно: чем больше кто участвует в организованном обмане, тем больше он получает вознаграждения. Разбойники не развращают умышленно людей, – правительства же для достижения своих целей развращают целые поколения детей и взрослых ложными религиозными патриотическими учениями.

Главное же, ни один самый жестокий разбойник Стенька Разин, никакой Картуш не может сравниться по жестокости, безжалостности и изощренности в истязаниях не только со знаменитыми своей жестокостью злодеями-государями: Иваном Грозным, Людовиком XI, Елизаветами и т. п., но даже с теперешними конституционными и либеральными правительствами с их казнями, одиночными тюрьмами, дисциплинарными батальонами, ссылками, усмирениями бунтов, избиениями на войнах.

Монтень говорил: «Как удивительно то, что короли так легко верят тому, что в них все, и что народ так твердо верит в то, что он ничто». Сильные мира кажутся

великими только людям, которые стоят перед ними на коленях. Только встань люди с колен на ноги, и они увидят, что казавшиеся им такими великими люди – такие же, как и они.

* * *

Существенной особенностью каждого правительства является то, что оно требует от граждан той силы, которая составляет его основу. Таким образом, в государстве все граждане являются угнетателями самих себя. Правительство требует от граждан насилия и поддержки насилия.

Каждое правительство поддерживается вооруженными людьми, готовыми осуществлять силой его волю, сословием людей, воспитывающихся для того, чтобы убивать всех тех, кого велит убивать начальство. Люди эти полиция и, главным образом, армия. Армия есть ничто иное, как собрание дисциплинированных убийц. Обучение ее есть обучение убийству, ее победы – убийства.

Войско всегда стояло и теперь стоит в основе власти. Всегда власть находится в руках тех, кто повелевает войском, и всегда все властители от римских кесарей до русских и немецких императоров озабочены более всего войском: армия прежде всего поддерживает внешнее могущество правительства. Она не допускает того, чтобы власть была вырвана у него другим правительством. Война есть не что иное, как спор между несколькими правительствами о власти над подданными. В виду такого значения армий, каждое государство приведено к необходимости увеличивать войска, увеличение же войск заразительно, как это еще полтора столетия тому назад заметил Монтескье.

Но когда думают, что правительства содержат армию только для защиты от внешних нападений, то забывают, что войска нужны правительствам прежде всего для самозащиты от своих подавленных и приведенных в рабство подданных.

Как часто встречаешь людей, осуждающих войны, тюрьмы, всякого рода насилия и вместе с тем непосредственно участвующих в тех самых делах, которые они осуждают. Человек нашего времени, если он не хочет поступать безнравственно, должен очень внимательно обдумать те кажущиеся невинными дела, к участию в которых он призывается. Как, съедая котлету, человек должен знать, что эта котлета есть тело убитого барана, так точно и получая жалование на оружейном, пороховом заводе, или на службе офицером, или чиновником по сбору податей, он должен знать, что он получает жалование за то, что участвует в приготовлениях к убийству или в отбирании у бедных людей произведений их труда.

В наше время самые большие и вредные преступления не те, которые совершаются временами, а те, которые совершаются непрестанно и не признаются преступлениями.

* * *

Может быть, что для прежнего состояния людей нужно было государственное устройство; может быть, для некоторых людей оно нужно еще и теперь, но люди не могут не предвидеть того состояния, при котором насилие может только мешать их мирной жизни. А видя и предвидя это, люди не могут не стараться ввести такой порядок, в котором насилие стало бы и не нужно и невозможно. Средство осуществления этого порядка есть внутреннее совершенствование, не допускающее участия в насилии. Как движется жизнь отдельного человека от возраста к возрасту, так точно движется и жизнь всего человечества. И как в жизни отдельного человека бывают такие времена, когда ребенок становится юношей и не может уже жить по-прежнему, и юноша становится зрелым мужем, и зрелый муж стариком, так и все человечество переживает разные возрасты. Все показывает то, что в наше время мы переживаем переход человечества из одного возраста в другой. Ребяческий и юношеский возраст пережит. Надо жить так, как свойственно жить в зрелом возрасте.

Бакунин говорил: «Та перемена, которая предстоит теперь человечеству, это перемена то животного состояния к человеческому. Переход этот возможен только при исчезновении государства».

В наше время люди уже начинают понимать, что время государства прошло, и что оно держится только утвердившимся лжеучением, но не могут освободиться от него, потому что все так или иначе запутаны в нем.

Если государства и были когда-то на что-то нужны, то время это уже давно прошло,

и государства, особенно теперешние, только вредны. Теперешние государства со своими войсками напоминают того часового, которого, как рассказывают, еще долго продолжали ставить на место, где когда-то была скамейка, на которой когда-то имела привычку садиться во время гуляния уже давно умершая императрица.

* * *

Стоит только, отрешившись от принимаемого на веру лжеучения, и взглянуть на положение человека, живущего в государстве, – к какому бы самому деспотическому или самому демократическому государству он ни принадлежал, – чтобы ужаснуться на ту степень рабства, в котором живут теперь люди, воображая, что они свободны.

Над всяким человеком, где бы он ни родился, существует собрание людей, совершенно неизвестных ему, которые устанавливают законы его жизни: что он должен и чего не должен делать; и чем совершеннее государственное устройство, тем теснее сеть этих законов.

Определено, кому и как он должен присягать, т. е. обещаться исполнять все те законы, которые будут составляться и провозглашаться.

Определено, как и когда он может жениться (он должен жениться только на одной женщине, но может пользоваться домами терпимости). Определено, как он может разводиться с женой, как содержать своих детей, каких считать законными, каких незаконными, и кому и как наследовать и передавать свое имущество.

Определено, за какие нарушения законов, как и кем он судится и наказуется. Определено, когда он сам должен явиться в суд в качестве присяжного или свидетеля.

Определен возраст, при котором он может пользоваться трудами помощников, работников и даже число часов, которое может работать в день его помощник, пища, которую он должен давать ему.

Определено, когда и как он должен прививать предохранительные болезни своим детям; определены меры, которые он должен принимать и которым должен подвергаться при такой-то и такой-то болезни, постигшей его или семейных животных. Определены школы, в которые он должен посылать своих детей.

Определены размеры и прочность дома, который он может строить. Определено содержание его животных: лошадей, собак; как он может пользоваться водой и где может ходить без дороги.

Определены наказания за неисполнение всех этих и многих других законов.

Нельзя перечислить всех законов на законах и правил на правилах, которым он должен подчиняться и незнанием которых (хотя и нельзя их знать) не может отговариваться человек самого либерального государства.

При этом человек этот поставлен в такое положение, что при всякой покупке потребляемых им предметов: соли, пива, сукна, железа, керосина, чая, сахара и многого другого он должен отдавать большую часть своего труда для каких-то неизвестных ему дел и для уплаты процентов за долги, которые свершены кем-то во время его дедов и прадедов. Должен отдавать также часть своего труда и при всяком переезде с места на место, при всяком получении наследства или какой бы то ни было сделки с ближним. Кроме того, за ту часть земли, которую он занимает или своим жилищем или обработкой поля, с него требуют еще более значительную часть его труда.

Так что большая часть его труда, если он живет своим трудом, а не чужим, вместо того, чтобы употребляться на облегчение или улучшение положения его и положения его семьи, уходит на эти подати, пошлины, монополии.

Мало и этого: человеку этому в одних, в большинстве государств, велят, как только он войдет в возраст, поступать на несколько лет в военное самое жестокое рабство и идти воевать, в других же государствах: в Англии и Америке, он должен нанимать людей для этого же дела.

И вот люди, поставленные в такое положение не только не видят своего рабства, но гордятся им, считая себя свободными гражданами великих государств Британии,

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
Франции, Германии, России, гордятся этим так же, как лакеи гордятся важностью господ, которым они служат.

* * *

Говорят, что государственное устройство справедливо, потому что оно установлено большинством голосов. Но это, во-первых, неверно, – государственное устройство установлено не большинством голосов, а силой. А если бы даже оно и было поддерживаемо большинством голосов, то и это не делало бы его справедливым.

Не только один человек не имеет права распоряжаться многими, но и многие не имеют права распоряжаться одним.

«Когда среди 100 человек один властвует над 99 – это несправедливо, это деспотизм; когда 10 властвуют над 90 – это также несправедливо, это олигархия; когда же 51 властвует над 49 (и то только в воображении – в сущности же опять 10 или 11 из этих 51) – тогда это совершенно справедливо – это свобода».

Может ли быть что-нибудь смешнее такого рассуждения, а между тем это самое рассуждение служит основой деятельности всех улучшателей государственного устройства.

Шопенгауэр говорил, что цель государства в том, чтобы установить порядок, такой же, какой бы был среди людей, если бы все люди были руководимы справедливостью. Но если бы государства и достигли своей цели, то все-таки была бы не только разница, но полная противоположность между внешней справедливостью, достигнутой государством, и тем состоянием, в котором были бы люди, руководимые желанием справедливости. В обществе, руководимом желанием справедливости, никто не хотел бы творить несправедливостей; в самом же лучшем государственном устройстве было бы так, что никто не хотел бы терпеть несправедливости, так что одна и та же цель достигается двумя противоположными средствами. Как хищный зверь в наморднике столь же безвреден, как и травоядное. Дальше же этого предела государство не может идти: государство не может даже дать нам понятия о том, какая бы стала жизнь людей при взаимной благожелательности их между собою.

Говорят, что государство всегда было, и что поэтому нельзя жить без государства. Во-первых, государство не всегда было, а если и было и есть теперь, то это не показывает того, что оно всегда должно быть.

* * *

К правительствам, как к церквям нельзя относиться иначе, как или с благословением или с омерзением. До тех пор, пока человек не понял того, что такое правительство, так же, как и того, что такое церковь, он не может относиться к этим учреждениям иначе, как с благословением. Пока он руководится ими, ему нужно думать, для его самолюбия, что то, чем он руководится, есть нечто самобытное, великое и святое. Но как только он понял, что то, чем он руководится не есть нечто самобытное и священное, а что это только обман недобрых людей, которые под видом руководства для своих личных целей пользовались им, – так он не может тотчас же не испытать к этим людям отвращения.

Всякий истинных христианин при предъявлении к нему требования государства, противного его сознанию, может и должен сказать: «Я не могу доказывать ни необходимости ни вреда государства; знаю только одно то, что во-первых, мне не нужно государство, а, во-вторых, что я не могу совершать все те дела, которые нужны для существования государства».

Я живу, живу нынче еще; завтра очень может быть, что меня не будет, что я навсегда уйду туда, откуда пришел. Пока я живу, я знаю, что если я в любви с людьми, мне хорошо, спокойно, радостно, и потому пока я живу, я хочу любить и быть любимым. И вдруг приходят люди и говорят: «Пойдем с нами обирать, казнить, убивать, воевать, тебе будет от этого лучше, а если не тебе, то государству». – «Что такое? Какое такое государство? Что вы говорите? – ответит всякий не ошалевший разумный человек. – Оставьте меня в покое. Не говорите таких глупостей и гадостей».

Когда человеку приходится выбирать между тем, что велит Бог и что велит власть, и он делает то, что велит власть, то он поступает так, как поступил бы человек, слушающийся не того хозяина, у которого он живет, а того первого человека, которого он встретил на улице.

Мне говорят: «Давай столько-то денег какому-то тому, кто называется правительством. Этот же кто-то велит мне идти в солдаты и обещаться убивать, кого он велит». Я спрашиваю: «Кто этот кто-то?» Мне говорят: «Правительство». – «Кто такое правительство?» – «Люди». – «Кто же такие эти люди, особенные какие-нибудь?» – «Нет, такие же как и все». – «Зачем же мне делать то, что они велят мне. Еще добро бы все, что они велят, были бы дела добрые, а то прямо велят мне делать злое. Не хочу я этого. Оставьте меня в покое».

Вот что должны были бы сказать все люди, если бы они не были так одурены лжеучением государства.

«Кем мы управляемы?»

(Из статьи Л.Н. Толстого «Бессмысленные мечтания»)
Считается и предполагается, что правит делами государства царь; но ведь это только считается и предполагается: править делами государства один царь не может, потому что дела эти слишком сложны, он может только сделать все то, что ему вздумается по отношению тех дел, которые дойдут до него, и может назначать себе помощниками тех, кого ему вздумается; а править делами он не может потому, что это совершенно невозможно для одного человека.

Правят действительно: министры, члены разных советов, директора и всякого рода начальники. Попадают же в эти министры и начальники люди никак не по достоинствам, а по проискам, интригам, большей частью женским, по связям, родству, угодливости и случайности...

В России в наше время для того, чтобы управлять государством, нужны десять тысяч ежедневных решений. Кто же поставляет эти решения? Чиновники. Кто же эти чиновники? Это люди, для достижения своих личных целей пролезавшие во власть и руководимые только тем, чтобы им получать побольше денег.

В последнее время люди эти до такой степени у нас в России пали в нравственном и умственном значении, что если они прямо не воруют, как воровали те, которых обличили и прогнали, – они даже не умеют притвориться, что преследуют какие-нибудь общие государственные интересы, они только стараются как можно дольше получать свои жалованья, квартирные, разъездные. Так что управляет государством не самодержавная власть, – какое-то особенное, священное лицо, мудрое, неподкупное, почитаемое народом, – а управляет в действительности стая жадных, пронырливых, безнравственных чиновников.

Так что выходит, что управляемы мы не только не волей народа, не только не самодержавным царем, стоящим выше всех интриг и личных желаний, как хотят представить нам царя настоящие славянофилы, – но управляемы мы несколькими десятками самых безнравственных, хитрых, корыстных людей, – управляемы теми, которые одарены теми способностями посредственности и низости, при которых только и можно достигнуть высших мест власти...

Оскорбительно и унижительно повиноваться и подчиняться людям, нашим сверстникам, на наших глазах разными подлостями и гадостями вылезшим на высшие места и захватившим власть. Можно было скрепя сердце подчиняться Иоанну Грозному и Петру Третьему, но подчиняться и исполнять волю Малюты Скуратова и немецких капралов, любимцев Петра III – обидно... Зачем я буду подчиняться людям, заведомо подлым или глупым, или и то и другое вместе, которые 30-летней подлостью пролезли во власть и предписывают мне законы и образ действий?

* * *

Положение это оскорбительно, унижительно и просто глупо. Зачем и за что честные, бескорыстные, добрые люди будут повиноваться и делать волю людей самого низкого разбора, достигших своих положений упорной 20, 30-летней подлостью? Но как ни неприятно и ни глупо это положение, его бы можно было перенести, если бы дело шло только об унижении своем и о покорности в делах безразличных.

Но, к сожалению, дело ни в одном этом. Царствовать и управлять народом нельзя без того, чтобы не развращать, не одурять народ, не заставлять его делать дела дурные, без того, чтобы не развращать молодые поколения, детей, несмысленных, невинных детей народа.

И это самое совершается и этого самого мы не можем, не имеем права допустить без

Патриотизм как орудие власти

«Влияние правящих классов поддерживается патриотизмом»

(Из статьи Л.Н. Толстого «Патриотизм и правительство»)

Все мои доводы об отсталости, несвоевременности и вреде патриотизма встречались и встречаются до сих пор или молчанием, или умышленным непониманием, или еще всегда одним и тем же странным возражением: говорится, что вреден только дурной патриотизм, джингоизм, шовинизм, но что настоящий, хороший патриотизм есть очень возвышенное нравственное чувство, осуждать которое не только неразумно, но преступно. О том же, в чем состоит этот настоящий, хороший патриотизм, или вовсе не говорится, или вместо объяснения произносятся напыщенные высокопарные фразы, или же подставляется под понятие патриотизма нечто, не имеющее ничего общего с тем патриотизмом, который мы все знаем и от которого все так жестоко страдаем.

Не являются патриотизмом особенности каждого народа, которые защитники патриотизма умышленно подставляют под это понятие. Они говорят, что особенности каждого народа составляют необходимое условие прогресса человечества, и потому патриотизм, стремящийся к удержанию этих особенностей, есть хорошее и полезное чувство. Но разве не очевидно, что если когда-то эти особенности каждого народа, обычаи, верования, язык составляли необходимое условие жизни человечества, то эти самые особенности служат в наше время главным препятствием осуществлению сознаваемого уже людьми идеала братского единения народов. И потому поддержание и охранение особенностей какой бы то ни было, русской, немецкой, французской, англосаксонской, вызывая такое же поддержание и охранение не только венгерское, польской, ирландской народностей, но и баскской, провансальской, мордовской, чувашской и множества других народностей, служит не сближению и единению людей, а всё большему и большему отчуждению и разделению их.

Так что не воображаемый, а действительный патриотизм, тот, который мы все знаем, под влиянием которого находится большинство людей нашего времени и от которого так жестоко страдает человечество, – не есть желание духовных благ своему народу (желать духовных благ нельзя одному своему народу), ни особенности народных индивидуальностей (это есть свойство, а никак не чувство), – а есть очень определенное чувство предпочтения своего народа или государства всем другим народам или государствам, и потому желание этому народу или государству наибольшего благосостояния и могущества, которые могут быть приобретены и всегда приобретаются только в ущерб благосостоянию и могуществу других народов или государств.

Казалось бы очевидно, что патриотизм, как чувство, есть чувство дурное и вредное; как учение же – учение глупое, так как ясно, что если каждый народ и государство будут считать себя наилучшими из народов и государств, то все они будут находиться в грубом и вредном заблуждении.

* * *

Казалось бы, и зловерность и неразумие патриотизма должны бы быть очевидны людям. Но, удивительное дело, просвещенные, умные люди не только не видят этого сами, но с величайшим упорством и горячностью, хотя и без всяких разумных оснований, оспаривают всякое указание на вред и неразумие патриотизма и продолжают восхвалять благодетельность и возвышенность его.

Что же это значит?

Одно только объяснение этого удивительного явления предоставляется мне. Вся история человечества с древнейших времен и до нашего времени может быть рассматриваема как движение сознания и отдельных людей и однородных совокупностей их от идей низших к идеям высшим.

Весь путь, пройденный как каждым отдельным человеком, так и однородными группами людей, можно себе представить как последовательный ряд ступеней от самой низшей, находящейся на уровне животной жизни, до самой высшей, до которой может только подняться в данный исторический момент сознание человека.

Каждый человек так же, как и отдельные однородные группы – народы, государства – всегда шли и идут по этим как бы ступеням идей. Одни части человечества идут вперед, другие далеко отстают, третьи, большинство, движутся в середине. Но все, на какой бы ступени они ни стояли, неизбежно и неудержимо движутся от низших

идей к высшим. И всегда, в каждый данный момент, как отдельный человек, так и каждая однородная группа людей, передовая, средняя или задняя, находятся в трех различных отношениях к трем ступеням идей, среди которых движутся.

Всегда, как для отдельного человека, так и для отдельной совокупности людей, есть идеи прошедшего, отжитые и ставшие чуждыми, к которым люди не могут уже вернуться, как, например, для нашего христианского мира – идеи людоедства, всенародного грабежа, похищения жен и т. п., о которых остается только воспоминание; есть идеи настоящего, которые внушены людям воспитанием, примером, всей деятельностью окружающей среды, идеи, под властью которых они живут в данное время, как, например, в наше время: идеи собственности, государственного устройства, торговли, пользования домашними животными и т. п. И есть идеи будущего, из которых одни уже близки к осуществлению и заставляют людей изменять свою жизнь и бороться с прежними формами, как, например, в нашем мире идеи освобождения рабочих, равноправности женщин, прекращения питания мясом и другие идеи, хотя уже и признаваемые людьми, но еще не вступившие в борьбу с прежними формами жизни. Таковы в наше время и называемые идеалами идеи: уничтожения насилия, установления общности имущества, единой религии, всеобщего братства людей.

И потому всякий человек и всякая однородная совокупность людей, на какой бы ступени они ни стояли, имея позади себя отжитые воспоминания о прошедшем и впереди идеалы будущего, – всегда находятся в процессе борьбы между отживающими идеями настоящего с входящими в жизнь идеями будущего. Совершается обыкновенно то, что, когда идея, бывшая полезной и даже необходимою в прошедшем, становится излишней, идея эта, после более или менее продолжительной борьбы, уступает место новой идее, бывшей прежде идеалом, становящейся идеей настоящего.

Но бывает и так, что отжившая идея, уже замененная в сознании людей высшей идеей, такова, что удержание этой отжитой идеи выгодно для некоторых людей, имеющих наибольшее влияние в обществе. И тогда совершается то, что эта отжившая идея, несмотря на свое резкое противоречие всему изменившемуся в других отношениях строю жизни, продолжает влиять на людей и руководить их поступками. Такая задержка отжившей идеи всегда происходила и происходит в области религиозной. Причина этого та, что жрецы, выгодное положение которых связано с отжившей религиозной идеей, пользуясь своей властью, умышленно удерживают людей в отжившей идее.

То же самое происходит и по тем же причинам в области государственной по отношению к идее патриотизма, на которой основывается всякая государственность. Люди, которым выгодно поддержание этой идеи, не имеющей уже никакого ни смысла, ни пользы, искусственно поддерживают ее. Обладая же могущественнейшими средствами влияния на людей, они всегда могут делать это.

В этом представляется мне объяснение того странного противоречия, в котором находится отжившая идея патриотизма ко всем противным ему складом идей, уже вошедших в наше время в сознание христианского мира.

* * *

Патриотизм, как чувство исключительной любви к своему народу и как учение о доблести жертвы своим спокойствием, имуществом и даже жизнью для защиты слабых от избиения и насилия врагов, – был высшей идеей того времени, когда всякий народ считал возможным и справедливым, для своего блага и могущества, подвергать избиению и грабежу людей другого народа; но уже около 2000 лет тому назад высшими представителями мудрости человечества начала сознаваться высшая идея братства людей, и идея эта, всё более и более входя в сознание, получила в наше время самые разнообразные осуществления.

Благодаря облегчению средств сообщения, единству промышленности, торговли, искусств и знаний люди нашего времени до такой степени связаны между собою, что опасность завоеваний, убийств, насилий со стороны соседних народов уже совершенно исчезла, и все народы (народы, а не правительства) живут между собой в мирных, взаимно друг другу выгодных, дружеских торговых, промышленных, умственных сношениях, нарушать которые им нет никакого ни смысла, ни надобности. И потому, казалось бы, отжившее чувство патриотизма должно было бы как излишнее и несовместимое с вошедшим в жизнь сознанием братства людей разных народностей, всё более и более уничтожаться и совершенно исчезнуть. А между тем совершается обратное: вредное и отжитое чувство это не только продолжает существовать, но

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
всё более и более разгорается.

Народы без всякого разумного основания, противно и своему сознанию, и своим выгодам, не только сочувствуют правительствам в их нападениях на другие народы, в их захватах чужих владений и в отстаивании насильем того, что уже захвачено, не сами требуют этих нападений, захватов и отстаиваний, радуются им, гордятся ими. Мелкие угнетенные народности, подпавшие под власть больших государств: поляки, ирландцы, чехи, финляндцы, армяне, – реагируя против давящего их патриотизма покорителей, до такой степени заразились от угнетающих их народностей этим отжитым, ставшим ненужным, бессмысленным и вредным чувством патриотизма, что вся их деятельность сосредоточена на нем и что они сами, страдая от патриотизма сильных народов, готовы совершить над другими народностями из-за того же патриотизма то самое, что покорившие их народности производили и производят над ними.

Происходит это оттого, что правящие классы (разумея под этим не одни правительства с их чиновниками, но и все классы, пользующиеся исключительно выгодным положением: капиталисты, журналисты, большинство художников, ученых) могут удерживать свое исключительно выгодное в сравнении с народными массами положение только благодаря государственному устройству, поддерживаемому патриотизмом. Имея же в своих руках все самые могущественные средства влияния на народ, они всегда неукоснительно поддерживают в себе и других патриотические чувства, тем более, что эти чувства, поддерживающие государственную власть, более всего другого награждаются этой властью.

Всякий чиновник тем более успевает по службе, чем он более патриот; точно так же и военный может продвинуться в своей карьере только на войне, которая вызывается патриотизмом.

Патриотизм и последствия его – войны дают огромный доход газетчикам и выгоды большинству торгующих. Всякий писатель, учитель, профессор тем более обеспечивает свое положение, чем более будет проповедывать патриотизм. Всякий император, король тем более приобретает славы, чем более он предан патриотизму.

В руках правящих классов войско, деньги, школа, религия, пресса. В школах они разжигают в детях патриотизм историями, описывая свой народ лучшим из всех народов и всегда правым; во взрослых разжигают это же чувство зрелищами, торжествами, памятниками, патриотической лживой прессой; главное же, разжигают патриотизм тем, что, совершая всякого рода несправедливости и жестокости против других народов, возбуждают в них вражду к своему народу, и потом этой то враждой пользуются для возбуждения вражды и в своем народе.

Разгорание этого ужасного чувства патриотизма шло в европейских народах в какой-то быстро увеличивающейся прогрессии и в наше время дошло до последней степени, далее которой идти уже некуда.

* * *

Имея в своих руках власть, правительства могут и раздражать другие народы, и вызывать патриотизм в своем, и старательно делают и то и другое, и не могут не делать этого, потому что на этом основано их существование.

Всякое правительство, а тем более правительство, которому предоставлена военная власть, есть ужасное, самое опасное в мире учреждение. Правительство в самом широком смысле, включая в него и капиталистов и прессу, есть не что иное, как такая организация, при которой большая часть людей находится во власти стоящей над ними меньшей части; эта же меньшая часть подчиняется власти еще меньшей части, а эта еще меньшей и т. д., доходя, наконец, до нескольких людей или одного человека, которые посредством военного насилия получают власть над всеми остальными. Так что всё это учреждение подобно конусу, все части которого находятся в полной власти тех лиц или того одного лица, которое находится на вершине его.

Вершину же этого конуса захватывают те люди или тот человек, который более хитер, дерзок и бессовестен, чем другие, или случайный наследник тех, которые более дерзки и бессовестны.

Нынче это Борис Годунов, завтра Григорий Отрепьев, нынче распутная Екатерина, удушившая со своими любовниками мужа, завтра Пугачев, послезавтра безумный

Павел, Николай, Александр III.

Нынче Наполеон, завтра Бурбон или Орлеанский, Буланже или компания панамистов; нынче Гладстон, завтра Сольсбери, Чемберлен, Роде.

И таким-то правительствам предоставляется полная власть не только над имуществом, жизнью, но и над духовным и нравственным развитием, над воспитанием, религиозным руководством всех людей.

Устроят себе люди такую страшную машину власти, предоставляя захватывать эту власть кому попало (а все шансы за то, что захватит ее самый нравственно дрянной человек), и рабски подчиняются и удивляются, что им дурно. Боятся мин, анархистов, а не боятся этого ужасного устройства, всякую минуту угрожающего им величайшими бедствиями.

Люди нашли, что для того, чтобы им защищаться от врагов, им полезно связать себя, как это делают защищающиеся черкесы. Но опасности нет никакой, и люди продолжают связывать себя.

Старательно свяжут себя так, чтобы один человек мог со всеми ими делать всё, что захочет; потом конец веревки, связывающей их, бросят болтаться, предоставляя первому негодяю или дураку захватить ее и делать с ними всё, что ему вздумается.

Сделают так и потом удивляются, что им дурно.

Ведь что же, как не это самое, делают народы, подчиняясь учреждая и поддерживая организованное с военной властью правительство?

* * *

Для избавления людей от тех страшных бедствий вооружений и войн, которые они терпят теперь и которые всё увеличиваются и увеличиваются, нужны не конгрессы, не конференции, не трактаты и судилища, а уничтожение того орудия насилия, которое называется правительствами и от которых происходят величайшие бедствия людей.

Для уничтожения правительств нужно только одно: нужно, чтобы люди поняли, что то чувство патриотизма, которое одно поддерживает это орудие насилия, есть чувство грубое, вредное, стыдное и дурное, а главное – безнравственное. Грубое чувство потому, что оно свойственно только людям, стоящим на самой низкой ступени нравственности, ожидающим от других народов тех самых насилий, которые они сами готовы нанести им; вредное чувство потому, что оно нарушает выгодные и радостные мирные отношения с другими народами и, главное, производит ту организацию правительств, при которых власть может получить и всегда получает худший; постыдное чувство потому, что оно обращает человека не только в раба, но в бойцового петуха, быка, гладиатора, который губит свои силы и жизнь для целей не своих, а своего правительства; чувство безнравственное потому, что, вместо признания себя сыном бога, как учит нас христианство, или хотя бы свободным человеком, руководящимся своим разумом, – всякий человек, под влиянием патриотизма, признает себя сыном своего отечества, рабом своего правительства и совершает поступки, противные своему разуму и своей совести.

Стоит людям понять это, и само собой, без борьбы распадется ужасное сцепление людей, называемое правительством, и вместе с ним то ужасное, бесполезное зло, причиняемое им народам.

«Но что же будет, если не будет правительств?» – говорят обыкновенно.

Ничего не будет; будет только то, что уничтожится то, что было давно уже не нужно и потому излишне и дурно; уничтожится тот орган, который, став ненужным, сделался вредным.

«Но если не будет правительств – люди будут насиловать и убивать друг друга», – говорят обыкновенно.

Почему? почему уничтожение той организации, которая возникла вследствие насилия и по преданию передавалась от поколения к поколению для произведения насилия, – почему уничтожение такой потерявшей употребление организации сделает то, что люди будут насиловать и убивать друг друга? Казалось бы, напротив, уничтожение

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
органа насилия сделает то, что люди перестанут насиловать и убивать друг друга.

Теперь есть люди, специально воспитываемые, приготавливаемые для того, чтобы убивать и насиловать других людей, – люди, за которыми признается право насиловать, и которые пользуются устроенной для этого организацией; и такое насилание и убивание считается, хорошим и доблестным делом, тогда же люди не будут для этого воспитываться, ни за кем не будет права насиловать других, не будет организации насилия, и, как это свойственно людям нашего времени, насилание и убийство будет всегда и для всех считаться дурным делом.

Если же и после уничтожения правительств будут происходить насилия, то, очевидно, они будут меньше, чем те, которые производятся теперь, когда есть специально для произведения насилия устроенные организации и положения, при которых насилия и убийства признаются хорошими и полезными.

Уничтожение правительств только уничтожит по преданию переходящую, ненужную организацию насилия и оправдание его.

* * *

«Не будет ни законов, ни собственности, ни судов, ни полиции, ни народного образования», – говорят обыкновенно, умышленно смешивая насилия власти с различными деятельностями общества.

Уничтожение организации правительств, учрежденных для произведения насилия над людьми, никак не влечет за собой уничтожения ни законов, ни суда, ни собственности, ни полицейских ограждений, ни финансовых устройств, ни народного образования. Напротив, отсутствие грубой власти правительств, имеющих цель поддержать только себя, будет содействовать общественной организации, не нуждающейся в насилии. И суд, и общественные дела, и народное образование, всё это будет в той мере, в которой это нужно народам; уничтожится только то, что было дурно и мешало свободному проявлению воли народов.

Но если и допустить, что при отсутствии правительств произойдут смуты и внутренние столкновения, то и тогда положение народов было бы лучше, чем оно теперь. Положение народов теперь таково, что ухудшение его трудно себе представить. Народ весь разорен, и разорение неизбежно должно идти, усиливаясь. Все мужчины обращены в военных рабов и всякую минуту должны ждать приказа идти убивать и быть убиваемыми. Чего же еще ждать? Того, чтобы разоренные народы вымирали с голода? Это уже начинается в России, Италии и Индии. Или того, чтобы, кроме мужчин, забрали в солдаты и женщин? В Трансваале и это уже начинается.

Так что, если бы и действительно отсутствие правительств означало анархию (чего оно вовсе не означает), то и тогда никакие беспорядки анархии не могли бы быть хуже того положения, до которого правительства уже довели свои народами и к которому они ведут их.

И потому не может не быть полезным для людей освобождение от патриотизма и уничтожение зиждущегося на нем деспотизма правительств.

* * *

Опомнитесь, люди, и, ради всего блага и телесного, и духовного и такого же блага ваших братьев и сестер, остановитесь, одумайтесь, подумайте о том, что вы делаете!

Опомнитесь и поймите, что враги ваши не англичане, не французы, не немцы, не чехи, не финляндцы, не русские, а враги ваши, одни враги – вы сами, поддерживающие своим патриотизмом угнетающие вас и делающие ваши несчастья правительства.

Они взялись защищать вас от опасности и довели это мнимое положение защиты до того, что вы все стали солдатами, рабами, все разорены, всё более и более разоряетесь и всякую минуту можете и должны ожидать, что натянутая струна лопнет, начнется страшное избиение вас и ваших детей.

И как бы велико ни было избиение и чем бы оно ни кончилось, положение останется то же. Так же и еще с большей напряженностью правительства будут вооружать и разорять, и возвращать вас и детей ваших, и остановить, предупредить это никто не поможет вам, если вы сами не поможете себе.

Помощь же только в одном – в уничтожении того страшного сцепления конуса насилия, при котором тот или те, кому удастся взобраться на вершину этого конуса, властвуют над всем народом и тем вернее властвуют, чем более они жестоки и бесчеловечны, как это мы знаем по Наполеонам, Николаям I, Бисмаркам, Чемберленам, Родсам и нашим диктаторам, правящим народами от имени царя.

Для уничтожения же этого сцепления есть только одно средство – пробуждение от гипноза патриотизма.

Поймите, что всё то зло, от которого вы страдаете, вы сами себе делаете, подчиняясь тем внушениям, которыми обманывают вас императоры, короли, члены парламентов, правители, военные, капиталисты, духовенство, писатели, художники, – все те, которым нужен этот обман патриотизма для того, чтобы жить вашими трудами.

Кто бы вы ни были – француз, русский, поляк, англичанин, ирландец, немец, чех – поймите, что все ваши настоящие человеческие интересы, какие бы они ни были – земледельческие, промышленные, торговые, художественные или ученые, все интересы эти так же, как и удовольствия и радости, ни в чем не противоречат интересам других народов и государств, и что вы связаны взаимным содействием, обменом услуг, радостью широкого братского общения, обмена не только товаров, но мыслей и чувств с людьми других народов.

Поймите, что всякое ваше разжигание патриотизма будет только ухудшать ваше положение, потому что то порабощение, в котором находится ваша народность, произошло только от борьбы патриотизмов, и всякое проявление патриотизма в одном народе увеличивает реакцию против него в другом. Поймите, что спастись от всех ваших бедствий вы можете только тогда, когда освободитесь от отжившей идеи патриотизма и основанной на ней покорности правительствам и когда смело вступите в область той высшей идеи братского единения народов, которая давно уже вступила в жизнь и со всех сторон призывает вас к себе.

Только бы люди поняли, что они не сыны каких-либо отечеств и правительств, а сыны бога, и потому не могут быть ни рабами, ни врагами других людей, и сами собой уничтожатся те безумные, ни на что уже не нужные, оставшиеся от древности губительные учреждения, называемые правительствами, и все те страдания, насилия, унижения и преступления, которые они несут с собой.

«Патриотизм должен вызывать стыд»

(Из письма Л.Н. Толстого «Патриотизм или мир?»)

Мне несколько раз уже приходилось писать о патриотизме, о полной несовместимости его с учением не только Христа, в его идеальном смысле, но и с самыми низшими требованиями нравственности христианского общества, и всякий раз на мои доводы мне отвечали или молчанием, или высокомерным указанием на то, что высказываемые мною мысли суть утопические выражения мистицизма, анархизма и космополитизма. Часто мысли мои повторялись в сжатой форме, и вместо возражений против них прибавлялось только то, что это не что иное, как космополитизм, как будто это слово «космополитизм» бесповоротно опровергало все мои доводы.

Люди серьезные, старые, умные, добрые и, главное, стоящие как город на верху горы, люди, которые своим примером невольно руководят массами, делают вид, что законность и благодетельность патриотизма до такой степени очевидна и несомненна, что не стоит отвечать на легкомысленные и безумные нападки на это священное чувство, и большинство людей, с детства обманутое и зараженное патриотизмом, принимает это высокомерное молчание за самый убедительный довод и продолжает коснеть в своем невежестве.

И потому те люди, которые по своему положению могут избавить массы от их бедствий и не делают этого, – совершают большой грех.

Самое ужасное зло в мире есть лицемерие. Недаром Христос один только раз прогневался, и это было против лицемерия фарисеев.

Но что было лицемерие фарисеев в сравнении с лицемерием нашего времени. В сравнении с нашими лицемеры фарисеи были самые правдивые люди, и их искусство лицемерить в сравнении с искусством наших – детская игрушка. И оно не может быть иначе. Вся наша жизнь с исповеданием христианства, учения смирения и любви,

соединенная с жизнью вооруженного разбойничьего стана, не может быть ни чем иным, как сплошным, ужасным лицемерием. Оно очень удобно – исповедывать такое учение, в которм: на одном конце христианская святость и потому непогрешимость, а другом – языческий меч и виселица, так что, когда можно импонировать и обманывать святостью, пускается в ход святость, когда же обман не удастся, пускается в ход меч и виселица. Такое ученье очень удобно, но приходит время, когда эта паутина лжи расплзается и нельзя уже продолжать держаться того и другого и необходимо примкнуть к тому или другому. Это самое теперь наступает по отношению к учению о патриотизме.

* * *

Хотят или не хотят этого люди, вопрос ясно стоит перед человечеством: каким образом может тот патриотизм, от которого происходят неисчислимые как физические, так и нравственные страдания людей, – быть нужным и быть добродетелью? И ответить на этот вопрос необходимо. Необходимо или показать, что патриотизм есть такое великое благо, что он выкупает все те страшные бедствия, какие он производит в человечестве, или признать, что патриотизм есть зло, которое не только не надо прививать и внушать людям, но от которого надо всеми силами стараться избавиться.

С est a prendre ou a laisser [хотите избавляйтесь, хотите не избавляйтесь] – как говорят французы. Если патриотизм добро, то христианство, дающее мир, – пустая мечта, и чем скорее искоренить это учение, тем лучше. Если же христианство действительно дает мир и мы действительно хотим мира, то патриотизм есть пережиток варварского времени, который не только не надо возбуждать и воспитывать, как мы это делаем теперь, но который надо искоренять всеми средствами: проповедью, убеждением, презрением, насмешкой. Если христианство истина и мы хотим жить в мире, то не только нельзя сочувствовать могуществу своего отечества, но надо радоваться ослаблению его и содействовать этому. Надо радоваться, когда от России отделяется Польша, Остзейский край, Финляндия, Армения; и англичанину радоваться тому же по отношению Ирландии, Австрии, Индии и других колоний и содействовать этому, потому что чем больше государство, тем злее и жесточе его патриотизм, тем на большем количестве страданий зиждется его могущество. И потому, если мы хотим действительно быть тем, что мы исповедуем, мы не только не должны, как теперь, желать увеличения своего государства, но желать уменьшения, ослабления его и всеми силами содействовать этому. И так и воспитывать молодые поколения.

Должны воспитывать молодые поколения так, чтобы, как теперь стыдно молодому человеку проявлять свой грубый эгоизм, например, тем, чтобы съесть все, не оставив другим, столкнуть слабейшего с дороги, чтобы самому пройти, отнять силу то, что нужно другому – так же бы было стыдно желать увеличения могущества своего отечества; и так же как считается глупым и смешным теперь восхваление самого себя, так же бы считалось [глупым] восхваление своего народа, как оно теперь производится в разных лживых отечественных историях, картинах, памятниках, учебниках, статьях, стихах, проповедях и глупых гимнах...

Зло и ложь церкви

«Вера, соединенная с властью – ложная»

(Из статьи Л.Н. Толстого «Церковь и государство»)

Вера есть смысл, даваемый жизни, есть то, что дает силу, направление жизни. Каждый живущий человек находит этот смысл и живет на основании его. Если не нашел, – то он умирает. В искании этом человек пользуется всем тем, что выработало все человечество.

Все это, выработанное человечеством, называется откровением. Откровение есть то, что помогает человеку понять смысл жизни. Вот отношение человека к вере.

Что ж за удивительная вещь? Являются люди, которые из кожи лезут вон для того, чтобы другие люди пользовались непременно этой, а не той формой откровения. Не могут быть покойны, пока другие не примут их, именно их форму откровения, проклинают, казнят, убивают всех, кого могут, из несогласных. Другие делают то же самое – проклинают, казнят, убивают всех, кого могут, из несогласных. Третьи – то же самое. И так все друг друга проклинают, казнят, убивают, требуя, чтобы все верили, как они. И выходит, что их сотни вер, и все проклинают, казнят, убивают друг друга.

я сначала был поражен тем, как такая очевидная бессмыслица, такое очевидное

противоречие не уничтожит самую веру? Как могли оставаться люди верующие в этом обмане?

И действительно, с общей точки зрения это непостижимо и неотразимо доказывает, что всякая вера есть обман, и что все это суеверия, что и доказывает царствующая теперь философия. Глядя с общей точки зрения, и я неотразимо пришел к признанию того, что все веры – обманы людские, но я не мог не остановиться на соображении о том, что самая глупость обмана, очевидность его и вместе с тем то, что все-таки все человечество поддается ему, что это самое показывает, что в основе этого обмана лежит что-то необманчивое. Иначе все так глупо, что нельзя обманываться. Даже эта общая всему человечеству, истинно живущему, поддача себя под обман заставила меня признать важность того явления, которое служит причиной обмана. И вследствие этого убеждения я стал разбирать учение христианское, служащее основой обману всего христианского человечества.

Так выходит с общей точки зрения; но с личной точки зрения, с той, вследствие которой каждый человек и я, для того чтобы жить, должен иметь веру в смысл жизни и имеет эту веру, – это явление насилия в деле веры еще более поразительно своей бессмыслицей.

В самом деле, как, зачем, кому может быть нужно, чтобы другой не только верил, но и исповедывал бы свою веру так же, как я? Человек живет, стало быть знает смысл жизни. Он установил свое отношение к Богу, он знает истину истин, и я знаю истину истин. Выражение их может быть различно (сущность должна быть одна и та же – мы оба люди). Как, зачем, что может меня заставить требовать от кого бы то ни было, чтобы он выражал свою истину непременно так, как я?

Заставить человека изменить свою веру я не могу ни насилием, ни хитростью, ни обманом (ложные чудеса).

Вера есть его жизнь. Как же я могу отнять у него его веру и дать ему другую? Это все равно, что вынуть из него сердце и вставить ему другое. Я могу сделать это только тогда, когда вера и моя, и его – слова, а не то, чем он живет, – нарост, а не сердце. Этого нельзя сделать и потому, что нельзя обмануть или заставить верить человека в то, во что он не верит, и нельзя потому, что тот, кто верит, – т. е. установил свои отношения с Богом и потому знает, что вера есть отношение человека к Богу, – не может желать установить отношения другого человека с Богом посредством насилия или обмана. Это невозможно, но это делается, делалось везде и всегда; т. е. делаться это не могло, потому что это невозможно, но делалось и делается что-то такое, что очень похоже на это; делалось и делается то, что люди навязывают другим подобие веры, и другие принимают это подобие веры, – подобие веры, т. е. обман веры.

Вера не может себя навязывать и не может быть принимаема ради чего-нибудь: насилия, обмана или выгоды; а потому это не вера, а обман веры. И этот-то обман веры есть старое условие жизни человечества.

В чем же состоит этот обман и на чем он основан? Чем вызван для обманываемых и чем держится для обманутых?

* * *

Не буду говорить о браманизме, буддизме, конфуцианстве, магометанстве, в которых были те же явления, не потому, чтобы невозможно было и здесь найти то же. Для каждого, читавшего об этих религиях, будет ясно, что то же совершалось и в тех верах, что и в христианстве; но буду говорить исключительно о христианстве, как о вере нам известной, нам нужной и дорогой. В христианстве весь обман построен на фантастическом понятии церкви, ни на чем не основанном и поражающем с начала изучения христианства своей неожиданной и бесполезной бессмыслицей.

Из всех безбожных понятий и слов нет понятия и слова более безбожного, чем понятие церкви. Нет понятия, породившего больше зла, нет понятия более враждебного учению Христа, как понятие церкви.

В сущности, слово еkklesia значит собрание и больше ничего и так употреблено в Евангелиях. В языках всех народов слово еkklesia означает дом молитвы. Дальше этих значений, несмотря на 1500-летнее существование обмана церкви, слово это не проникло ни в какой язык. По определениям, которые дают этому слову те жрецы, которым нужен обман церкви, оно выходит не что иное, как предисловие, говорящее:

все, что я теперь буду говорить, все истина, и если не поверишь, то я тебя сожгу, или прокляну и всячески обижу. Понятие это есть софизм, нужный для некоторых диалектических целей, и остается достоянием тех, которым оно нужно. В народе, не только в народе, а в обществе и в среде образованных людей, несмотря на то, что этому учат в катехизисах, понятия этого нет совсем.

Определение это (как ни совестно серьезно разбирать его, надо это сделать, потому что столько людей так серьезно выдают его за что-то важное) – определение это совершенно ложно. Когда говорят, что церковь есть собрание истинно верующих, то, собственно, ничего не говорят (не говоря уж о фантастических мертвых), потому что если я скажу, что капелла есть собрание всех истинных музыкантов, то я ничего не сказал, если не сказал, что я называю истинными музыкантами. По богословию же оказывается, что истинно верующие – те, которые следуют учению церкви, т. е. находятся в церкви. Не говоря уже о том, что истинных таких вер сотни, определение ничего не говорит и, казалось бы, даже бесполезно, как определение капеллы собранием истинных музыкантов; но тотчас же за этим виднеется конец ушка. Церковь истинна и едина, и в ней пастыри и паства; и пастыри, Богом установленные, учат этому истинному и единому учению, т. е. «Ей-богу, все, что мы будем говорить, все истинная правда». Больше ничего нет. Обман весь в этом, в слове и понятии церкви. И смысл этого обмана только тот, что есть люди, которые без памяти хочется учить других своей вере.

Для чего же им так хочется учить своей вере других людей? Если бы у них была истинная вера, они бы знали, что вера есть смысл жизни, отношение с Богом, устанавливаемое каждым человеком, и что потому нельзя учить вере, а только обману веры. Но они хотят учить. Для чего? Самый простой ответ был бы тот, что попу нужны лепешки и яйца, архиерею – дворец, кулебяка и шелковая ряса. Но этот ответ недостаточен.

Таков, без сомнения, внутренний, психологический повод к обману, повод, поддерживающий обман. Но как, разбирая, каким образом мог один человек (палач) решиться убивать другого человека, против которого он не имеет никакой злобы, было бы недостаточно сказать, что палач убивает потому, что ему дают водки, калачи и красную рубаху, точно так же недостаточно сказать, что киевский митрополит с монахами набивает соломой мешки, называя их мощами угодников, только для того, чтобы иметь 30 тысяч дохода. И то, и другое действие слишком ужасно и противно человеческой природе для того, чтобы такое простое, грубое объяснение могло быть достаточно. Как палач, так и митрополит, объясняя свой поступок, приведут целый ряд доказательств, которых главная основа будет историческое предание. «Человека надо казнить. Казнили с тех пор, как свет стоит. Не я, так другой. Я сделаю это, надеюсь, с Божьей помощью, лучше, чем другой». Так же скажет митрополит: «Внешнее богопочитание нужно. С тех пор, как свет стоит, почитали мощи угодников. Пещерные мощи почитают, ходят сюда. Не я, так другой будет хозяйничать над ними. Я, с Божьей помощью, надеюсь богоугоднее употребить эти деньги, вырученные кощунственным обманом».

* * *

Чтобы понять обман веры, надо пойти к его началу и источнику. Мы говорим о том, что знаем о христианстве. Обратясь к началу христианского учения, в Евангелиях мы находим учение, прямо исключющее внешнее богопочитание, осуждающее его и в особенности ясно, положительно отрицающее всякое учительство. Но от времени Христа, приближаясь к нашему времени, мы находим отклонение учения от этих основ, положенных Христом. Отклонение это начинается со времен апостолов, особенно охотника до учительства Павла; и чем дальше распространяется христианство, тем больше и больше оно отклоняется и усваивает себе приемы того самого внешнего богопочитания и учительства, отрицание которого так положительно выражено Христом. Но в первые времена христианства понятие церкви употребляется только как представление о всех тех разделяющих то верование, которое я считаю истинным, – понятие совершенно верное, если оно не включает в себя выражение верований словами, но всей жизнью, так как верование не может быть выражено словами.

Употреблялось еще понятие истинной церкви, как довод против разногласящих, но до царя Константина и Никейского собора церковь есть только понятие, со времени же царя Константина и Никейского собора церковь становится делом, и делом обмана. Начинается тот обман митрополитов с мощами, попов с евхаристиею, Иверских, синодов и т. п., которые так поражают и ужасают нас и не находят достаточного объяснения, по своему безобразию, в одной выгоде этих лиц. Обман этот старый, и

он начался не из одних выгод частных лиц. Нет такого человека изверга, который бы решился это сделать, если бы он был первый и если бы не было других причин. Причинны, приведшие к этому, были недобрые. «По плодам узнаете их». Начало было зло – ненависть, человеческая гордость, вражда против Ария и других; и другое, еще большее зло – соединение христиан с властью. Власть – Константин царь, по языческим понятиям стоящий на высоте величия человеческого (их причитали к богам), принимает христианство, подает пример всему народу, обращает народ и подает руку помощи против еретиков и уставляет посредством вселенского собора единую правую христианскую веру.

Христианская католическая вера установлена навсегда. Так естественно было поддаться на этот обман, и до сих пор еще так верят в спасительность этого события. А это было то событие, где большинство христиан отреклось от своей веры; это были те росстани, где огромное большинство пошло с христианским именем по языческой дороге и идет до сих пор. Карл Великий, Владимир продолжают то же. И обман церкви идет до сих пор, обман, состоящий в том, что принятие властью христианства нужно для тех, которые понимали букву, а не дух христианства, потому что принятие христианства без отречения от власти есть насмешка над христианством и извращение его.

Освящение власти государственной есть кощунство, есть гибель христианства. Проживя 1500 лет под этим кощунственным союзом мнимого христианства с государством, надо сделать большое усилие, чтобы забыть все сложные софизмы, которыми 1500 лет, везде в угоду власти, изуродовав все учение Христа, чтобы оно могло ужиться с государством, пытались объяснить святость, законность государства и возможность его быть христианским. В сущности же слова «христианское государство» есть то же, что слова: теплый, горячий лед. Или нет государства, или нет христианства.

Для того, чтобы ясно понять это, надо забыть все те фантазии, в которых мы старательно воспитываемся, и прямо спрашивать о значении тех наук исторических и юридических, которым все учат. Основ эти науки не имеют никаких. Все эти науки не что иное, как апология насилия.

* * *

Пропустив истории персов, мидян и т. д., возьмем историю того государства, которое первое составило союз с христианством.

Было разбойничье гнездо в Риме; оно разрослось грабительством, насилием, убийством; оно завладело народами. Разбойники и потомки их, с атаманами, которых называли то Кесарем, то Августом, во главе, – грабили и мучили народы для удовлетворения своих похотей. Один из наследников этих разбойничьих атаманов, Константин, начитавшись книг и пресытившись похотной жизнью, предпочел некоторые догматы христианства прежним верованиям. Принесению людских жертв он предпочел обедню, почитанию Аполлона, Венеры и Зевса он предпочел единого Бога с сыном Христом и велел ввести эту веру между теми, которых он держал под своей властью.

«Цари властвуют над народами, между вами да не будет так. Не убей, не прелюбодействуй, не имей богатств, не суди, не присуждай. Терпи зло». Всего этого никто не сказал ему. «А ты хочешь называться христианином и продолжать быть атаманом разбойников, бить, жечь воевать, блудить, казнить, роскошествовать? Можно».

И они устроили ему христианство. И устроили очень покойно, даже так, что и нельзя было ожидать. Они предвидели, что, прочтя Евангелие, он может хватиться, что там требуется все это, т. е. жизнь христианская, кроме построения храмов и хождения в них. Они предвидели это и внимательно устроили ему такое христианство, что он мог, не стесняясь, жить по-старому, по-язычески. С одной стороны – Христос, сын Бога, затем только и приходил, чтобы его и всех искупить. Оттого, что Христос умер, Константин может жить, как хочет. А этого мало – можно покаяться и проглотить кусочек хлеба с вином, это будет спасенье, и все простится. Мало того, – они еще его власть разбойничью освятили и сказали, что она от Бога, и помазали его маслом. Зато и он им устроил, как они хотели – собрание попов, и велел сказать, какое должно быть отношение каждого человека к Богу, и каждому человеку велел так повторять.

И все стали довольны, и вот 1500 лет эта самая вера живет на свете, и другие разбойничьи атаманы ввели ее, и все они помазаны, и все, все от Бога. Если какой

злодей пограбит всех, побьет много народа, его они помажут – он от Бога. У нас тулеубийца, блудница была от Бога, у французов – Наполеон. А попы, зато – не только уж от Бога, но почти сами боги, потому что в них сидит дух святой. И в папе, и в нашем синоде с его командирами-чиновниками.

И как какой помазанник, т. е. атаман разбойников, захочет побить чужой и свой народ, – сейчас ему сделают святой воды, покропят, крест возьмут (тот крест, на котором умер нищий Христос за то, что он отрицал этих самых разбойников) и благословят побить, повесить, голову отрубить.

И все бы хорошо, да не умели и тут согласиться и стали помазанники друг друга называть разбойниками (то, что они и есть), и стали попы друг друга называть обманщиками (то, что они и есть); а народ стал прислушиваться и перестал верить и в помазанников, и в хранителей св. духа, а выучился у них же называть их, как следует и как они сами себя называют, т. е. разбойниками и обманщиками.

* * *

Но о разбойниках только пришлось к слову, потому что они развратили обманщиков. Речь же об обманщиках, мнимых христианах. Такими они сделались от соединения с разбойниками. И не могло быть иначе. Они сошли с дороги с той первой минуты, как освятили первого царя и уверили его, что он своим насилием может помочь вере, – вере о смирении, самоотвержении и терпении обид. Вся история настоящей церкви, не фантастической, т. е. история иерархии под властью царей есть ряд тщетных попыток этой несчастной иерархии сохранить истину учения, проповедуя ее ложью и на деле отступая от нее. Значение иерархии основано только на учении, которому она хочет учить. Учение говорит о смирении, самоотречении, любви, нищете; но учение проповедуется насилием и злом.

Для того, чтобы иерархии было чему учить, чтобы были ученики, нужно не отречься от учения, но для того, чтобы очистить себя и свою незаконную связь с властью, нужно всякими соображениями скрыть сущность учения. А для этого нужно перенести центр тяжести учения не на сущность учения, а на внешнюю сторону его. И это самое делает иерархия.

Так вот: источник того обмана веры, который проповедуется церковью, источник его есть соединение иерархии, под именем церкви, с властью – насилием. Источник же того, что люди хотят научить других людей вере, в том, что истинная вера обличает их самих и им нужно вместо истинной веры подставить свою вымышленную, которая бы их оправдывала.

Истинная вера везде может быть, только не там, где она явно насилующая, – не в государственной вере. Истинная вера может быть во всех так называемых расколах, ересях, но наверно не может быть только там, где она соединилась с государством. Странно сказать, но название «православная, католическая, протестантская» вера, как эти слова установились в обыкновенной речи, значат не что иное, как вера, соединенная с властью, т. е. государственная вера и потому ложная.

Понятие церкви, т. е. единомыслия многих, большинства, и вместе с тем близость к источнику учения в первые два века христианства, был только один из плохих внешних доводов. Павел говорил: «Я знаю от самого Христа». Другой говорил: «Я знаю от Луки». И все говорили: мы думаем верно, и доказательство того, что мы верно думаем, то, что нас большое собрание, экклези́я, церковь. Но только с собора в Никее, устроенного царем, начался – для части исповедующих одно и то же учение – прямой и осязательный обман. «Изволися нам и св. духу», – стали говорить тогда. Понятие церкви стало уже не только плохой аргумент, а стало для некоторых властью. Оно соединилось с властью и стало действовать, как власть. И все то, что соединилось с властью и подпало ей, перестало быть верой, а стало обманом.

Чему учит христианство, понимая его как учение какой бы то ни было церкви или всех церквей?

Как хотите разбирайте, смешивая или подразделяя, но тотчас же все учение христианское распадется на два резкие отдела: учение о догматах, начиная с божественности сына, духа, отношения этих лиц, до евхаристии с вином или без вина, пресного или кислого хлеба, – и на нравственное учение смирения, нестяжательности, чистота телесной, семейной, неосуждения и освобождения от

неволи уз, миролюбия. Как ни старались учителя церкви смешать эти две стороны учения, они никогда не смешивались, и как масло от воды, всегда были врозь – каплями большими и малыми.

* * *

Различие этих двух сторон учения ясно для каждого, и каждый может проследить плоды той и другой стороны учения в жизни народов, и по этим плодам может заключить о том, какая сторона более важна и, если можно сказать, более истинна, то какая более истинна?

Посмотришь на историю христианства с этой стороны – и ужас нападет на тебя. Без исключения с самого начала и до самого конца, до нас, куда ни посмотришь, на какой ни взглянешь догмат, хоть с самого начала – догмат божественности Христа – и до сложения перстов, до причастия с вином или без вина, – плоды всех этих умственных трудов на разъяснение догматов: злоба, ненависть, казни, изгнания, побоища жен и детей, костры, пытки.

Посмотришь на другую сторону – нравственного учения, от удаления в пустыню для общения с Богом до обычая подавать калачи в острог, и плоды этого – все наши понятия добра, все то радостное, утешительное, служащее нам светочем в истории...

И вот первое – догматы, в чем никто не согласен, что никому не нужно, что губит людей, иерархия выдавала и выдает за веру; а второе, то, в чем все согласны, что всем нужно и что спасает людей, этого, хотя и не смела отрицать иерархия, но не смела и выставить, как учение, ибо это учение отрицало ее самое.

Как внушается «истинная вера»

(Из письма Л.Н. Толстого «К духовенству»)

Кто бы вы ни были: папы, кардиналы, епископы, суперинтенденты, священники, пасторы, каких бы то ни было церковных исповеданий, оставьте на время свою уверенность в том, что вы, именно вы, единые истинные ученики Христа Бога, призванные проповедывать его единое истинное учение, а вспомните о том, что вы прежде чем быть папами, кардиналами, епископами, суперинтендентами, и.т.п., – прежде всего люди, т. е. по вашему же учению существа, посланные в мир Богом для исполнения его закона; вспомните это и подумайте о том, что вы делаете. Вся ваша жизнь посвящена тому, чтобы проповедывать, поддерживать и распространять среди людей учение, по вашим словам открытое вам самим Богом и потому единое истинное и спасительное.

В чем же состоит это проповедуемое вами единое, истинное и спасительное учение?

К какому бы из так называемых христианских исповеданию – католическому, православному, лютеранскому, англиканскому – вы ни принадлежали, учение ваше признается вами вполне точно выраженным в символе веры, установленном на Никейском соборе 1600 лет тому назад. Положения же этого символа следующие:

Первое: Есть Бог Отец (первое лицо троицы), сотворивший небо и землю и всех ангелов, живущих на небе.

Второе: Есть единый сын Бога Отца, не сотворенный, но рожденный (второе лицо троицы). Через этого сына сотворен мир.

Третье: Сын этот для спасения людей от греха и смерти, которыми они были все наказаны за неповиновение их праотца Адама, сошел на землю, воплотился от духа святого и Марии девы и стал человеком.

Четвертое: Сын этот был распят за грех людей.

Пятое: Он страдал и был погребен, и воскрес в третий день, как это было предсказано в еврейских книгах.

Шестое: Войдя в небо, сын этот воссел во правую сторону Отца.

Седьмое: Этот сын Божий в свое время придет еще раз на землю судить живых и мертвых.

Восьмое: Есть святой дух (третье лицо троицы), который равен Отцу и говорил через пророков.

Девятое: (для некоторых, самых распространенных исповеданий): Есть единая, святая, непогрешимая церковь (или, точнее, единой, святой и непогрешимой признается та церковь, к которой принадлежит исповедующий). Церковь эта состоит из всех верующих в эту церковь живых и умерших.

Десятое: (тоже для некоторых, самых распространенных исповеданий): Существует таинство крещения, посредством которого крещаемому сообщается сила святого духа.

Одиннадцатое: При втором пришествии Христа души умерших соединятся со своими телами, и тела эти будут бессмертны.

Двенадцатое: После второго пришествия настанет вечная жизнь праведников в раю, и вечная жизнь грешников в адских мучениях.

Не говоря о проповедуемых некоторыми из вас самых распространенных верованиях – католическом и православном – в святых и в благодетельность поклонения телесным остаткам этих святых и их изображениям, так же как изображениям Христа, богородицы, – в этих 12-ти пунктах состоят основные положения той истины, которая, для спасения людей, как вы говорите, открыта вам самим Богом. Некоторые из вас проповедают эти положения прямо так, как они выражены, другие стараются придать им иносказательный, более или менее согласный с современным знанием и здравым рассудком, смысл, но все вы одинаково не можете не признать и признаете эти положения точным выражением той единой истины, которая открыта вам самим Богом и которую вы, для их блага, проповедуете людям.

* * *

Ну хорошо, вам открыта самим Богом единая спасительная для людей истина, людям свойственно стремиться к истине, и когда она ясно передана им, они всегда с радостью признают её и руководятся ей.

И потому для сообщения людям вашей истины, открытой самим Богом и спасительной для людей, казалось бы достаточно просто и ясно, устно и печатно, разумным убеждениям передавать эту истину людям, способным принять ее. Как же вы проповедуете свою истину? С тех пор, как образовалось общество, называющее себя церковью, ваши предшественники преподавали эту истину преимущественно насильем. Они предписывали эту истину и казнили тех, которые не принимали ее. (Миллионы и миллионы людей замучены, убиты, сожжены за то, что не хотели принять ее.)

Средство это, очевидно не соответствующее своей цели, с течением времени стало менее и менее употребляться и употребляется теперь из всех христианских стран, кажется, в одной только России.

Другим средством было внешнее воздействие на чувства людей посредством торжественности обстановки, картин, статуй, пения, музыки, драматических представлений и ораторского искусства. С течением времени и это средство стало менее и менее употребляться. В протестантских странах оно, кроме ораторского искусства, большей частью почти не применяется (исключение составляет только Армия спасения, придумавшая еще новые средства внешнего воздействия на чувства).

Но зато все силы духовенства направлены теперь на третье и самое могущественное средство всегда употреблявшееся и теперь особенно ревниво удерживаемое вами. Средство это есть внушение церковного учения людям в том состоянии в котором они не могут обсудить того, что им передается.

Находятся же в таком состоянии люди совершенно необразованные, рабочие, не имеющие времени думать, а, главное, дети, которые принимают без разбора и навсегда запечатлевают в своей душе то, что им передается.

* * *

Так что в наше время главное ваше средство передачи людям открытой вам Богом истины состоит в преподавании этой истины необразованным взрослым людям и не рассуждающим и все принимающим детям.

Преподавание это начинается обыкновенно с так называемой священной истории, выбранных мест из библии, еврейских книг ветхого завета, которые, по вашему учению, суть произведения святого духа и потому не только несомненно истинны, но и священные. По этой истории ваш ученик составляет себе первое понятие о мире, о жизни людей, о добре и зле, о Боге.

Священная история эта начинается с описания того, как Бог, живший вечно, сотворил 6000 лет тому назад из ничего небо, и землю, как потом сотворил зверей, рыб, растения и наконец, человека, Адама и его жену, сделанную из ребра Адама. Потом описывается, как, боясь того, чтобы человек с женой не съели яблока, имеющего волшебную силу давать могущество, он запретил им это; как, несмотря на запрещение, первые люди съели яблоко и были за это выгнаны из рая и как за это же было проклято все их потомство, и проклята земля, которая с тех пор стала рожать дурные травы. Потом описывается жизнь потомков Адама, которые так развратились, что Бог потопил не только их всех, но и всех зверей, и оставил в живых только одного Ноя с семейством и с взятыми в ковчег зверями.

Описывается потом, как из всех людей Бог избрал одного Авраама и заключил с ним условие, по которому Авраам должен почитать Бога за Бога и в знак этого совершить обрезание. Бог же обязуется дать за это Аврааму большое потомство покровительствовать ему и всему потомству. Потом описывается, как Бог, покровительствуя Аврааму и его потомкам, совершает в пользу его и его потомства самые неестественные дела, называемые чудесами, и самые страшные жестокости. Так что вся история эта, за исключением наивных, как посещение Авраама Богом с двумя ангелами, женитьба Исаака, и других, иногда невинных, часто же безнравственных сказок, как мошенничество любимого Богом Якова, жестокости Самсона, хитрости Иосифа, – вся история эта, начиная от казней, посланных Моисеем на египтян, и убийства ангелом всех первенцев их, до огня, попавшего 250 заговорщиков, и провалившихся под землю Корея, Дафана и Авирона, погибли в несколько минут 147 000 человек, и до распиливаемых пилами врагов, и казненных Ильей, улетевшим на небо, несогласных с ним жрецов, и Елисея, проклявшего смеявшихся над ним мальчиков, разорванных и съеденных за это двумя медведицами, – вся история эта есть ряд чудесных событий и страшных злодеяний, совершаемых еврейским народом, его предводителями и самим Богом.

Но этим не ограничивается ваше преподавание истории, которую вы называете священной. Кроме истории ветхого завета, вы передаете еще детям и темным людям историю нового завета в таком толковании, при котором главное значение нового завета заключается не в нравственном учении, не в нагорной проповеди, но в согласовании евангелия с историей ветхого завета, в исполнении пророчеств и в чудесах: хождение звезды, пение с неба, разговор с дьяволом, превращение воды в вино, хождение по воде, исцеления, воскрешения людей и, наконец, воскрешение самого Христа и улетание его на небо.

Если бы вся эта история и ветхого, и нового завета передавалась как сказка, то иногда едва ли какой-либо воспитатель решился бы рассказать ее детям или взрослым людям, которых он желал бы просветить. Сказка же эта передается неспособным рассуждать людям, как самое достоверное описание мира и его законов, как самое верное сведение о жизни прежде живших людей, о том что должно считаться хорошим и дурным, о существе и свойствах Бога и об обязанностях человека.

Говорят о вредных книгах. Но есть ли в христианском мире книга, наделавшая больше вреда людям, чем эта ужасная книга, называемая «священной историей» ветхого и нового завета? А через преподавание этой священной истории проходят в своем детском возрасте все люди христианского мира, и эта же история преподается взрослым темным людям, как первое необходимое, основное знание, как единая, вечная божеская истина.

* * *

В живой организм нельзя вложить чуждое ему вещество без того, чтобы организм этот не пострадал от усилий освободиться от вложенного в него чуждого вещества и иногда не погибал бы в этих усилиях. Какой же страшный вред должны производить в уме человека чуждые и современному знанию, и здравому смыслу, и нравственному чувству положения учения по ветхому и новому завету, внушаемые ему в то время, когда он не может обсудить, а между тем воспринимает то, что ему передается.

Для человека, в уме которого вложено, как священная истина, верование в сотворение из ничего мира 6000 лет тому назад, в потоп и ковчег Ноя, вместивший всех зверей, в троицу, в грехопадение Адама, в непорочное зачатие, в чудеса Христа и в искупительную для людей жертву его смерти, – для такого человека требования разума уже не обязательны, и такой человек не может быть уверенным ни в какой истине. Если возможна троица, непорочное зачатие, искупление рода

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
человеческого кровью Христа, то все возможно, и требования не обязательны.

Забейте клин между половицами закрома. Сколько бы мы ни сыпали в такой закроем зерна, оно не удержится. Точно так и в голове, в которую вбит клин троицы или Бога, сделавшегося человеком и своим страданием искупившего род человеческий и потом опять улетевшего на небо, не может уже воздержаться никакое разумное, твердое убеждение.

Что ни сыпь в закроем с щелью в полу, все высыпается. Что ни вкладывай в ум, принявший за веру бессмысленное, – ничто не удержится в нем.

Такой человек, если он дорожит своими верованиями, неизбежно будет всю жизнь или остерегаться, как чего-то зловредного, всего того, что могло бы просветить его и разрушить его верования; или, уже раз навсегда признав (в чем всегда поощряют проповедники церковного учения), что разум есть источник заблуждения, – откажется от единственного света, который дан человеку для нахождения пути жизни; или, самое ужасное, – будет хитрыми рассуждениями стараться доказать разумность неразумного или, что хуже всего, отбросить не только те верования, которые внушены ему, но и сознание необходимости какой-либо веры.

Во всех трех случаях человек, которому в детстве внушены бессмысленные и противоречивые положения как религиозные истины, если он с большими усилиями и страданиями не освободится от них, есть человек умственно больной. Такой человек, видя вокруг себя явления постоянно движущейся жизни, не может уже не смотреть с отчаянием на это движение, разрушающее его мирозерцание, не может не испытывать явленного или скрытого недоброжелательства к людям, содействующим этому разумному движению, не может не быть сознательным поборником мрака и лжи против света и истины.

Такого и есть в действительности большинство людей христианского человечества, с детства лишенное посредством внушения бессмысленных верований способности ясного и твердого мышления.

* * *

Таков вред для умственной деятельности человека, производимый внушением церковного учения. Но еще во много раз более вредно то нравственное извращение, которое производит в душе человека такое внушение. Всякий человек приходит в мир со знанием своей зависимости от таинственного, всемогущего начала, давшего ему жизнь, с сознанием своего равенства со всеми людьми и равенства всех людей между собою, с желанием любви к себе и от себя к людям и с потребностью совершенствованию и что же вы внушаете ему?

Вместо таинственного начала, о котором он мыслил с благоговением, вы рассказываете ему про сердящегося, несправедливого, казнящего, мучающего людей Бога.

Вместо того равенства всех людей, которое и ребенок, и неученый человек чувствует всем существом своим, вы говорите ему, что не только люди, но народы не равны, и одни не любимы, а другие любимы Богом, люди же одни призваны Богом властвовать, другие подчиняться.

Вместо той любви от других к себе и от себя к другим, которая составляет самое сильное желание души всякого неиспорченного человека, вы внушаете ему, что отношения людей могут быть основаны только на насилии, на угрозах, на казнях, говорите ему, что убийства по суду и на войне совершаются не только с разрешения, но по велению Бога.

Вместо потребности совершенствования, вы говорите, что спасение его в вере в искупление, а что совершенствование своими силами, без помощи молитв, таинств и веры в искупление есть грех гордости, а что для спасения своего человек должен верить не своему разуму, а велениям церкви, и исполнять то, что она предписывает.

Страшно подумать о том извращении понятий и чувств, которое оставляет в душе ребенка и взрослого темного человека такое учение.

* * *

Только подумать о том, что у меня на глазах делалось и делается в России во
Страница 28

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
время моей 60-летней сознательной жизни.

В академиях и в среде архиереев, ученых монахов, миссионеров идут хитроумные рассуждения о сложных богословских вопросах, говорят о согласовании нравственного и догматического учения, спорят о развитии или неподвижности догмата и тому подобных и разных религиозных тонкостях. Стомиллионной же массе проповедуется одно: вера в иконы казанские, иверские, в мощи, в чертей, в спасительность вынимания частиц, становление свечей, поминания, и т. п. и не только проповедуется и практикуется, но с особенной ревностью ограждается ненарушимость этой веры в народе от всякого на нее посягательства.

Стоит только крестьянину не праздновать престол, не пригласить к себе обходящую дворы чудодейственную икону, не оставить работу в ильинскую пятницу, – и на него доносы, его преследуют, ссылают. Не говоря уже о сектантах, не исполняющих обрядов: их судят за то, что они, собираясь, читают евангелие, и наказывают за это. И результат такой деятельности тот, что десятки миллионов людей, почти все женщины из народа не то что знают, а не слыхали даже о том, что был Христос и кто он такой. Трудно поверить этому, а между тем это факт, который каждый может проверить.

Послушайте, что говорят архиереи, академики в своих собраниях, прочитайте их журналы, и вы подумаете, что русское духовенство проповедует, хотя и отсталую, но все-таки христианскую веру, в которой евангельские истины все-таки имеют место и сообщаются народу; посмотрите на деятельность духовенства в народе, и вы увидите, что проповедуется и усиленно внедряется одно идолопоклонство: поднятие икон, водосвятия, ношение по домам чудотворных икон, прославление мощей, ношение крестов и т. п.; всякая же попытка понимания христианства в его настоящем смысле усиленно преследуется. На моей памяти рабочий русский народ потерял в большей степени черты истинного христианства, которые прежде жили в нем и которые старательно изгоняются теперь духовенством.

В народе жили прежде (теперь остались только в глуши) христианские легенды, поговорки, изустно передаваемые из поколения к поколению, и эти легенды, как легенда о Христе, ходившем в виде нищего, об ангеле, усумнившемся в милосердии Бога, о юродивом, плясавшем у кабака, и поговорки, как: «без Бога не до порога», «не в силе Бог, а в правде», «жить до вечера и до века» и т. п. легенды, поговорки составляли духовную пищу народа.

Кроме того были обычаи христианские: пожалеть преступника, странника, подать из последнего нищему, просить прощения у обиженного.

Все это теперь забывается и оставляется. Все это заменяется теперь выучиванием наизусть катехизиса, троичного состава Бога, молитвы перед учением и за наставником и за царя и т. п. так что на моей памяти народ становится все религиозно грубее и грубее.

Одна часть, большая часть, женщины, остаются так же суеверны, как они были 600 лет тому назад, только без того христианского духа, который прежде проникал в жизнь; другая часть, знающая наизусть катехизис, – совершенные атеисты. И все это сознательно производится духовенством.

«Но так это у вас в России», – скажут на это европейские люди – католики, протестанты. Думаю, что то же самое, если не худшее, происходит в католичестве, с его запрещением чтения евангелия, с его нотр-дамами, и в протестантстве с его святою праздностью дня субботнего и библиолатрией, т. е. слепой верой в букву библии. Думаю, что в той или другой форме то же и во всем квази-христианском мире.

Довольно вспомнить в доказательство этого о продолжающемся веками мошенничестве зажигаемого в Иерусалиме огня в день воскресенья, которое никто из церковных людей не опровергает, и о вере в искупление, с особенной энергией проповедуемой самыми последними формами христианского протестантства.

* * *

Но мало того, что церковное учение вредно своей неразумностью и безнравственностью, оно особенно вредно тем, что люди, исповедующие это учение, живя без всяких сдерживающих их нравственных требований, совершенно уверены в том, что они живут настоящей христианской жизнью.

Люди живут в безумной роскоши, составляя свое богатство из трудов униженных бедных и ограждая себя и свое богатство стражей, судами, казнями, – и духовенство во имя Христа одобряет, освящает, благословляет такую жизнь, советуя богатым только уделять малую часть награбленного тем, у кого они не переставая грабят. (Когда было рабство, духовенство всегда и везде оправдывало его, не считая его не согласным с христианством.)

Люди силою оружия, убийства, стремятся к достижению своих личных и общественных, корыстных целей, и духовенство одобряет, благословляет во имя Христа военные приготовления и войны, не только одобряет, но часто поощряет их, находя, что войны, т. е. убийства, не противны христианству.

Люди, поверившие в это учение, не только вовлечены этим учением в дурную жизнь, но и вполне уверены, что их жизнь хорошая и им не нужно изменять ее.

Но и этого мало: главное зло этого учения состоит в том, что оно так искусно переплетено с внешними формами христианства, что, исповедуя его, люди думают, что ваше учение есть единое истинное христианство, и другого нет никакого. Вы не то, что отвели от людей источник живой воды, – если бы это было, люди все-таки могли бы найти его, – но вы отравили его своим учением, так что люди не могут принять иного христианства, как то, которое отравлено вашим толкованием его.

Христианство, проповедуемое вами, есть прививка ложного христианства, как прививка оспы или дифтерита, делающая того, кому она прививается, уже неспособным принять истинное христианство.

Люди, многими поколениями установившие свою жизнь на началах, противных истинному христианству, вполне уверенные, что они живут христианской жизнью, не могут уже вернуться к истинному христианству.

* * *

Так это для людей, исповедующих ваше учение, но кроме этих людей, есть еще и освободившиеся от него, так называемые неверующие.

Люди эти, – хотя в большинстве случаев и ведут жизнь более нравственную, чем люди, чем люди исповедующие церковное учение, – вследствие той душевной порчи, которой они подверглись в своем детстве, так же, как и все несчастные люди христианских обществ, – в церковном обмане, до такой степени соединили в своем сознании церковное учение с христианским, что не могут отделить одно от другого и, откидывая ложное церковное учение, откидывают вместе с ним и то истинное христианское учение, которое оно скрывало.

Люди эти, возненавидя тот обман, от которого они так много пострадали, проповедуют не только бесполезность, но зловерность христианства и всякой религии.

Религия, по их понятиям, есть остаток суеверия, когда-то бывшего нужным людям, а теперь только вредного им. И потому, по их учению, чем скорее и полнее люди освободятся от всякого религиозного сознания, тем это будет лучше для них.

И, проповедуя такое освобождение от всякой религии, люди эти, наиболее образованные и ученые и потому пользующиеся наибольшим авторитетом среди людей, ищущих истину, делаются самыми вредными проповедниками нравственной распушенности.

Внушая людям, что то самое важное, духовное свойство разумных существ – установление своего отношения к началу всего, – из которого только и могут быть выведены твердые нравственные законы, есть пережитое людьми состояние, отрицатели религии невольно ставят себя в основу человеческой деятельности одно себялюбие и вытекающие из него плотские вожделения.

Среди этих-то людей и возникло то, прежде робко проявлявшееся, хотя и всегда скрытое, латентно присущее в мировоззрении материалистов учение эгоизма, зла и ненависти, которое в последнее время так ярко и сознательно выразилось в учении Ницше и так быстро распространяется, вызывая самые грубые животные и жестокие инстинкты в людях.

Так что, с одной стороны, так называемые верующие находят полное одобрение своей дурной жизни в вашем учении, признающем согласными с христианством все самые противные ему поступки и состояния; с другой стороны, люди неверующие, вследствие вашего учения, придя к отрицанию всякой религии, стирают всякое различие между добром и злом, проповедуют учение неравенства людей, эгоизма, борьбы и подавления слабых сильными, как высшую доступную человеку истину.

* * *

Вы, и никто другой, как вы, вашим учением, насильственно внушаемым людям, причиняете то страшное зло, от которого они так жестоко страдают.

Ужаснее же всего при этом то, что, производя такое зло, вы не верите в то учение, которое вы проповедуете, не верите не только во все те положения, из которых оно состоит, но часто не верите ни в одно из них.

Я знаю, что повторяя знаменитое «credo quia absurdum» (верю, потому что абсурдно), многие из вас думают, что, несмотря ни на что, они все-таки верят во все то, что проповедуют. Но то, что вы скажете, что верите, что Бог есть троица, или что разверзлись небеса и глас Божий заговорил оттуда, или что Христос вознесся на небеса и сойдет с небес судить воскресших в своих телах всех людей, никак не доказывает того, чтобы вы верили в то, что было или что будет то, что вы говорите, вы верите, что надо говорить, что вы верите в это, но не верите, что было то, что вы говорите.

Не верите вы, потому что утверждение, что Бог один и три, что Христос улетел на небо и придет оттуда судить воскресших, не имеет для вас никакого смысла. Можно произносить слова, не имеющие смысла, но нельзя верить в то, что не имеет смысла. Можно верить в то, что души умерших перейдут в другие формы жизни, перейдут в животных, или в то, что уничтожение страстей или любовь есть назначение человека, можно и верить просто в то, что Бог не велел убивать людей, или даже что есть такую-то или иную пищу, и многому другому, не представляющему в себе внутреннего противоречия; но нельзя верить в то, что Бог в одно и то же время и один и три, что разверзлись небеса, которых для нас уже нет, и т. п.

Прежние люди, установившие эти догматы, могли верить в них, но вы уже не можете. Если вы говорите, что верите в это, то вы говорите это только потому, что вы употребляете слово «вера» в одном значении, а приписываете ему другое. Одно значение слова «вера» есть установленное человеком такое отношение к Богу и миру, которое определяет смысл всей его жизни и руководит всеми его сознательными поступками. Другое же значение слова «вера» есть доверие тому, что передает известное лицо или лица.

В первом значении предмет веры, несмотря на то, что определение отношения человека к Богу и миру большей частью берется уже установленное прежде жившими людьми, проверяется и воспринимается разумом.

Во втором же значении предмет веры не только принимается независимо от участия разума, но при непременно условии неупотребления разума для проверки переданного.

Но этом-то двояком значении слова «вера» и основывается то недоразумение, по которому люди говорят, что верят в положения, не имеющие смысла или заключающие в себе внутренние противоречия. И потому то, что вы слепо доверяете своим учителям, никак не доказывает того, что вы верите в то, что, не имея смысла и потому не представляя никакого значения ни для вашего воображения, ни для вашего разума, не может быть предметом веры.

Известный проповедник Pere Didon в предисловиях к своей «Vie de Jesus» заявляет, что он верит не как-либо иносказательно, а прямо, без объяснений, что Христос, воскресши, вознесся на небо и сидит одесную отца. Знакомый же мне безграмотный самарский мужик, как мне рассказывал его духовник, на вопрос о том, верит ли он в Бога, прямо и решительно отвечал: грешен, не верю. Неверие свое в Бога мужик объяснил тем, что он не жил бы так, как живет, если бы верил в Бога: и изругаешься, и нищему пожалеешь, и завидуешь, и объедаешься, опиваешься – разве так стал бы делать, если бы верил в Бога.

Pere Didon утверждает что он верит в Бога и в вознесение Христа, самарский же мужик говорит, что не верит в Бога, потому что не исполняет его веления.

Ясно, что Pere Didon даже не знает того, что такое вера, и только говорит, что он верит; самарский же мужик знает, что такое вера, и, хотя и говорит, что не верит в Бога, истинно верит в него в том самом смысле, который составляет истинную веру.

* * *

Но я знаю, что доводы, обращенные к уму, не убеждают, – убеждает только чувство, и потому, оставляя доводы, обращаюсь к вам, кто бы вы ни были: папы, епископы, архиереи, священники и др., – к вашему чувству, к вашей совести.

Ведь вы знаете, что неправда то, чему вы учите о сотворении мира, о боговдохновенности библии и многое другое, так как же вы решаетесь учить этому маленьких детей и взрослых необразованных людей, ждущих от вас истинного просвещения?

Положа руку на сердце, спросите себя, верите ли вы в то, что проповедуете? Если вы действительно, не перед людьми, а перед Богом, памятуя о своем смертном часе, спросите себя об этом, вы не можете ответить себе, что нет, не верите. Не верите вы в боговдохновенность всего того писания, которое вы называете священным, не верите во все ужасы и чудеса ветхого завета, не верите в ад, не верите в беспорочное зачатие, в воскресенье, в вознесенье Христа, не верите в воскресенье мертвых, в троичность Бога, не верите не только во все члены того символа, который выражает сущность вашей веры, но часто не верите ни в один из них.

Неверие, хотя бы в один из догматов, включает в себя неверие в непогрешимость церкви, установившей тот догмат, в который вы не верите. А если не верите в церковь, то не верите ни в один из догматов, установленных ею.

Если же вы не верите, если хоть даже сомневаетесь, то подумайте о том, что вы делаете, проповедуя как Божескую, несомненную истину то, во что вы не верите, и проповедуя ее теми непрямыми, исключительными способами, которыми вы ее проповедуете. И не говорите, что вы не можете взять на себя ответственность за лишения людей тесного единения с большим или малым числом ваших единоверцев. Это несправедливо. Внушая им свою исключительную веру, вы делаете именно то, чего не хотите делать: лишаете людей единения со всем человечеством, заключаете их в узкие рамки одного своего исповедания, невольно и неизбежно ставя их этим, если не во враждебное, то во всяком случае в отчужденное положение по отношению ко всем другим людям.

Я знаю, что вы не сознательно делаете это ужасное дело; знаю, что вы сами большей частью запутаны, обмануты, загипнотизированы, часто поставлены в такие условия, при которых для вас признать истину – значит осудить всю свою предшествующую деятельность, иногда многих десятилетий; знаю я, как трудно именно вам, с вашим воспитанием, в особенности с общей всем вам уверенностью в том, что вы непогрешимые наследники Христа Бога, перейти к трезвой действительности и признать себя заблудившимися грешниками, делающими одно из самых гадких дел, которое только может делать человек.

* * *

Знаю всю трудность вашего положения; но, вспоминая слова признаваемого вами Божественным евангелия о том, что Богу приятнее один покающийся грешник, чем сотни праведников, думаю, что каждому из вас, какое бы он ни занимал положение, все-таки легче покаяться и перестать участвовать в том деле, которое вы делаете, чем не веря, продолжать делать его.

Кто бы вы ни были: папы, кардиналы, митрополиты, архиереи, епископы, суперинтенденты, священники, пасторы, подумайте об этом.

Если вы принадлежите к тем духовным лицам, каковых в наше время к несчастью очень много и становится все больше и больше, которые ясно видят всю отсталость, неразумность и безнравственность церковного учения и, не веря в него, продолжают для своих личных видов – священнических, епископских окладов проповедывать его, то не утешайтесь мыслью, что ваша деятельность оправдывается тем, что она может быть полезна толпе, народу, не понимающему еще того, что вы понимаете.

Ложь никому не может быть полезна. То, что вы знаете, что ложь есть ложь, знал бы точно так же и был бы свободен от нее тот человек из народа, которому вы

внушили и внушаете ее. Мало того, что без вас он был бы свободен от лжи, он нашел бы ту истину, которая открыта ему Христом и которую вы своим учением скрываете от него, становясь между ним и Богом. То, что вы делаете, вы делаете не для пользы людей, а только ради своих честолюбивых, корыстных целей.

А потому, как бы величественны ни были те дворцы, в которых вы живете, и церкви, в которых вы служите и проповедуете, и те облачения, которыми вы себя украшаете, дело ваше от этого не становится лучше. Что велико перед людьми, то мерзость перед Богом.

Так это для тех, которые не верят и продолжают проповедовать ложь и поддерживать в ней людей. Но есть еще среди вас такие, и число их становится тоже все больше и больше, которые, хотя и видят несостоятельность в наше время положений церковной веры, не могут решиться критически обсудить ее.

Вера это так сильно была внушена им в детстве, так сильно поддерживалась в них окружающей средой и влиянием толпы, что они, даже и не пытаясь освободиться от нее, все силы своего ума и образования употребляют на то, чтобы хитроумными иносказаниями и ложными и запутанными рассуждениями оправдать все несообразности и противоречия исповедуемого ими учения.

Если вы принадлежите к этому разряду, хотя и менее преступных, но зато еще более вредных, чем первые, духовных лиц, не думайте, чтобы ваши рассуждения успокоили вашу совесть и оправдали вас перед Богом. Вы в глубине души не можете не знать, что все, что бы вы ни придумывали и ни выдумывали, не может сделать того, чтобы безнравственные рассказы священной истории, ставшие в противоречие с знанием и пониманием людей, и положения Никейского символа стали нравственными, разумны, ясны и согласны с современным знанием и здравым смыслом.

Вы знаете, что убедить в истинности своей веры своими рассуждениями вы никого не можете, что ни один свежий, взрослый образованный человек, не воспитанный в детстве в вашей вере, не только не поверит вам, но или засмеется или примет вас за душевно больного, услышав ваши рассказы о начале мира, истории первых людей и грехе Адама и искуплении от него людей смертью сына Бога.

* * *

Единственное, что вы можете сделать своими мнимо-учеными рассуждениями, это то, чтобы на время, в особенности пользуясь своим авторитетом, удержать в гипнотическом подчинении ложной вере тех, которые просыпаются от ее внушения и готовятся освободиться от нее.

Вы это и делаете. И это очень дурное дело. Вместо того, чтобы употреблять свои умственные силы на то, чтобы освобождать себя и других людей от того обмана, в котором вы вместе с другими находитесь и от которого страдаете и вы, и они, вы употребляете эти силы на то, чтобы запутывать еще больше себя и других людей.

Вам, духовным лицам этого разряда, нужно, не запутывая себя и других неясными, сложными рассуждениями, не стараться показать, что истина – то самое, что вы считаете истиной, а напротив, сделав усилие над собой, постараться узнать всю доступную вам истину и на основании этой истины проверить то, что по вашим верованиям принималось вами за истину.

И стоит вам только искренно поставить себе эту задачу, и вы тотчас же очнетесь от того гипноза, в котором находились, и вам ясно станет то ужасное заблуждение, в котором вы до сих пор находились.

Так это для второго, и в наше время очень большого разряда умствующих, наиболее вредных духовных лиц.

Но есть еще самый распространенный, третий разряд простодушных духовных лиц, которые никогда не усумнились в истине той веры, которую они исповедуют и проповедуют.

Люди эти никогда не думали о значении и смысле тех положений, которые переданы им с детства, как священная Божеская истина, или если и думали, то так не привыкли самостоятельно мыслить, что не видят заключающихся в них несообразностей и противоречий, или, хотя и видят их, до такой степени подавлены авторитетом церковного предания, что не смеют думать об этом иначе, чем так, как

верили прежде жившие и теперешние церковники. Люди эти успокаиваются обыкновенно мыслью, что церковное учение, вероятно, удовлетворительно объясняет кажущиеся им, только по недостаточному богословскому образованию, несообразности.

Если вы принадлежите к этому разряду людей, искренно и наивно верующих или еще не верующих, но готовых поверить и не видящих к этому препятствий, кто бы вы ни были: уже действующие духовные лица, или еще готовящиеся к духовному званию молодые люди, остановитесь на время в своей деятельности или в своем приготовлении к этой деятельности и подумайте о том, что вы делаете или собираетесь делать.

Вы проповедуете или собираетесь проповедывать людям такое учение, которое определит для них смысл их жизни, определит цель ее, укажет признаки добра и зла и даст направление всей их деятельности. И проповедуете вы это учение не как всякое людское учение, несовершенное и могущее быть обсуживаемым, а как учение открытое самим Богом и потому не подлежащее обсуждению; и проповедуете вы его не в книге или простой беседе, а непременно или в детях в том возрасте, когда они не могут понимать значение всего того, что им передается, а между тем все, передаваемое им, неизгладимо запечатлевается в их сознании, – или взрослым необразованным людям, не имеющим возможности обсудить того, что вы им преподаете.

В этом вся ваша деятельность, и к этой деятельности вы готовитесь.

А что, как то, что вы проповедуете или собираетесь проповедывать, неправда?

Нежели нельзя или не надо подумать об этом? А если вы подумаете об этом и сравните это учение с другими учениями, считающимися точно так же едиными истинными, сравните его с вашими знаниями, с здравым смыслом, одним словом, без слепого доверия, а свободно обсудите его, то вы не можете не увидеть, что то, что выдается вами за священную истину, не только не есть священная истина, а есть только отсталое суеверное учение, которое, так же как и другие подобные учения, поддерживается и проповедуется людьми никак не для блага своих братьев, а для каких-то других целей. А как скоро вы поймете это, так все те из вас, которые серьезно смотрят на жизнь и прислушиваются к голосу своей совести, не будут уже в состоянии продолжать проповедывать это учение или готовиться к этому.

* * *

– Но что будет с людьми, если они перестанут верить в церковное учение? И не будет ли от этого хуже? – слышу я обычное возражение.

– Что будет, если люди христианского мира перестанут верить в церковное учение?

Будет то, что людям христианского мира будут доступны, открыты не одни еврейские легенды, но религиозная мудрость всего мира. Будет то, что люди будут вырастать и развиваться с неизвращенными понятиями и чувствами. Будет то, что, откинув принятое по доверию учение, люди установят разумное и соответствующее их знаниям свое отношение к Богу и признают вытекающие из такого отношения нравственные обязанности.

– Не будет ли от этого хуже людям? – Если церковное учение не истина, то как же может быть хуже людям от того, что им не будет проповедываться ложь, как истина, да еще теми непрямыми способами, которые для этого употребляются.

– Но люди народа грубы и необразованны, и то, что не нужно нам, образованным людям, – говорят еще, – может быть полезно и даже необходимо грубому народу.

Если все люди равны, то все и идут одним и тем же путем от мрака к свету, от невежества к знанию, ото лжи к истине. Вы шли этим путем и пришли к сознанию неистинности той веры, в которой вы были воспитаны. По какому же праву вы хотите остановить других людей в таком же движении?

Вы говорите, что хотя вам и не нужна уже эта пища, она нужна массам. Но ни один разумный человек не возьмет на себя определить телесную пищу других людей, как же решить, и кто это может решить, какая духовная пища нужна массам, народу?

То же, что вы видите в народе потребность этого учения, никак не доказывает

того, чтобы нужно было удовлетворять ей. Есть потребность к вину, табаку и еще другие, худшие потребности. Главное же то, что вы сими сложными приемами гипнотизма возбуждаете ту потребность, существованием которой вы хотите оправдать свою деятельность. Только перестаньте возбуждать эту потребность, и ее не будет, потому что как у вас, так и у всех людей, не может быть потребности ко лжи, а все люди всегда шли и идут от мрака к свету, и вам, стоящим ближе к свету, надо стараться сделать его доступным другим, а не заслонять его.

– Но не будет ли хуже от того, что мы, люди образованные, нравственные, желающие добра народу, вследствие возникших в нашей душе сомнений, оставим нашу деятельность, и места наши займут грубые, безнравственные люди, равнодушные к народному благу? – слышу я последнее возражение.

Несомненно, что выход лучших людей из духовного сословия делает то, что церковная деятельность, находясь в грубых, безнравственных руках, будет все более разлагаться, обличая свою лживость и зловредность. Но от этого не будет хуже, потому что разложение церковной деятельности, совершающееся и теперь, есть одно из средств освобождения народа от того обмана, в котором он находится. И потому, чем скорее это освобождение совершится через выход из духовного сословия просвещенных, добрых людей, тем это лучше.

Так что, с какой бы стороны вы ни смотрели на свою деятельность, деятельность эта – всегда вредная, и потому все те из вас, которые боятся Бога и не заглушили своей совести, не могут сделать ничего другого, как употребить все свои силы на то, чтобы освободиться от того ложного положения, в котором вы находитесь.

* * *

Знаю, что многие из вас связаны семьями или зависят от родителей, требующих от вас продолжения начатой деятельности; знаю как трудно отказаться от почетного положения, от богатства или хотя от обеспечения себя и семьи средствами для продолжения привычной жизни и как больно идти против любящих семейных. Но все лучше, чем делать дело, губительное для своей души и вредное людям.

И чем скорее и решительнее вы покаетесь в своем грехе и прекратите свою деятельность, тем это лучше будет не только для людей, но и для вас самих.

Вот это–то я и хотел, находясь теперь на краю гроба и ясно видя главный источник бедствий людей, сказать вам и сказать не для того, чтобы обличать и осуждать вас (я знаю, как незаметно вы сами были вовлечены в тот соблазн, который сделал вас тем, что вы есть), но для того, чтобы содействовать избавлению людей от того страшного зла, которое производит проповедь вашего учения, скрывающего истину, и вместе с тем помочь и вам проснуться от того гипноза, в котором вы находитесь, часто не понимая всей преступности своей деятельности.

И помощи вам в этом Бог, который видит сердца ваши.

Определение Святейшего Синода (22 февраля 1901 года)
(об отлучении Л.Н. Толстого от церкви)

Изначала Церковь Христова терпела хулы и нападения от многочисленных еретиков и лжеучителей, которые стремились ниспровергнуть ее и поколебать в существенных ее основаниях, утверждающихся на вере в Христа, Сына Бога Живого. Но все силы ада, по обетованию Господню, не могли одолеть Церкви святой, которая пребудет неодоленной во веки.

И в наши дни Божиим поущением явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой. Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой в прельщении гордого ума своего дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно пред всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которую жили и спасались наши предки и которую доселе держалась и крепка была Русь святая.

В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он – а) проповедует, с ревностью фанатика, ниспровержение всех догматов Православной

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
Церкви и – б) самой сущности веры христианской:

- 1) отвергает личного живого Бога во святой Троице славимого, Создателя и Промыслителя вселенной;
- 2) отрицает Господа Иисуса Христа – Богочеловека;
- 3) отрицает Иисуса Христа как Искупителя, пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения;
- 4) отрицает Иисуса Христа как Спасителя мира;
- 5) отрицает воскресение Иисуса Христа из мертвых;
- 6) отрицает бессеменное зачатие по человечеству Христа Господа;
- 7) отрицает девство до рождества Пречистой Богородицы и Приснодевы Марии;
- 8) отрицает девство по рождестве Пречистой Богородицы и Приснодевы Марии;
- 9) не признает загробной жизни;
- 10) не признает мздовоздаяния;
- 11) отвергает все таинства Церкви и благодатное в них действие Святого Духа;
- 12) ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнувшись подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию.

Все сие проповедует граф Толстой непрерывно, словом и писанием к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем не прикровенно, но явно перед всеми, сознательно и намеренно отторг себя от всякого общения с Церковью Православною. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею. Ныне о сем свидетельствует перед всей Церковью к утверждению правосоящих и к вразумлению самого графа Толстого. Многие из ближних его, хранящих веру, со скорбью помышляют о том, что он на конце дней своих остается без веры в Бога и Господа Спасителя нашего, отвергшись от благословений и молитв Церкви и от всякого общения с нею.

Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние и разум истины. Молим ти ся милосердный Господи, не хотяи смерти грешных, услыши и помилуй, и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь.

Подлинное подписали:

Смиранный Антоний, митрополит С.-Петербургский и Ладожский.
Смиранный Феогност, митрополит Киевский и Галицийский.
Смиранный Владимир, митрополит Московский и Коломенский.
Смиранный Иероним, архиепископ Холмский и Варшавский.
Смиранный Иаков, епископ Кишиневский и Хотинский.
Смиранный Маркел, епископ.
Смиранный Борис, епископ.

Ответ Л.Н. Толстого на Определение Синода

Я не хотел сначала отвечать на постановление обо мне синода, но постановление это вызвало очень много писем, в которых неизвестные мне корреспонденты – одни бранят меня за то, что я отвергаю то, чего я не отвергаю, другие увещевают меня поверить в то, во что я не переставал верить, третьи выражают со мной единомыслие, которое едва ли в действительности существует, и сочувствие, на которое я едва ли имею право; и я решил ответить и на самое постановление, указав на то, что в нем несправедливо, и на обращения ко мне моих неизвестных корреспондентов.

Постановление синода вообще имеет много недостатков. Оно незаконно или умышленно двусмысленно; оно произвольно, неосновательно, неправдиво и, кроме того, содержит в себе клевету и подстрекательство к дурным чувствам и поступкам.

Оно незаконно или умышленно двусмысленно – потому, что если оно хочет быть

отлучением от церкви, то оно не удовлетворяет тем церковным правилам, по которым может произноситься такое отлучение; если же это есть заявление о том, что тот, кто не верит в церковь и ее догматы, не принадлежит к ней, то это само собой разумеется, и такое заявление не может иметь никакой другой цели, как только ту, чтобы, не будучи в сущности отлучением, оно бы казалось таковым, что, собственно, и случилось, потому что оно так и было понято.

Оно произвольно, потому что обвиняет одного меня в неверии во все пункты, выписанные в постановлении, тогда как не только многие, но почти все образованные люди в России разделяют такое неверие и беспрестанно выражали и выражают его и в разговорах, и в чтении, и в брошюрах и книгах.

Оно неосновательно, потому что главным поводом своего появления выставляет большое распространение моего совращающего людей лжеучения, тогда как мне хорошо известно, что людей, разделяющих мои взгляды, едва ли есть сотня, и распространение моих писаний о религии, благодаря цензуре, так ничтожно, что большинство людей, прочитавших постановление синода, не имеют ни малейшего понятия о том, что мною писано о религии, как это видно из получаемых мною писем.

Оно содержит в себе явную неправду, утверждая, что со стороны церкви были сделаны относительно меня не увенчавшиеся успехом попытки вразумления, тогда как ничего подобного никогда не было.

Оно представляет из себя то, что на юридическом языке называется клеветой, так как в нем заключаются заведомо несправедливые и клонящиеся к моему вреду утверждения.

Оно есть, наконец, подстрекательство к дурным чувствам и поступкам, так как вызвало, как и должно было ожидать, в людях непросвещенных и нерассуждающих озлобление и ненависть ко мне, доходящие до угроз убийства и высказываемые в получаемых мною письмах. «Теперь ты предан анафеме и пойдешь по смерти в вечное мучение и издохнешь как собака... анафема ты, старый черт... проклят будь», – пишет один. Другой делает упреки правительству за то, что я не заключен еще в монастырь, и наполняет письмо ругательствами. Третий пишет: «Если правительство не уберет тебя, – мы сами заставим тебя замолчать»; письмо кончается проклятиями. «Чтобы уничтожить прохвоста тебя, – пишет четвертый, – у меня найдутся средства...» Следуют неприличные ругательства.

Признаки такого же озлобления после постановления синода я замечаю и при встречах с некоторыми людьми. В самый же день 25 февраля, когда было опубликовано постановление, я, проходя по площади, слышал обращенные ко мне слова: «Вот дьявол в образе человека», и если бы толпа была иначе составлена, очень может быть, что меня бы избили, как избили, несколько лет тому назад, человека у Пантелеймоновской часовни.

Так что постановление синода вообще очень нехорошо; то, что в конце постановления сказано, что лица, подписавшие его, молятся, чтобы я стал таким же, как они, не делает его лучше.

* * *

Это так вообще, в частности же постановление это несправедливо в следующем. В постановлении сказано: «Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на господу и на Христа его и на святое его достоинство, явно перед всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его матери, церкви православной».

То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрекся я от нее не потому, что я восстал на господу, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить ему. Прежде чем отречься от церкви и единения с народом, которое мне было невыразимо дорого, я, по некоторым признакам усомнившись в правоте церкви, посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение церкви: теоретически – я перечитал все, что мог, об учении церкви, изучил и критически разобрал догматическое богословие; практически же – строго следовал, в продолжение более года, всем предписаниям церкви, соблюдая все посты и посещая все церковные службы. И я убедился, что учение церкви есть теоретически коварная и

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения.

Стоит только почитать требник и проследить за теми обрядами, которые не переставая совершаются православным духовенством и считаются христианским богослужением, чтобы увидеть, что все эти обряды не что иное, как различные приемы колдовства, приспособленные ко всем возможным случаям жизни. Для того, чтобы ребенок, если умрет, пошел в рай, нужно успеть помазать его маслом и выкупать с произнесением известных слов; для того, чтобы родильница перестала быть нечистой, нужно произнести известные заклинания; чтобы был успех в деле или спокойное житье в новом доме, для того, чтобы хорошо родился хлеб, прекратилась засуха, для того, чтобы путешествие было благополучно, для того, чтобы излечиться от болезни, для того, чтобы облегчилось положение умершего на том свете, для всего этого и тысячи других обстоятельств есть известные заклинания, которые в известном месте и за известные приношения произносит священник.

И я действительно отрекся от церкви, перестал исполнять ее обряды и написал в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей и мертвое мое тело убрали бы поскорей, без всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают всякую противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала живым.

То же, что сказано, что я «посвятил свою литературную деятельность и данный мне от бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и церкви» и т. д., и что я «в своих сочинениях и письмах, во множестве рассеваемых мною так же, как и учениками моими, по всему свету, в особенности же в пределах дорогого отечества нашего, проповедую с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов православной церкви и самой сущности веры христианской» – то это несправедливо.

Я никогда не заботился о распространении своего учения. Правда, я сам для себя выразил в сочинениях свое понимание учения Христа и не скрывал эти сочинения от людей, желавших с ними познакомиться, но никогда сам не печатал их; говорил же людям о том, как я понимаю учение Христа, только тогда, когда меня об этом спрашивали. Таким людям я говорил то, что думаю, и давал, если они у меня были, мои книги.

* * *

Потом сказано, что я «отвергаю бога, во святой троице славимого создателя и промыслителя вселенной, отрицаю господу Иисуса Христа, богочеловека, искупителя и спасителя мира, пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения и воскресшего из мертвых, отрицаю бессеменное зачатие по человечеству Христа господу и девство до рождества и по рождестве пречистой богородицы».

То, что я отвергаю непонятную троицу и не имеющую никакого смысла в наше время басню о падении первого человека, кощунственную историю о боге, родившемся от девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо. Бога же – духа, бога – любовь, единого бога – начало всего не только не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим, кроме бога, и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли бога, выраженной в христианском учении.

Еще сказано: «не признает загробной жизни и мздовоздаяния». Если разуместь жизнь загробную в смысле второго пришествия, ада с вечными мучениями, дьяволами, и рая – постоянного блаженства, то совершенно справедливо, что я не признаю такой загробной жизни; но жизнь вечную и возмездие здесь и везде, теперь и всегда, признаю до такой степени, что, стоя по своим годам на краю гроба, часто должен делать усилия, чтобы не желать плотской смерти, то есть рождения к новой жизни, и верю, что всякий добрый поступок увеличивает истинное благо моей вечной жизни, а всякий злой поступок уменьшает его.

Сказано также, что я отвергаю все таинства. Это совершенно справедливо. Все таинства я считаю низменным, грубым, несоответствующим понятию о боге и христианскому учению колдовством и, кроме того, нарушением самых прямых указаний Евангелия. В крещении младенцев вижу явное извращение всего того смысла, который могло иметь крещение для взрослых, сознательно принимающих христианство; в совершении таинства брака над людьми, заведомо соединявшимися прежде, и в допущении разводов и в освящении браков разведенных вижу прямое нарушение и смысла и буквы евангельского учения. В периодическом прощении грехов на исповеди вижу вредный обман, только поощряющий безнравственность и уничтожающий опасение

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
перед согрешением.

В елеосвящении так же, как и в миропомазании, вижу приемы грубого колдовства, как и в почитании икон и мощей, как и во всех тех обрядах, молитвах, заклинаниях, которыми наполнен требник. В причащении вижу; обоготворение плоти и извращение христианского учения. В священстве, кроме явного приготовления к обману, вижу прямое нарушение слов Христа, – прямо запрещающего кого бы то ни было называть учителями, отцами, наставниками (Мф. XXIII, 8–10).

* * *

Сказано, наконец, как последняя и высшая степень моей виновности, что я, «ругаясь над самыми священными предметами веры, не содрогнулся подвергнуть глумлению священнейшее из таинств – евхаристию».

То, что я не содрогнулся описать просто и объективно то, что священник делает для приготовления этого, так называемого, таинства, то это совершенно справедливо; но то, что это, так называемое, таинство есть нечто священное и что описать его просто, как оно делается, есть кощунство, – это совершенно несправедливо. Кощунство не в том, чтобы назвать перегородку – перегородкой, а не иконостасом, и чашку – чашкой, а не потиром и т. п., а ужаснейшее, не переставшее, возмутительное кощунство – в том, что люди, пользуясь всеми возможными средствами обмана и гипнотизации, – уверяют детей и простодушный народ, что если нарезать известным способом и при произнесении известных слов кусочки хлеба и положить их в вино, то в кусочки эти входит бог; и что тот, во имя кого живого вынется кусочек, тот будет здоров; во имя же кого умершего вынется такой кусочек, то тому на том свете будет лучше; и что тот, кто съест этот кусочек, в того войдет сам бог.

Ведь это ужасно!

Как бы кто ни понимал личность Христа, то учение его, которое уничтожает зло мира и так просто, легко, несомненно дает благо людям, если только они не будут извращать его, это учение все скрыто, все переделано в грубое колдовство купанья, мазания маслом, телодвижений, заклинаний, проглатывания кусочков и т. п., так что от учения ничего не остается. И если когда какой человек попытается напомнить людям то, что не в этих волхвованиях, не в молебнах, обеднях, свечах, иконах – учение Христа, а в том, чтобы люди любили друг друга, не платили злом за зло, не судили, не убивали друг друга, то поднимется стон негодования тех, которым выгодны эти обманы, и люди эти во всеуслышание, с непостижимой дерзостью говорят в церквях, печатают в книгах, газетах, катехизисах, что Христос никогда не запрещал клятву (присягу), никогда не запрещал убийство (казни, войны), что учение о непротивлении злу с сатанинской хитростью выдуманно врагами Христа.

Ужасно, главное, то, что люди, которым это выгодно, обманывают не только взрослых, но, имея на то власть, и детей, тех самых, про которых Христос говорил, что горе тому, кто их обманет. Ужасно то, что люди эти для своих маленьких выгод делают такое ужасное зло, скрывая от людей истину, открытую Христом и дающую им благо, которое не уравнивается и в тысячной доле получаемой ими от того выгодой. Они поступают, как тот разбойник, который убивает целую семью 5–6 человек, чтобы унести старую поддевку и 40 коп. денег. Ему охотно отдали бы всю одежду и все деньги, только бы он не убивал их. Но он не может поступить иначе. То же и с религиозными обманщиками. Можно бы согласиться в 10 раз лучше, в величайшей роскоши содержать их, только бы они не губили людей своим обманом. Но они не могут поступать иначе. Вот это-то и ужасно. И потому обличать их обманы не только можно, но должно. Если есть что священное, то никак уже не то, что они называют таинством, а именно эта обязанность обличать их религиозный обман, когда видишь его.

Если чувашин мажет своего идола сметаной или сечет его, я могу равнодушно пройти мимо, потому что то, что он делает, он делает во имя чуждого мне своего суеверия и не касается того, что для меня священо; но когда люди, как бы много их ни было, как бы старо ни было их суеверие и как бы могущественны они ни были, во имя того бога, которым я живу, и того учения Христа, которое дало жизнь мне и может дать ее всем людям, проповедуют грубое колдовство, я не могу этого видеть спокойно. И если я называю по имени то, что они делают, то я делаю только то, что должен, чего не могу не делать, если я верую в бога и христианское учение. Если же они вместо того, чтобы ужаснуться на свое кощунство, называют кощунством обличение их обмана, то это только доказывает силу их обмана и должно только

увеличивать усилия людей, верующих в бога и в учение Христа, для того чтобы уничтожить этот обман, скрывающий от людей истинного бога.

Про Христа, выгнавшего из храма быков, овец и продавцов, должны были говорить, что он кощунствует. Если бы он пришел теперь и увидел то, что делается его именем в церкви, то еще с большим и более законным гневом наверно повыкидал бы все эти ужасные антимины, и копыя, и кресты, и чаши, и свечи, и иконы, и все то, посредством чего они, колдуя, скрывают от людей бога и его учение.

* * *

Так вот что справедливо и что несправедливо в постановлении обо мне синода. Я действительно не верю в то, во что они говорят, что верят. Но я верю во многое, во что они хотят уверить людей, что я не верю.

Верю я в следующее: верю в бога, которого понимаю как дух, как любовь, как начало всего. Верю в то, что он во мне и я в нем. Верю в то, что воля бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимать богом и которому молиться считаю величайшим кощунством. Верю в то, что истинное благо человека – в исполнении воли бога, воля же его в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними, как и сказано в Евангелии, что в этом весь закон и пророки.

Верю в то, что смысл жизни каждого отдельного человека поэтому только в увеличении в себе любви; что это увеличение любви ведет отдельного человека в жизни этой к все большему и большему благу, дает после смерти тем большее благо, чем больше будет в человеке любви, и вместе с тем и более всего другого содействует установлению в мире царства божия, то есть такого строя жизни, при котором царствующие теперь раздор, обман и насилие будут заменены свободным согласием, правдой и братской любовью людей между собою.

Верю, что для преуспевания в любви есть только одно средство: молитва, – не молитва общественная в храмах, прямо запрещенная Христом (Мф. VI, 5 – 13), а молитва, образец которой дан нам Христом, – уединенная, состоящая в восстановлении и укреплении в своем сознании смысла своей жизни и своей зависимости только от воли бога.

Оскорбляют, огорчают или соблазняют кого-либо, мешают чему-нибудь и кому-нибудь или не нравятся эти мои верования, – я так же мало могу их изменить, как свое тело. Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть (и очень скоро), и потому я не могу никак иначе верить, как так, как верю, готовясь идти к тому богу, от которого исшел. Я не говорю, чтобы моя вера была одна несомненно на все времена истинна, но я не вижу другой – более простой, ясной и отвечающей всем требованиям моего ума и сердца; если я узнаю такую, я сейчас же приму ее, потому что богу ничего, кроме истины, не нужно. Вернуться же к тому, от чего я с такими страданиями только что вышел, я уже никак не могу, как не может летающая птица войти в скорлупу того яйца, из которого она вышла.

«Тот, кто начнет с того, что полюбит христианство более истины, очень скоро полюбит свою церковь или секту более, чем христианство, и кончит тем, что будет любить себя (свое спокойствие) больше всего на свете», – сказал Кольридж.

Я шел обратным путем. Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом полюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю истину более всего на свете. И до сих пор истина совпадает для меня с христианством, как я его понимаю. И я исповедую это христианство; и в той мере, в какой исповедую его, спокойно и радостно живу и спокойно и радостно приближаюсь к смерти.

«Отпадение мое от веры»
(Из книги Л.Н. Толстого «Исповедь»)

Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так: люди живут так, как все живут, а живут все на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большею частью противоположных ему; вероучение не участвует в жизни, и в сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться и в собственной жизни самому никогда не приходится справляться с ним; вероучение это исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним,

По жизни человека, по делам его как теперь, так и тогда никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большею частью встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большею частью встречались в людях, признающих себя неверующими.

В школах учат катехизису и посылают учеников в церковь; от чиновников требуют свидетельств в бытии у причастия. Но человек нашего круга, который не учится больше и не находится на государственной службе, и теперь, а в старину еще больше, мог прожить десятки лет, но вспомнив ни разу о том, что он живет среди христиан и сам считается исповедующим христианскую православную веру.

Так что как теперь, так и прежде вероучение, принятое по доверию и поддерживаемое внешним давлением, понемногу тает под влиянием знаний и опытов жизни, противоположных вероучению, и человек очень часто долго живет, воображая, что в нем цело то вероучение, которое сообщено было ему с детства, тогда как его давно уже нет и следа...

Я говорю о людях нашего образования, говорю о людях, правдивых с самими собою, а не о тех, которые самый предмет веры делают средством для достижения каких бы то ни было временных целей. (Эти люди – самые коренные неверующие, потому что если вера для них – средство для достижения каких-нибудь житейских целей, то это уж на pewno не вера.) Эти люди нашего образования находятся в том положении, что свет знания и жизни растопил искусственное здание, и они или уже заметили это и освободили место, или еще не заметили этого.

Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, что так как я очень рано стал много читать и думать, то мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с шестнадцати лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в бога, или, скорее, я не отрицал бога, но какого бога, я бы не мог сказать; не отрицал я и Христа и его учение, но в чем было его учение, я тоже не мог бы сказать.

Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя – то, что, кроме животных инстинктов, двигало моею жизнью, – единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать себя умственно, – я учился всему, чему мог и на что наталкивала меня жизнь; я старался совершенствовать свою волю – составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изоощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И все это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменилось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собою или перед богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других.

* * *

В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих, под видом равнодушия и даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достигал этого: меня хвалили.

Двадцати шести лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли как своего, льстили мне. И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше. Взгляды эти под распущенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала.

Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в том, что

жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы – художники, поэты. Наше призвание – учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить, – в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учит. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я – художник, поэт – писал, учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество, у меня была слава.

Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо.

Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и в особенности на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собою. Одни говорили: мы – самые хорошие и полезные учителя, мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет, мы – настоящие, а вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали друг против друга. Кроме того, было много между ними людей и не заботящихся о том, кто прав, кто не прав, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Все это заставило меня усомниться в истинности нашей веры.

Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и, в большинстве, люди плохие, ничтожные по характерам – много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни – но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта – обман.

Но странно то, что хотя всю эту ложь веры я понял скоро и отрекся от нее, но отчина, данного мне этими людьми, – отчина художника, поэта, учителя – я не отрекся. Я наивно воображал, что я – поэт, художник, и могу учить всех, сам не зная, чему я учу. Я так и делал.

* * *

Из сближения с этими людьми я вынес новый порок – до болезненности развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему.

Теперь, вспоминая об этом времени, о своем настроении тогда и настроении тех людей (таких, впрочем, и теперь тысячи), мне и жалко, и страшно, и смешно – возникает именно то самое чувство, которое испытываешь в доме сумасшедших.

Мы все тогда были убеждены, что нам нужно говорить и говорить, писать, печатать – как можно скорее, как можно больше, что все это нужно для блага человечества. И тысячи нас, отрицая, ругая один другого, все печатали, писали, поучая других. И, не замечая того, что мы ничего не знаем, что на самый простой вопрос жизни: что хорошо, что дурно, – мы не знаем, что ответить, мы все, не слушая друг друга, все враз говорили, иногда потакая друг другу и восхваляя друг друга с тем, чтоб и мне потакали и меня похвалили, иногда же раздражаясь и перекрикивая друг друга, точно так, как в сумасшедшем доме.

Тысячи работников дни и ночи из последних сил работали, набирали, печатали миллионы слов, и почта развозила их по всей России, а мы все еще больше и больше учили, учили и учили и никак не успевали всему научить, и все сердились, что нас мало слушают.

Ужасно странно, но теперь мне понятно. Настоящим, задушевным рассуждением нашим было то, что мы хотим как можно больше получать денег и похвал. Для достижения этой цели мы ничего другого не умели делать, как только писать книжки и газеты. Мы это и делали. Но для того чтобы нам делать столь бесполезное дело и иметь уверенность, что мы – очень важные люди, нам надо было еще рассуждение, которое бы оправдывало нашу деятельность. И вот у нас было придумано следующее: все, что существует, то разумно. Все же, что существует, все развивается. Развивается же

все посредством просвещения. Просвещение же измеряется распространением книг, газет. А нам платят деньги и нас уважают за то, что мы пишем книги и газеты, и потому мы – самые полезные и хорошие люди. Рассуждение это было бы очень хорошо, если бы мы все были согласны; но так как на каждую мысль, высказываемую одним, являлась всегда мысль, диаметрально противоположная, высказываемая другим, то это должно бы было заставить нас одуматься. Но мы этого не замечали. Нам платили деньги, и люди нашей партии нас хвалили, – стало быть, мы, каждый из нас, считали себя правыми.

Теперь мне ясно, что разницы с сумасшедшим домом никакой не было; тогда же я только смутно подозревал это, и то только, как и все сумасшедшие, – называл всех сумасшедшими, кроме себя.

* * *

Так я жил, предаваясь этому безумию еще шесть лет, до моей женитьбы. В это время я поехал за границу. Жизнь в Европе и сближение мое с передовыми и учеными европейскими людьми утвердило меня еще больше в той вере совершенствования вообще, которой я жил, потому что ту же самую веру я нашел и у них. Вера эта приняла во мне ту обычную форму, которую она имеет у большинства образованных людей нашего времени. Вера эта выражалась словом «прогресс». Тогда мне казалось, что этим словом выражается что-то. Я не понимал еще того, что, мучимый, как всякий живой человек, вопросами, как мне лучше жить, я, отвечая: жить сообразно с прогрессом, – говорю совершенно то же, что скажет человек, несомый в лодке по волнам и по ветру, на главный и единственный для него вопрос: «Куда держаться?» – если он, не отвечая на вопрос, скажет: «Нас несет куда-то».

Тогда я не замечал этого. Только изредка не разум, а чувство возмущалось против этого общего в наше время суеверия, которым люди заслоняют от себя свое непонимание жизни. Так, в бытность мою в Париже, вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидел, как голова отделилась от тела, и то, и другое врозь застучало в ящике, я понял – не умом, а всем существом, – что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно, – я знаю, что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я с своим сердцем. Другой случай сознания недостаточности для жизни суеверия прогресса была смерть моего брата. Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания.

Но это были только редкие случаи сомнения, в сущности же я продолжал жить, исповедуя только веру в прогресс.

«Все развивается, и я развиваюсь; а зачем это я развиваюсь вместе со всеми, это видно будет». Так бы я тогда должен был формулировать свою веру.

* * *

Вернувшись из-за границы, я поселился в деревне и попал на занятие крестьянскими школами. Занятие это было мне особенно по сердцу, потому что в нем не было той, ставшей для меня очевидною, лжи, которая мне уже резала глаза в деятельности литературного учительства. Здесь я тоже действовал во имя прогресса, но я уже относился критически к самому прогрессу. Я говорил себе, что прогресс в некоторых явлениях своих совершался неправильно и что вот надо отнестись к первобытным людям, крестьянским детям, совершенно свободно, предлагая им избрать тот путь прогресса, который они захотят. В сущности же я вертелся все около одной и той же неразрешимой задачи, состоящей в том, чтоб учить, не зная чему. В высших сферах литературной деятельности мне ясно было, что нельзя учить, не зная, чему учить, потому что я видел, что все учат различному и спорами между собой скрывают только сами от себя свое незнание; здесь же, с крестьянскими детьми, я думал, что можно обойти эту трудность тем, чтобы предоставить детям учиться, чему они хотят. Теперь мне смешно вспомнить, как я вилял, чтоб исполнить свою похоть – учить, хотя очень хорошо знал в глубине души, что я не могу ничему учить такому, что нужно, потому что сам не знаю, что нужно. После года, проведенного в занятиях школой, я другой раз поехал за границу, чтобы там узнать, как бы это так сделать, чтобы, самому ничего не зная, уметь учить других.

И мне казалось, что я этому выучился за границей, и, вооруженный всей этой премудростью, я в год освобождения крестьян вернулся в Россию и, заняв место посредника, стал учить и необразованный народ в школах, и образованных людей в журнале, который я начал издавать. Дело, казалось, шло хорошо, но я чувствовал, что я не совсем умственно здоров и долго это не может продолжаться. И я бы тогда же, может быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел в пятьдесят лет, если бы у меня не было еще одной стороны жизни, не изведанной еще мною и обещавшей мне спасение: это была семейная жизнь.

В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналом и так измучился, от того особенно, что запутался, так мне тяжела стала борьба по посредничеству, так смутно проявлялась деятельность моя в школах, так противно мне стало мое влияние в журнале, состоявшее все в одном и том же – в желании учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить, что я заболел более духовно, чем физически, – бросил все и поехал в степь к башкирам – дышать воздухом, пить кумыс и жить животную жизнью.

Вернувшись оттуда, я женился. Новые условия счастливой семейной жизни совершенно уже отвлекли меня от всякого искания общего смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время в семье, в жене, в детях и потому в заботах об увеличении средств жизни. Стремление к усовершенствованию, подмененное уже прежде стремлением к усовершенствованию вообще, к прогрессу, теперь подменилось уже прямо стремлением к тому, чтобы мне с семьей было как можно лучше. Так прошло еще пятнадцать лет.

Несмотря на то, что я считал писательство пустяками, в продолжение этих пятнадцати лет я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд и предавался ему как средству к улучшению своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей.

Я писал, поучая тому, что для меня было единой истиной, что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше.

* * *

Так я жил, но пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом?

Сначала мне казалось, что это так – бесцельные, неуместные вопросы. Мне казалось, что это все известно и что, если я когда и захочу заняться их разрешением, это не будет стоить мне труда, – что теперь только мне некогда этим заниматься, а когда вздумаю, тогда и найду ответы. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и как точки, падая всё на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное пятно.

Случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельною внутреннею болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания, потом признаки эти повторяются чаще и чаще и сливаются в одно нераздельное по времени страдание. Страдание растет, и больной не успеет оглянуться, как уже сознает, что то, что он принимал за недомогание, есть то, что для него значительнее всего в мире, что это – смерть.

То же случилось и со мной. Я понял, что это – не случайное недомогание, а что-то очень важное, и что если повторяются все те же вопросы, то надо ответить на них. И я попытался ответить. Вопросы казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только что я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился, во-первых, в том, что это не детские и глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни, и, во-вторых, в том, что я не могу и не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским именем, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю – зачем, я не могу ничего делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо,

у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» и я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что ж!..»

И я ничего и ничего не мог ответить.

* * *

Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, то я вперед знал, что, удовлетворю или не удовлетворю мое желание, из этого ничего не выйдет.

Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это – обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина была то, что жизнь есть бессмыслица.

Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидел, что впереди ничего нет, кроме гибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видеть, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и счастья и настоящих страданий и настоящей смерти – полного уничтожения.

Жизнь мне опостылела – какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотенье. Это была сила, подобная прежнему стремлению жизни, только в обратном отношении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была так соблазнительна, что я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не привести ее слишком поспешно в исполнение. Я не хотел торопиться только потому, что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться! Если не распутаюсь, то всегда успею, говорил я себе. И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее и между тем чего-то еще надеялся от нее.

И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем: это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось.

Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность, без особенного самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках: телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков; умственно я мог работать по восьми – десяти часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишиться себя жизни.

Душевное состояние это выражалось для меня так: жизнь моя есть какая-то кем-то сыгранная надо мной глупая и злая шутка. Несмотря на то, что я не признавал никакого «кого-то», который бы меня сотворил, эта форма представления, что кто-то надо мной подшутил зло и глупо, произведя меня на свет, была самая естественная мне форма представления.

Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, который теперь потешается, глядя на меня, как я целые 30–40 лет жил, жил учась, развиваясь, возрастая телом и духом, и как я теперь, совсем окрепнув умом, дойдя до той

вершины жизни, с которой открывается вся она, – как я дурак дураком стою на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет. «А ему смешно...»

Но есть ли или нет этот кто-нибудь, который смеется надо мной, мне от этого не легче. Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку, ни всей моей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать этого в самом начале. Все это так давно всем известно. Не нынче – завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся – раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить – вот что удивительно! Можно жить только, куда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это – только обман, и глупый обман! Вот именно, что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто – жестоко и глупо.

* * *

Давно уже рассказана восточная басня про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем.

Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодезь, но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, не смея и спрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожранным драконом, ухватывается за ветви растущего в расщелинах колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с обеих сторон ждущей его; но он все держится, и пока он держится, он оглядывается и видит, что две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обломится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их.

Так и я держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мучение. И я пытаюсь сосать тот мед, который прежде утешал меня; но этот мед уже не радует меня, а белая и черная мышь – день и ночь – подтачивают ветку, за которую я держусь. Я ясно вижу дракона, и мед уже не сладок мне. Я вижу одно – неизбежного дракона и мышей, – и не могу отвести от них взор. И это не басня, а это истинная, неоспоримая и всякому понятная правда.

Прежний обман радостей жизни, заглушавший ужас дракона, уже не обманывает меня. Сколько ни говори мне: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи, – я не могу делать этого, потому что слишком долго делал это прежде. Теперь я не могу не видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к смерти. Я вижу это одно, потому что это одно – истина. Остальное все – ложь.

Те две капли меда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины, – любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством, – уже не сладки мне.

«Семья...» – говорил я себе; но семья – жена, дети; они тоже люди. Они находятся в тех же самых условиях, в каких и я: они или должны жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем же им жить? Зачем мне любить их, беречь, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия!

Любя их, я не могу скрывать от них истины, – всякий шаг в познании ведет их к этой истине. А истина – смерть.

«Искусство, поэзия?..» Долго под влиянием успеха похвалы людской я уверял себя, что это – дело, которое можно делать, несмотря на то, что придет смерть, которая уничтожит все – и меня, и мои дела, и память о них; но скоро я увидал, что и это – обман. Мне было ясно, что искусство есть украшение жизни, заманка к жизни. Но жизнь потеряла для меня свою заманчивость, как же я могу заманивать других? Пока я не жил своею жизнью, а чужая жизнь несла меня на своих волнах, пока я верил, что жизнь имеет смысл, хоть я и не умею выразить его, – отражения жизни всякого рода в поэзии и искусствах доставляли мне радость, мне весело было смотреть на жизнь в это зеркальце искусства; но когда я стал отыскивать смысл жизни, когда я

почувствовал необходимость самому жить, – зеркальце это стало мне или ненужно, излишне и смешно, или мучительно. Мне нельзя уже было утешаться тем, что я в зеркальце вижу, что положение мое глупо и отчаянно. Хорошо мне было радоваться этому, когда в глубине души я верил, что жизнь моя имеет смысл. Тогда эта игра светов и теней – комического, трагического, трогательного, прекрасного, ужасного в жизни – потешала меня. Но когда я знал, что жизнь бессмысленна и ужасна, – игра в зеркальце не могла уже забавлять меня. Никакая сладость меда не могла быть сладка мне, когда я видел дракона и мышей, подтачивающих мою опору.

Но и этого мало. Если б я просто понял, что жизнь не имеет смысла, я спокойно бы мог знать это, мог бы знать, что это – мой удел. Но я не мог успокоиться на этом. Если б я был как человек, живущий в лесу, из которого он знает, что нет выхода, я бы мог жить; но я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашел ужас оттого, что он заблудился, и он мечется, желая выбраться на дорогу, знает, что всякий шаг еще больше путает его, и не может не метаться.

Вот это было ужасно. И чтоб избавиться от этого ужаса, я хотел убить себя. Я испытывал ужас перед тем, что ожидает меня, – знал, что этот ужас ужаснее самого положения, но не мог отогнать его и не мог терпеливо ожидать конца. Как ни убедительно было рассуждение о том, что все равно разорвется сосуд в сердце или лопнет что-нибудь, и все кончится, я не мог терпеливо ожидать конца.

Ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него петлей или пулей. И вот это-то чувство сильнее всего влекло меня к самоубийству.

* * *

«Но, может быть, я просмотрел что-нибудь, не понял чего-нибудь? – несколько раз говорил я себе. – Не может же быть, чтобы это состояние отчаяния было свойственно людям». И я искал объяснения на мои вопросы во всех тех знаниях, которые приобрели люди. И я мучительно и долго искал, и не из праздного любопытства, не вяло искал, но искал мучительно, упорно, дни и ночи, – искал, как ищет погибающий человек спасенья, – и ничего не нашел.

Я искал во всех знаниях и не только не нашел, но убедился, что все те, которые так же, как и я, искали в знании, точно так же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что приводило меня в отчаяние – бессмыслица жизни, – есть единственное несомненное знание, доступное веку.

Я искал везде, и, благодаря жизни, проведенной в учении, а также тому, что, по связям своим с миром ученых, мне были доступны сами ученые всех разнообразных отраслей знания, не отказывавшиеся открывать мне все свои знания не только в книгах, но и в беседах, – я узнал все то, что на вопрос жизни отвечает знание.

Долго я никак не мог поверить тому, что знание ничего другого не отвечает на вопросы жизни, как то, что оно отвечает. Долго мне казалось, вглядываясь в важность и серьезность тона науки, утверждавшей свои положения, не имеющие ничего общего с вопросами человеческой жизни, что я чего-нибудь не понимаю. Долго я робел перед знанием, и мне казалось, что несоответственность ответов моим вопросам происходит не по вине знания, а от моего невежества; но дело было для меня не шуточное, не забава, а дело всей моей жизни, и я волей-неволей был приведен к убеждению, что вопросы мои – одни законные вопросы, служащие основой всякого знания, и что виноват не я с моими вопросами, а наука, если она имеет притязательность отвечать на эти вопросы.

Вопрос мой – тот, который в пятьдесят лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца, – тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том: «Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, – что выйдет из всей моей жизни?»

Иначе выраженный, вопрос будет такой: «Зачем мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?» Еще иначе выразить вопрос можно так: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?»

На этот-то, один и тот же, различно выраженный вопрос я искал ответа в человеческом знании. И я нашел, что по отношению к этому вопросу все человеческие знания разделяются как бы на две противоположные полусферы, на двух противоположных концах которых находятся два полюса: один – отрицательный,

другой – положительный; но что ни на том, ни на другом полюсе нет ответов на вопросы жизни.

Один ряд знаний как бы и не признает вопроса, но зато ясно и точно отвечает на свои независимо поставленные вопросы: это – ряд знаний опытных, и на крайней точке их стоит математика; другой ряд знаний признает вопрос, но не отвечает на него: это – ряд знаний умозрительных, и на крайней их точке – метафизика.

С ранней молодости меня занимали умозрительные знания, но потом и математические и естественные науки привлекли меня, и пока я не поставил себе ясно своего вопроса, пока вопрос этот не вырос сам во мне, требуя настоятельно разрешения, до тех пор я удовлетворялся теми подделками ответов на вопрос, которые дает знание.

То, в области опытной, я говорил себе: «Все развивается, дифференцируется, идет к усложнению и усовершенствованию, и есть законы, руководящие этим ходом. Ты – часть целого. Познав, насколько возможно, целое и познав закон развития, ты познаешь и свое место в этом целом, и самого себя». Как ни совестно мне признаться, но было время, когда я как будто удовлетворялся этим.

* * *

Это было то самое время, когда я сам усложнялся и развивался. Мускулы мои росли и укреплялись, память обогащалась, способность мышления и понимания увеличивалась, я рос и развивался, и, чувствуя в себе этот рост, мне естественно было думать, что это-то и есть закон всего мира, в котором я найду разрешение и вопросов моей жизни. Но пришло время, когда рост во мне прекратился – я почувствовал, что не развиваюсь, а ссыхаюсь, мускулы мои слабеют, зубы падают, – и я увидел, что этот закон не только ничего мне не объясняет, но что и закона такого никогда не было и не могло быть, а что я принял за закон то, что нашел в себе в известную пору жизни. Я строже отнесся к определению этого закона; и мне ясно стало, что законов бесконечного развития не может быть; ясно стало, что сказать: в бесконечном пространстве и времени все развивается, совершенствуется, усложняется, дифференцируется, – это значит ничего не сказать. Все это – слова без значения, ибо в бесконечном нет ни сложного, ни простого, ни переда, ни зада, ни лучше, ни хуже.

Главное же то, что вопрос мой личный: что я такое с моими желаниями? – оставался уже совсем без ответа. И я понял, что знания эти очень интересны, очень привлекательны, но что точны и ясны эти знания обратно пропорционально их приложимости к вопросам жизни: чем менее они приложимы к вопросам жизни, тем они точнее и яснее, чем более они пытаются давать решения на вопросы жизни, тем более они становятся неясными и непривлекательными. Если обратишься к той отрасли этих знаний, которые пытаются давать решения на вопросы жизни, – к физиологии, психологии, биологии, социологии, – то тут встречаешь поражающую бедность мысли, величайшую неясность, ничем не оправданную притязательность на решение неподлежащих вопросов и беспрестанные противоречия одного мыслителя с другими и даже с самим собою. Если обратишься к отрасли знаний, не занимающихся разрешением вопросов жизни, но отвечающих на свои научные, специальные вопросы, то восхищаешься силой человеческого ума, но знаешь вперед, что ответов на вопросы жизни нет. Эти знания прямо игнорируют вопрос жизни. Они говорят: «На то, что ты такое и зачем ты живешь, мы не имеем ответов и этим не занимаемся; а вот если тебе нужно знать законы света, химических соединений, законы развития организмов, если тебе нужно знать законы тел, их форм и отношение чисел и величин, если тебе нужно знать законы своего ума, то на все это у нас есть ясные, точные и несомненные ответы».

Вообще отношение наук опытных к вопросу жизни может быть выражено так: Вопрос: Зачем я живу? – Ответ: В бесконечно большом пространстве, в бесконечно долгое время, бесконечно малые частицы видоизменяются в бесконечной сложности, и когда ты поймешь законы этих видоизменений, тогда поймешь, зачем ты живешь.

То, в области умозрительной, я говорил себе: «Все человечество живет и развивается на основании духовных начал, идеалов, руководящих его. Эти идеалы выражаются в религиях, в науках, искусствах, формах государственности. Идеалы эти все становятся выше и выше, и человечество идет к высшему благу. Я – часть человечества, и потому призвание мое состоит в том, чтобы содействовать сознанию и осуществлению идеалов человечества». И я во время слабоумия своего удовлетворялся этим; но как скоро ясно восстал во мне вопрос жизни, вся эта

теория мгновенно рушилась. Не говоря о той недобросовестной неточности, при которой знания этого рода выдают выводы, сделанные из изучения малой части человечества, за общие выводы, не говоря о взаимной противоречивости разных сторонников этого воззрения о том, в чем состоят идеалы человечества, – странность, чтобы не сказать – глупость, этого воззрения состоит в том, что для того, чтоб ответить на вопрос, предстоящий каждому человеку: «что я такое», или: «зачем я живу», или: «что мне делать», – человек должен прежде разрешить вопрос: «что такое жизнь всего неизвестного ему человечества, из которой ему известна одна крошечная часть в один крошечный период времени». Для того чтобы понять, что он такое, человек должен прежде понять, что такое все это таинственное человечество, состоящее из таких же людей, как и он сам, не понимающих самих себя.

* * *

Должен сознаться, что было время, когда я верил этому. Это было то время, когда у меня были свои излюбленные идеалы, оправдывавшие мои прихоти, и я старался придумать такую теорию, по которой я мог бы смотреть на свои прихоти как на закон человечества. Но как скоро восстал в моей душе вопрос жизни во всей ясности, ответ этот тотчас же разлетелся прахом.

И я понял, что как в науках опытных есть настоящие науки и полунауки, пытающиеся давать ответы на не подлежащие им вопросы, так и в этой области я понял, что есть целый ряд самых распространенных знаний, старающихся отвечать на неподлежащие вопросы. Полунауки этой области – науки юридические, социальные, исторические – пытаются разрешать вопросы человека тем, что они мнимо, каждая по-своему, разрешают вопрос жизни всего человечества.

Но как в области опытных знаний человек, искренно спрашивающий, как мне жить, не может удовлетвориться ответом: изучи в бесконечном пространстве бесконечные по времени сложности изменения бесконечных частиц, и тогда ты поймешь свою жизнь, точно так же не может искренний человек удовлетвориться ответом: изучи жизнь всего человечества, которого ни начала, ни конца мы не можем знать и малой части которого мы не знаем, и тогда ты поймешь свою жизнь. И точно так же, как в полунауках опытных, и эти полунауки тем более исполнены неясностей, неточностей, глупостей и противоречий, чем далее они уклоняются от своих задач. Задача опытной науки есть причинная последовательность материальных явлений. Стоит опытной науке ввести вопрос о конечной причине, и получается чепуха. Задача умозрительной науки есть сознание беспричинной сущности жизни. Стоит ввести исследование причинных явлений, как явления социальные, исторические, и получается чепуха.

Опытная наука тогда только дает положительное знание и являет величие человеческого ума, когда она не вводит в свои исследования конечной причины. И наоборот, умозрительная наука – тогда только наука и являет величие человеческого ума, когда она устраняет совершенно вопросы о последовательности причинных явлений и рассматривает человека только по отношению к конечной причине. Такова в этой области наука, составляющая полюс этой полусферы, – метафизика, или умозрительная философия. Наука эта ясно ставит вопрос: что такое я и весь мир? и зачем я и зачем весь мир? И с тех пор как она есть, она отвечает всегда одинаково. Идеями ли, субстанцией ли, духом ли, волею ли называет философ сущность жизни, находящуюся во мне и во всем существующем, философ говорит одно, что эта сущность есть и что я есть та же сущность; но зачем она, он не знает и не отвечает, если он точный мыслитель. Я спрашиваю: Зачем быть этой сущности?

Что выйдет из того, что она есть и будет?.. И философия не только не отвечает, а сама только это и спрашивает. И если она – истинная философия, то вся ее работа только в том и состоит, чтоб ясно поставить этот вопрос. И если она твердо держится своей задачи, то она и не может отвечать иначе на вопрос: «что такое я и весь мир?» – «всё и ничто»; а на вопрос: «зачем существует мир и зачем существую я?» – «не знаю».

Так что, как я ни верти теми умозрительными ответами философии, я никак не получу ничего похожего на ответ, – и не потому, что, как в области ясной, опытной, ответ относится не до моего вопроса, а потому, что тут, хотя вся работа умственная направлена именно на мой вопрос, ответа нет, и вместо ответа получается тот же вопрос, только в усложненной форме.

* * *

В поисках за ответами на вопрос жизни я испытал совершенно то же чувство, которое испытывает заблудившийся в лесу человек.

Вышел на поляну, влез на дерево и увидел ясно беспредельные пространства, но увидел, что дома там нет и не может быть; пошел в чащу, во мрак, и увидел мрак, и тоже нет и нет дома.

Так я блуждал в этом лесу знаний человеческих между просветами знаний математических и опытных, открывавших мне ясные горизонты, но такие, по направлению которых не могло быть дома, и между мраком умозрительных знаний, в которых я погружался тем в больший мрак, чем дальше я подвигался, и убедился, наконец, в том, что выхода нет и не может быть.

Отдаваясь светлой стороне знаний, я понимал, что я только отвожу себе глаза от вопроса. Как ни заманчивы, ясны были горизонты, открывавшиеся мне, как ни заманчиво было погружаться в бесконечность этих знаний, я понимал уже, что они, эти знания, тем более ясны, чем менее они мне нужны, чем менее отвечают на вопрос.

Ну, я знаю, – говорил я себе, – все то, что так упорно желает знать наука, а ответа на вопрос о смысле моей жизни на этом пути нет.

В умозрительной же области я понимал, что, несмотря на то, или именно потому, что цель знания была прямо направлена на ответ моему вопросу, ответа нет иного, как тот, который я сам дал себе: Какой смысл моей жизни? – Никакого. – Или: Что выйдет из моей жизни? – Ничего. – Или: Зачем существует все то, что существует, и зачем я существую? – Затем, что существует.

Спрашивая у одной стороны человеческих знаний, я получал бесчисленное количество точных ответов о том, о чем я не спрашивал: о химическом составе звезд, о движении солнца к созвездию Геркулеса, о происхождении видов и человека, о формах бесконечно малых атомов, о колебании бесконечно малых невесомых частиц эфира; но ответ в этой области знаний на мой вопрос: в чем смысл моей жизни? – был один: ты – то, что ты называешь твоей жизнью, ты – временное, случайное сцепление частиц. Взаимное воздействие, изменение этих частиц производит в тебе то, что ты называешь твоею жизнью. Сцепление это продержится некоторое время; потом взаимодействие этих частиц прекратится – и прекратится то, что ты называешь жизнью, прекратятся и все твои вопросы. Ты – случайно слепившийся комочек чего-то. Комочек преет. Прение это комочек называет своей жизнью. Комочек раскочится – и кончится прение и все вопросы. Так отвечает ясная сторона знаний и ничего другого не может сказать, если она только строго следует своим основам.

При таком ответе оказывается, что ответ отвечает не на вопрос. Мне нужно знать смысл моей жизни, а то, что она есть частица бесконечного, не только не придает ей смысла, но уничтожает всякий возможный смысл.

Те же неясные сделки, которые делает эта сторона опытного, точного знания с умозрением, при которых говорится, что смысл жизни состоит в развитии и содействии этому развитию, по неточности и неясности своей не могут считаться ответами.

Другая сторона знания, умозрительная, когда она строго держится своих основ, прямо отвечая на вопрос, везде и во все века отвечает и отвечала одно и то же: мир есть что-то бесконечное и непонятное. Жизнь человеческая есть непостижимая часть этого непостижимого «всего». Опять я исключаю все те сделки между умозрительными и опытными знаниями, которые составляют весь балласт полунаук, так называемых юридических, политических, исторических.

В эти науки опять так же неправильно вводятся понятия развития, совершенствования с тою только разницей, что там – развитие всего, а здесь – жизни людей. Неправильность одна и та же: развитие, совершенствование в бесконечном не может иметь ни цели, ни направления и по отношению к моему вопросу ничего не отвечает.

Там же, где умозрительное знание точно, именно в истинной философии, не в той, которую Шопенгауэр называл профессорской философией, служащей только к тому, чтобы распределить все существующие явления по новым философским графам и

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
назвать их новыми именами, – там, где философ не упускает из вида существенный вопрос, ответ всегда один и тот же, – ответ, данный Сократом, Шопенгауэром, Соломоном, Буддой.

* * *

«Мы приблизимся к истине только настолько, насколько мы удалимся от жизни, – говорит Сократ, готовясь к смерти. – К чему мы, любящие истину, стремимся в жизни? К тому, чтоб освободиться от тела и от всего зла, вытекающего из жизни тела. Если так, то как же нам не радоваться, когда смерть приходит к нам?»

«Мудрец всю жизнь ищет смерть, и потому смерть не страшна ему».

«Познавши внутреннюю сущность мира как волю, – говорит Шопенгауэр, – и во всех явлениях, от бессознательного стремления темных сил природы до полной сознанием деятельности человека, признавши только предметность этой воли, мы никак не избежим того следствия, что вместе с свободным отрицанием, самоуничтожением воли исчезнут и все те явления, то постоянное стремление и влечение без цели и отдыха на всех ступенях предметности, в котором и через которое состоит мир, исчезнет разнообразие последовательных форм, исчезнут вместе с формой все ее явления с своими общими формами, пространством и временем, а наконец и последняя основная его форма – субъект и объект. Нет воли, нет представления, нет и мира. Перед нами, конечно, остается только ничто. Но то, что противится этому переходу в ничтожество, наша природа есть ведь только эта самая воля к существованию (wille zum Leben), составляющая нас самих, как и наш мир. Что мы так боимся ничтожества, или, что то же, так хотим жить – означает только, что мы сами не что иное, как это хотение жизни, и ничего не знаем, кроме него. Поэтому то, что останется по совершенном уничтожении воли для нас, которые еще полны волей, есть, конечно, ничто; но и, наоборот, для тех, в которых воля обратилась и отреклась от себя, для них этот наш столь реальный мир, со всеми его солнцами и млечными путями, есть ничто».

«Суета сует, – говорит Соломон, – суета сует – все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род преходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться; и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтоб исследовать и испытать мудростию все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал бог сынам человеческим, чтоб они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все суета и томление духа... Говорил я в сердце моем так: вот я возвеличился, приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это – томление духа. Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания – умножает скорбь».

Сказал я в сердце моем: дай испытаю я тебя веселием и насладюсь добром; но и это – суета. О смехе сказал я: глупость, а о веселии: что оно делает? Вздумал я в сердце своем усладить вином тело мое и, между тем как сердце мое руководилось мудростью, придерживаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни своей жизни. Я предпринял большие дела: построил себе дома, насадил себе виноградники. Устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовые деревья; сделал себе водоемы для орошения из них рошей, произрастающих деревьев; приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; собрал себе серебра, и золота, и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и усладения сынов человеческих – разные музыкальные орудия.

И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселия. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И оглянулся я, чтобы взглянуть на мудрость, и безумие, и глупость. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце своем: и меня постигнет та же участь, как и глупого, – к чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и

это – суета. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым! И возненавидел я жизнь, потому что противны мне стали дела, которые делаются под солнцем, ибо все – суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его – скорби, и его труды – беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это – суета. Не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить и усладить душу свою от труда своего...

Всему и всем – одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злему, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые не знают ничего, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению; и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более чести вовеки ни в чем, что делается под солнцем».

Так говорит Соломон или тот, кто писал эти слова.

* * *

А вот что говорит индийская мудрость. Сакиа-Муни, молодой счастливый царевич, от которого скрыты были болезни, старость, смерть, едет на гулянье и видит страшного старика, беззубого и слюнявого. Царевич, от которого до сих пор скрыта была старость, удивляется и спрашивает возницу, что это такое и отчего этот человек пришел в такое жалкое, отвратительное, безобразное состояние? И когда он узнает, что это общая участь всех людей, что ему, молодому царевичу, неизбежно предстоит то же самое, он не может уже ехать гулять и приказывает вернуться, чтоб обдумать это. И он запирается один и обдумывает. И, вероятно, придумывает себе какое-нибудь утешение, потому что опять веселый и счастливый выезжает на гулянье.

Но в этот раз ему встречается больной. Он видит изможденного, посиневшего, трясущегося человека, с помутившимися глазами. Царевич, от которого скрыты были болезни, останавливается и спрашивает, что это такое. И когда он узнает, что это – болезнь, которой подвержены все люди, и что он сам, здоровый и счастливый царевич, завтра может заболеть так же, он опять не имеет духа веселиться, приказывает вернуться и опять ищет успокоения и, вероятно, находит его, потому что в третий раз едет гулять; но в третий раз он видит еще новое зрелище; он видит, что несут что-то.

«Что это?» – Мертвый человек. – «Что значит мертвый?» – спрашивает царевич. Ему говорят, что сделаться мертвым значит сделаться тем, чем сделался этот человек. Царевич подходит к мертвому, открывает и смотрит на него. «Что же будет с ним дальше?» – спрашивает царевич. Ему говорят, что его закопают в землю. «Зачем?» – Затем, что он уже наверно не будет больше никогда живой, а только будет от него смрад и черви. – «И это удел всех людей? И со мною то же будет? Меня закопают, и от меня будет смрад, и меня съедят черви?» – Да. – «Назад! Я не еду гулять и никогда не поеду больше».

И Сакиа-Муни не мог найти утешения в жизни, и он решил, что жизнь – величайшее зло, и все силы души употребил на то, чтоб освободиться от нее и освободить других. И освободить так, чтоб и после смерти жизнь не возобновлялась как-нибудь, чтоб уничтожить жизнь совсем, в корне. Это говорит вся индийская мудрость.

* * *

Так вот те прямые ответы, которые дает мудрость человеческая, когда она отвечает на вопрос жизни.

«Жизнь тела есть зло и ложь. И потому уничтожение этой жизни тела есть благо, и мы должны желать его», – говорит Сократ.

«Жизнь есть то, чего не должно бы быть, – зло, и переход в ничто есть

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
единственное благо жизни», – говорит Шопенгауэр.

«Все в мире – и глупость и мудрость, и богатство и нищета, и веселье и горе – все суета и пустяки. Человек умрет, и ничего не останется. И это глупо», – говорит Соломон.

«Жить с сознанием неизбежности страданий, ослабления, старости и смерти нельзя – надо освободить себя от жизни, от всякой возможности жизни», – говорит Будда.

И то, что сказали эти сильные умы, говорили, думали и чувствовали миллионы миллионов людей, подобных им. И думаю и чувствую и я.

Так что блуждание мое в знаниях не только не вывело меня из моего отчаяния, но только усилило его. Одно знание не отвечало на вопросы жизни, другое же знание ответило, прямо подтверждая мое отчаяние и указывая, что то, к чему я пришел, не есть плод моего заблуждения, болезненного состояния ума, – напротив, оно подтвердило мне то, что я думал верно и сошелся с выводами сильнейших умов человечества.

Обманывать себя нечего. Все – суета. Счастлив, кто не родился, смерть лучше жизни; надо избавиться от нее.

* * *

Не найдя разъяснения в знании, я стал искать этого разъяснения в жизни, надеясь в людях, окружающих меня, найти его, и я стал наблюдать людей – таких же, как я, как они живут вокруг меня и как они относятся к этому вопросу, приведшему меня к отчаянию.

И вот что я нашел у людей, находящихся в одном со мною положении по образованию и образу жизни.

Я нашел, что для людей моего круга есть четыре выхода из того ужасного положения, в котором мы все находимся.

Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица. Люди этого разряда – большею частью женщины, или очень молодые, или очень тупые люди – еще не поняли того вопроса жизни, который представился Шопенгауэру, Соломону, Будде. Они не видят ни дракона, ожидающего их, ни мышей, подтачивающих кусты, за которые они держатся, и лижут капли меду. Но они лижут эти капли меда только до времени: что-нибудь обратит их внимание на дракона и мышей, и – конец их лизанью. От них мне нечему научиться, нельзя перестать знать того, что знаешь.

Второй выход – это выход эпикурейства. Он состоит в том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть, не смотреть ни на дракона, ни на мышей, а лизать мед самым лучшим образом, особенно если его на кусте попало много. Соломон выражает этот выход так:

«И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему бог под солнцем.

Итак, иди ешь с веселием хлеб твой и пей в радости сердца вино твое... Наслаждайся жизнью с женщиною, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, во все суетные дни твои, потому что это – доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем... Все, что может рука твоя по силам делать, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».

Этого второго вывода придерживается большинство людей нашего круга. Условия, в которых они находятся, делают то, что благ у них больше, чем зол, а нравственная тупость дает им возможность забывать, что выгода их положения случайна, что всем нельзя иметь 1000 женщин и дворцов, как Соломон, что на каждого человека с 1000 жен есть 1000 людей без жен, и на каждый дворец есть 1000 людей, в поте лица строящих его, и что та случайность, которая нынче сделала меня Соломоном, завтра может сделать меня рабом Соломона.

Тупость же воображения этих людей дает им возможность забывать про то, что не

дало покоя Будде, – неизбежность болезни, старости и смерти, которая не нынче – завтра разрушит все эти удовольствия. То, что некоторые из этих людей утверждают, что тупость их мысли и воображения есть философия, которую они называют позитивной, не выделяет их, на мой взгляд, из разряда тех, которые, не видя вопроса, лижут мед. И этим людям я не мог подражать: не имея их тупости воображения, я не мог ее искусственно произвести в себе. Я не мог, как не может всякий живой человек, оторвать глаз от мышей и дракона, когда он раз увидал их.

Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее. Так поступают редкие сильные и последовательные люди. Поняв всю глупость шутки, какая над ними сыграна, и поняв, что блага умерших паче благ живых и что лучше всего не быть, так и поступают и кончают сразу эту глупую шутку, благо есть средства: петля на шею, вода, нож, чтоб им проткнуть сердце, поезда на железных дорогах. И людей из нашего круга, поступающих так, становится все больше и больше. И поступают люди так большею частью в самый лучший период жизни, когда силы души находятся в самом расцвете, а унижающих человеческий разум привычек еще усвоено мало. Я видел, что это самый достойный выход, и хотел поступить так.

Четвертый выход есть выход слабости. Он состоит в том, чтобы, понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее, зная вперед, что ничего из нее выйти не может. Люди этого разбора знают, что смерть лучше жизни, но, не имея сил поступить разумно – поскорее кончить обман и убить себя, чего-то как будто ждут. Это есть выход слабости, ибо если я знаю лучшее и оно в моей власти, почему не отдаться лучшему?.. Я находился в этом разряде.

* * *

Так люди моего разбора четырьмя путями спасаются от ужасного противоречия. Сколько я ни напрягал своего умственного внимания, кроме этих четырех выходов, я не видал еще иного. Один выход: не понимать того, что жизнь есть бессмыслица, суета и зло и что лучше не жить. Я не мог не знать этого и, когда раз узнал, не мог закрыть на это глаза. Другой выход – пользоваться жизнью такою, какая есть, не думая о будущем. И этого не мог сделать. Я, как Сакиа-Муни, не мог ехать на охоту, когда знал, что есть старость, страдания, смерть. Воображение у меня было слишком живо. Кроме того, я не мог радоваться минутной случайности, кинувшей на мгновение наслаждение на мою долю. Третий выход: поняв, что жизнь есть зло и глупость, прекратить, убить себя. Я понял это, но почему-то все еще не убивал себя. Четвертый выход – жить в положении Соломона, Шопенгауэра – знать, что жизнь есть глупая, сыгранная надо мною шутка, и все-таки жить, умываться, одеваться, обедать, говорить и даже книжки писать. Это было для меня отвратительно, мучительно, но я оставался в этом положении.

Теперь я вижу, что если я не убил себя, то причиной тому было смутное сознание несправедливости моих мыслей. Как ни убедителен и несомненен казался мне ход моей мысли и мыслей мудрых, приведших нас к признанию бессмыслицы жизни, во мне оставалось неясное сомнение в истинности исходной точки моего рассуждения.

Оно было такое: Я, мой разум – признали, что жизнь неразумна. Если нет высшего разума (а его нет, и ничто доказать его не может), то разум есть творец жизни для меня. Не было бы разума, не было бы для меня и жизни. Как же этот разум отрицает жизнь, а он сам творец жизни? Или, с другой стороны: если бы не было жизни, не было бы и моего разума, – стало быть, разум есть сын жизни. Жизнь есть все. Разум есть плод жизни, и разум этот отрицает самую жизнь. Я чувствовал, что тут что-то неладно.

Жизнь есть бессмысленное зло, это несомненно, – говорил я себе. – Но я жил, живу еще, и жило и живет все человечество. Как же так? Зачем же оно живет, когда может не жить?

Что ж, я один с Шопенгауэром так умен, что понял бессмысленность и зло жизни?

Рассуждение о суете жизни не так хитро, и его делают давно и все самые простые люди, а жили и живут. Что ж, они-то все живут и никогда и не думают сомневаться в разумности жизни?

Мое знание, подтвержденное мудростью мудрецов, открыло мне, что все на свете – органическое и неорганическое – все необыкновенно умно устроено, только мое одно положение глупо. А эти дураки – огромные массы простых людей – ничего не знают

насчет того, как все органическое и неорганическое устроено на свете, а живут, и им кажется, что жизнь их очень разумно устроена!

И мне приходило в голову: а что как я чего-нибудь еще не знаю? Ведь точно так поступает незнание. Незнание ведь всегда это самое говорит. Когда оно не знает чего-нибудь, оно говорит, что глупо то, чего оно не знает. В самом деле выходит так, что есть человечество целое, которое жило и живет, как будто понимая смысл своей жизни, ибо, не понимая его, оно не могло бы жить, а я говорю, что вся эта жизнь бессмыслица, и не могу жить.

Никто не мешает нам с Шопенгауэром отрицать жизнь. Но тогда убей себя – и не будешь рассуждать. Не нравится тебе жизнь, убей себя. А живешь, не можешь понять смысла жизни, так прекрати ее, а не вертись в этой жизни, рассказывая и расписывая, что ты не понимаешь жизни. Пришел в веселую компанию, всем очень хорошо, все знают, что они делают, а тебе скучно и противно, так уйди.

Ведь в самом деле, что же такое мы, убежденные в необходимости самоубийства и не решающиеся совершить его, как не самые слабые, непоследовательные и, говоря попросту, глупые люди, носящиеся с своею глупостью, как дурак с писаной торбой?

Ведь наша мудрость, как ни несомненно верна она, не дала нам знания смысла нашей жизни. Все же человечество, делающее жизнь, миллионы – не сомневаются в смысле жизни.

В самом деле, с тех давних, давних пор, как есть жизнь, о которой я что-нибудь да знаю, жили люди, зная то рассуждение о тщете жизни, которое мне показало ее бессмыслицу, и все-таки жили, придавая ей какой-то смысл. С тех пор как началась какая-нибудь жизнь людей, у них уже был этот смысл жизни, и они вели эту жизнь, дошедшую до меня. Все, что есть во мне и около меня, все это – плод их знания жизни. Те самые орудия мысли, которыми я обсуждаю эту жизнь и осуждаю ее, все это не мной, а ими сделано. Сам я родился, воспитался, вырос благодаря им. Они выкопали железо, научили рубить лес, приручили коров, лошадей, научили сеять, научили жить вместе, урядили нашу жизнь; они научили меня думать, говорить. И я-то, их произведение, ими вскормленный, вспоенный, ими наученный, их мыслями и словами думающий, доказал им, что они – бессмыслица! «Тут что-то не так, – говорил я себе. – Где-нибудь я ошибся». Но в чем была ошибка, я никак не мог найти.

* * *

Все эти сомнения, которые теперь я в состоянии высказать более или менее связно, тогда я не мог бы высказать. Тогда я только чувствовал, что, как ни логически неизбежны были мои, подтверждаемые величайшими мыслителями, выводы о тщете жизни, в них было что-то неладно. В самом ли рассуждении, в постановке ли вопроса, я не знал; я чувствовал только, что убедительность разумная была совершенная, но что ее было мало. Все эти доводы не могли убедить меня так, чтоб я сделал то, что вытекало из моих рассуждений, т. е. чтоб я убил себя. И я бы сказал неправду, если бы сказал, что я разумом пришел к тому, к чему я пришел, и не убил себя. Разум работал, но работало и еще что-то другое, что я не могу назвать иначе, как сознанием жизни. Работала еще та сила, которая заставляла меня обращать внимание на то, а не на это, и эта-то сила и вывела меня из моего отчаянного положения и совершенно иначе направила разум. Эта сила заставила меня обратить внимание на то, что я с сотнями подобных мне людей не есть все человечество, что жизни человечества я еще не знаю.

Оглядывая тесный кружок сверстных мне людей, я видел только людей, не понимавших вопроса, понимавших и заглушавших вопрос пьянством жизни, понявших и прекращавших жизнь и понявших и по слабости доживавших отчаянную жизнь. И я не видал иных. Мне казалось, что тот тесный кружок ученых, богатых и досужих людей, к которому я принадлежал, составляет все человечество, а что те миллиарды живших и живых, это – так, какие-то скоты – не люди.

Как ни странно, ни невероятно непонятно кажется мне теперь то, как мог я, рассуждая про жизнь, просмотреть окружающую меня со всех сторон жизнь человечества, как я мог до такой степени смешно заблуждаться, чтобы думать, что жизнь моя, Соломонов и Шопенгауэров есть настоящая, нормальная жизнь, а жизнь миллиардов есть не стоящее внимания обстоятельство, как ни странно это мне теперь, я вижу, что это было так. В заблуждении гордости своего ума мне так казалось несомненным, что мы с Соломоном и Шопенгауэром поставили вопрос так

верно и истинно, что другого ничего быть не может, так несомненно казалось, что все эти миллиарды принадлежат к тем, которые еще не дошли до постижения всей глубины вопроса, что я искал смысла своей жизни и ни разу не подумал: «Да какой же смысл придают и придавали своей жизни все миллиарды, жившие и живущие на свете?»

Я долго жил в этом сумасшествии, особенно свойственном, не на словах, но на деле, нам – самым либеральным и ученым людям. Но благодаря ли моей какой-то странной физической любви к настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидеть, что он не так глуп, как мы думаем, или благодаря искренности моего убеждения в том, что я ничего не могу знать, как то, что самое лучшее, что я могу сделать, – это повеситься, я чувал, что если я хочу жить и понимать смысл жизни, то искать этого смысла жизни мне надо не у тех, которые потеряли смысл жизни и хотят убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых людей, которые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромные массы отживших и живущих простых, не ученых и не богатых людей и увидел совершенно другое. Я увидел, что все эти миллиарды живших и живущих людей, все, за редкими исключениями, не подходят к моему делению, что признать их не понимающими вопроса я не могу, потому что они сами ставят его и с необыкновенной ясностью отвечают на него. Признать их эпикурейцами тоже не могу, потому что жизнь их слагается больше из лишений и страданий, чем наслаждений; признать же их неразумно доживающими бессмысленную жизнь могу еще меньше, так как всякий акт их жизни и самая смерть объясняются ими. Убивать же себя они считают величайшим злом. Оказывалось, что у всего человечества есть какое-то не признаваемое и презираемое мною знание смысла жизни. Выходило то, что знание разумное не дает смысла жизни, исключает жизнь; смысл же, придаваемый жизни миллиардами людей, всем человечеством, зиждется на каком-то презренном, ложном знании.

Разумное знание в лице ученых и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, все человечество – признают этот смысл в неразумном знании. И это неразумное знание есть вера, та самая, которую я не мог не откинуть. Это бог 1 и 3, это творение в 6 дней, дьяволы и ангелы и все то, чего я не могу принять, пока я не сошел с ума.

Положение мое было ужасно. Я знал, что я ничего не найду на пути разумного знания, кроме отрицания жизни, а там в вере – ничего, кроме отрицания разума, которое еще невозможнее, чем отрицание жизни. По разумному знанию выходило так, что жизнь есть зло, и люди знают это, от людей зависит не жить, а они жили и живут, и сам я жил, хотя и знал уже давно то, что жизнь бессмысленна и есть зло. По вере выходило, что для того, чтобы понять смысл жизни, я должен отречься от разума, того самого, для которого нужен смысл.

* * *

Выходило противоречие, из которого было только два выхода: или то, что я называл разумным, не было так разумно, как я думал; или то, что мне казалось неразумно, не было так неразумно, как я думал. И я стал проверять ход рассуждений моего разумного знания.

Проверяя ход рассуждений разумного знания, я нашел его совершенно правильным. Вывод о том, что жизнь есть ничто, был неизбежен; но я увидел ошибку. Ошибка была в том, что я мыслил несоответственно поставленному мною вопросу. Вопрос был тот: зачем мне жить, т. е. что выйдет настоящего, не уничтожающегося из моей призрачной, уничтожающейся жизни, какой смысл имеет мое конечное существование в этом бесконечном мире? И чтоб ответить на этот вопрос, я изучал жизнь.

Решения всех возможных вопросов жизни, очевидно, не могли удовлетворять меня, потому что мой вопрос, как он ни прост кажется сначала, включает в себя требование объяснения конечного бесконечным и наоборот.

Я спрашивал: какое вневременное, внепричинное, внепространственное значение моей жизни? А отвечал я на вопрос: какое временное, причинное и пространственное значение моей жизни? Вышло то, что после долгого труда мысли я ответил: никакого.

В рассуждениях моих я постоянно приравнивал, да и не мог поступить иначе, конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, а потому у меня и выходило, что и должно было выходить: сила есть сила, вещество есть вещество, воля есть воля, бесконечность есть бесконечность, ничто есть ничто, и дальше ничего не

могло выйти.

Было что-то подобное тому, что бывает в математике, когда, думая решать уравнение, решаешь тождество. Ход размышления правилен, но в результате получается ответ: $a = a$, или $x = x$, или $0 = 0$. То же самое случилось и с моим рассуждением по отношению к вопросу о значении моей жизни. Ответы, даваемые всей наукой на этот вопрос, – только тождества.

И действительно, строго разумное знание, то знание, которое, как это сделал Декарт, начинает с полного сомнения во всем, откидывает всякое допущенное на веру знание и строит все вновь на законах разума и опыта – и не может дать иного ответа на вопрос жизни, как тот самый, который я и получил, – ответ неопределенный. Мне только показалось сначала, что знание дало положительный ответ – ответ Шопенгауэра: жизнь не имеет смысла, она есть зло. Но, разобрав дело, я понял, что ответ не положительный, что мое чувство только выразило его так. Ответ же строго выраженный, как он выражен и у браминов, и у Соломона, и у Шопенгауэра, есть только ответ неопределенный, или тождество: $0 = 0$, жизнь, представляющаяся мне ничем, есть ничто. Так что знание философское ничего не отрицает, а только отвечает, что вопрос этот не может быть решен им, что для него решение остается неопределенным.

Поняв это, я понял, что и нельзя было искать в разумном знании ответа на мой вопрос и что ответ, даваемый разумным знанием, есть только указание на то, что ответ может быть получен только при иной постановке вопроса, только тогда, когда в рассуждение будет введен вопрос отношения конечного к бесконечному. Я понял и то, что, как ни неразумны и уродливы ответы, даваемые верою, они имеют то преимущество, что вводят в каждый ответ отношение конечного к бесконечному, без которого не может быть ответа. Как я ни поставлю вопрос: как мне жить? – ответ: по закону божию. Что выйдет настоящего из моей жизни? – Вечные мучения или вечное блаженство. Какой смысл, не уничтожаемый смертью? – Соединение с бесконечным богом, рай.

Так что, кроме разумного знания, которое мне прежде представлялось единственным, я был неизбежно приведен к признанию того, что у всего живущего человечества есть еще какое-то другое знание, неразумное – вера, дающая возможность жить. Вся неразумность веры оставалась для меня та же, как и прежде, но я не мог не признать того, что она одна дает человечеству ответы на вопросы жизни и, вследствие того, возможность жить.

Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь бессмысленна, жизнь моя остановилась, и я хотел уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на все человечество, я увидел, что люди живут и утверждают, что знают смысл жизни. На себя оглянувшись: я жил, пока знал смысл жизни. Как другим людям, так и мне смысл жизни и возможность жизни давала вера.

* * *

Оглянувшись дальше на людей других стран, на современных мне и на отживших, я увидел одно и то же. Где жизнь, там вера, с тех пор, как есть человечество, дает возможность жить, и главные черты веры везде и всегда одни и те же.

Какие бы и кому бы ни давала ответы какая бы то ни была вера, всякий ответ веры конечному существованию человека придает смысл бесконечного, – смысл, не уничтожаемый страданиями, лишениями и смертью. Значит – в одной вере можно найти смысл и возможность жизни. И я понял, что вера в самом существенном своем значении не есть только «обличение вещей невидимых» и т. д., не есть откровение (это есть только описание одного из признаков веры), не есть только отношение человека к богу (надо определить веру, а потом бога, а не через бога определять веру), не есть только согласие с тем, что сказали человеку, как чаще всего понимается вера, – вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь да верит. Если б он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил. Если он не видит и не понижает призрачности конечного, он верит в это конечное; если он понимает призрачность конечного, он должен верить в бесконечное. Без веры нельзя жить.

И я вспомнил весь ход своей внутренней работы и ужаснулся. Теперь мне было ясно, что для того, чтобы человек мог жить, ему нужно или не видеть бесконечного, или иметь такое объяснение смысла жизни, при втором конечное приравнялось бы

бесконечному. Такое объяснение у меня было, но оно мне было ненужно, пока я верил в конечное, и я стал разумом проверять его. И перед светом разума все прежнее объяснение разлетелось прахом. Но пришло время, когда я перестал верить в конечное. И тогда я стал на разумных основаниях строить из того, что я знал, такое объяснение, которое дало бы смысл жизни; но ничего не построилось. Вместе с лучшими умами человечества я пришел к тому, что $0 = 0$, и очень удивился, что получил такое решение, тогда как ничего иного и не могло выйти.

Что я делал, когда я искал ответа в знаниях опытных? Я хотел узнать, зачем я живу, и для этого изучал все то, что вне меня. Ясно, что я мог узнать многое, но ничего из того, что мне нужно.

Что я делал, когда я искал ответа в знаниях философских? Я изучал мысли тех существ, которые находились в том же самом положении, как и я, которые не имели ответа на вопрос: зачем я живу. Ясно, что я ничего и не мог узнать иного, как то, что я сам знал, что ничего знать нельзя.

Что такое я? – часть бесконечного. Ведь уже в этих двух словах лежит вся задача. Неужели этот вопрос только со вчерашнего дня сделало себе человечество? И неужели никто до меня не сделал себе этого вопроса – вопроса такого простого, просящегося на язык каждому умному дитяти?

Ведь этот вопрос был поставлен с тех пор, как люди есть; и с тех пор, как люди есть, понятно, что для решения этого вопроса одинаково недостаточно приравнять конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, и с тех пор, как люди есть, отысканы отношения конечного к бесконечному и выражены.

Все эти понятия, при которых приравнивается конечное к бесконечному и получается смысл жизни, понятия бога, свободы, добра, мы подвергаем логическому исследованию. И эти понятия не выдерживают критики разума.

Если бы не было так ужасно, было бы смешно, с какой гордостью и самодовольством мы, как дети, разбираем часы, вынимаем пружину, делаем из нее игрушку и потом удивляемся, что часы перестают идти.

Нужно и дорого разрешение противоречия конечного с бесконечным и ответ на вопрос жизни такой, при котором возможна жизнь. И это единственное разрешение, которое мы находим везде, всегда и у всех народов, – разрешение, вынесенное из времени, в котором теряется для нас жизнь людей, разрешение столь трудное, что мы ничего подобного сделать не можем, – это-то разрешение мы легкомысленно разрушаем с тем, чтобы поставить опять тот вопрос, который присущ всякому и на который у нас нет ответа.

Понятия бесконечного бога, божественности души, связи дел людских с богом, понятия нравственного добра и зла – суть понятия, выработанные в скрывающейся от наших глаз исторической дали жизни человечества, суть те понятия, без которых не было бы жизни и меня самого, а я, откинув всю эту работу всего человечества, хочу все сам один сделать по-новому и по-своему.

Я не так думал тогда, но зародыши этих мыслей уже были во мне. Я понимал, 1) что мое положение с Шопенгауэром и Соломоном, несмотря на нашу мудрость, глупо: мы понимаем, что жизнь есть зло, и все-таки живем. Это явно глупо, потому что, если жизнь глупа, – а я так люблю все разумное, – то надо уничтожить жизнь, и некому будет отрицать ее. 2) Я понимал, что все наши рассуждения вертятся в заколдованном круге, как колесо, не цепляющееся за шестерню. Сколько бы и как бы хорошо мы ни рассуждали, мы не можем получить ответа на вопрос, и всегда будет $0 = 0$, и что потому путь наш, вероятно, ошибочен. 3) Я начинал понимать, что в ответах, даваемых верою, хранится глубочайшая мудрость человечества, и что я не имел права отрицать их на основании разума, и что, главное, ответы эти одни отвечают на вопрос жизни.

* * *

Я понимал это, но от этого мне было не легче.

Я готов был принять теперь всякую веру, только бы она не требовала от меня прямого отрицания разума, которое было бы ложью. И я изучал и буддизм, и магометанство по книгам, и более всего христианство и по книгам, и по живым людям, окружавшим меня.

Я, естественно, обратился прежде всего к верующим людям моего круга, к людям ученым, к православным богословам, к монахам-старцам, к православным богословам нового оттенка и даже к так называемым новым христианам, исповедующим спасение верою в искупление.

И я ухватывался за этих верующих и допрашивал их о том, как они верят и в чем видят смысл жизни. Несмотря на то, что я делал всевозможные уступки, избегал всяких споров, я не мог принять веры этих людей, – я видел, что то, что выдавали они за веру, было не объяснение, а затемнение смысла жизни, и что сами они утверждали свою веру не для того, чтоб ответить на тот вопрос жизни, который привел меня к вере, а для каких-то других, чуждых мне целей.

Помню мучительное чувство ужаса возвращения к прежнему отчаянию после надежды, которое я испытывал много и много раз в сношениях с этими людьми. Чем больше, подробнее они излагали мне свои вероучения, тем яснее я видел их заблуждение и потерю моей надежды найти в их вере объяснение смысла жизни.

Не то, что в изложении своего вероучения они примешивали к всегда бывшим мне близкими христианским истинам еще много ненужных и неразумных вещей, – не это оттолкнуло меня; но меня оттолкнуло то, что жизнь этих людей была та же, как и моя, с тою только разницей, что она не соответствовала тем самым началам, которые они излагали в своем вероучении. Я ясно чувствовал, что они обманывают себя и что у них, так же как у меня, нет другого смысла жизни, как того, чтобы жить, пока живется, и брать все, что может взять рука. Я видел это по тому, что если б у них был тот смысл, при котором уничтожается страх лишений, страданий и смерти, то они бы не боялись их. А они, эти верующие нашего круга, точно так же, как и я, жили в избытке, старались увеличить или сохранить его, боялись лишений, страданий, смерти, и так же, как я и все мы, неверующие, жили, удовлетворяя похотям, жили так же дурно, если не хуже, чем неверующие.

Никакие рассуждения не могли убедить меня в истинности их веры. Только действия такие, которые бы показывали, что у них есть смысл жизни такой, при котором страшные мне нищета, болезнь, смерть не страшны им, могли бы убедить меня. А таких действий я не видел между этими разнообразными верующими нашего круга. Я видел такие действия, напротив, между людьми нашего круга самыми неверующими, но никогда между так называемыми верующими нашего круга.

И я понял, что вера этих людей – не та вера, которой я искал, что их вера не есть вера, а только одно из эпикурейских утешений в жизни. Я понял, что эта вера годится может быть, хоть не для утешения, а для некоторого рассеяния раскаивающемуся Соломону на смертном одре, но она не может годиться для огромного большинства человечества, которое призвано не потешаться, пользуясь трудами других, а творить жизнь. Для того чтобы все человечество могло жить, для того чтоб оно продолжало жизнь, придавая ей смысл, у них, у этих миллиардов, должно быть другое, настоящее знание веры. Ведь не то, что мы с Соломоном и Шопенгауэром не убили себя, не это убедило меня в существовании веры, а то, что жили эти миллиарды и живут и нас с Соломонами вынесли на своих волнах жизни.

* * *

Я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, со странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вероучение этих людей из народа было тоже христианское, как вероучение мнимо-верующих из нашего круга. К истинам христианским примешано было тоже много суеверий, но разница была в том, что суеверия верующих нашего круга были совсем не нужны им, не вязались с их жизнью, были только своего рода эпикурейскою потехой; суеверия же верующих из трудового народа были до такой степени связаны с их жизнью, что нельзя было себе представить их жизни без этих суеверий, – они были необходимым условием этой жизни. Вся жизнь верующих нашего круга была противоречием их вере, а вся жизнь людей верующих и трудящихся была подтверждением того смысла жизни, который давало знание веры. И я стал вглядываться в жизнь и верования этих людей, и чем больше я вглядывался, тем больше убеждался, что у них есть настоящая вера, что вера их необходима для них и одна дает им смысл и возможность жизни.

В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где возможна жизнь без веры и где из тысячи едва ли один признает себя верующим, в их среде едва ли один неверующий на тысячи. В противоположность того, что я видел в нашем кругу, где вся жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся

жизнь этих людей проходила в тяжелом труде и они были менее недовольны жизнью, чем богатые. В противоположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоумения, протравления, а со спокойной и твердою уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это – добро.

В противоположность тому, что чем мы умнее, тем менее понимаем смысл жизни и видим какую-то злую насмешку в том, что мы страдаем и умираем, эти люди живут, страдают и приближаются к смерти со спокойствием, чаще же всего с радостью. В противоположность тому, что спокойная смерть, смерть без ужаса и отчаяния, есть самое редкое исключение в нашем круге, смерть беспокойная, непокорная и нерадостная есть самое редкое исключение среди народа.

И таких людей, лишенных всего того, что для нас с Соломоном есть единственное благо жизни, и испытывающих при этом величайшее счастье, – многое множество. Я оглянулся шире вокруг себя. Я вгляделся в жизнь прошедших и современных огромных масс людей. И я видел таких, понявших смысл жизни, умеющих жить и умирать, не двух, трех, десять, а сотни, тысячи, миллионы. И все они, бесконечно различные по своему нраву, уму, образованию, положению, все одинаково и совершенно противоположно моему неведению знали смысл жизни и смерти, спокойно трудились, переносили лишения и страдания, жили и умирали, видя в этом не суету, а добро.

И я полюбил этих людей. Чем больше я вникал в их жизнь живых людей и жизнь таких же умерших людей, про которых читал и слышал, тем больше я любил их, и тем легче мне самому становилось жить. Я жил так года два, и со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга – богатых, ученых – не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусства – все это предстало мне как баловство. Я понял, что искать смысл в этом нельзя. Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом. И я понял, что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его.

* * *

Вспомнив то, как те же самые верования отталкивали меня и казались бессмысленными, когда их исповедовали люди, жившие противно этим верованиям, и как эти же самые верования привлекли меня и показались мне разумными, когда я видел, что люди живут ими, – я понял, почему я тогда откинул эти верования и почему нашел их бессмысленными, а теперь принял их и нашел полными смысла.

Я понял, что я заблудился и как я заблудился. Я заблудился не столько оттого, что неправильно мыслил, сколько оттого, что я жил дурно. Я понял, что истину закрыло от меня не столько заблуждение моей мысли, сколько самая жизнь моя в тех исключительных условиях эпикурейства, удовлетворения похотям, в которых я провел ее. Я понял, что мой вопрос о том, что есть моя жизнь, и ответ: зло, – был совершенно правилен. Неправильно было только то, что ответ, относящийся только ко мне, я отнес к жизни вообще: я спросил себя, что такое моя жизнь, и получил ответ: зло и бессмыслица. И точно, моя жизнь – жизнь потворства похоти – была бессмысленна и зла, и потому ответ: «жизнь зла и бессмысленна» – относился только к моей жизни, а не к жизни людской вообще.

Я понял ту истину, впоследствии найденную мною в Евангелии, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Я понял, что для того, чтобы понять смысл жизни, надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и зла, а потом уже – разум для того, чтобы понять ее.

Я понял, почему я так долго ходил около такой очевидной истины, и что если думать и говорить о жизни человечества, то надо говорить и думать о жизни человечества, а не о жизни нескольких паразитов жизни. Истина эта была всегда истина, как $2 \times 2 = 4$, но я не признавал ее, потому, что, признав $2 \times 2 = 4$, я бы должен был признать то, что я нехорош. А чувствовать себя хорошим для меня было важнее и обязательнее, чем $2 \times 2 = 4$. Я полюбил хороших людей, возненавидел себя, и я признал истину. Теперь мне все ясно стало.

Что, если бы палач, проводящий жизнь в попытках отсечении голов, или мертвый пьяница, или сумасшедший, засевавший на всю жизнь в темную комнату, огадивший эту

свою комнату и воображающий, что он погибнет, если выйдет из нее, – что, если бы они спросили себя: что такое жизнь? Очевидно, они не могли бы получить на вопрос: что такое жизнь, – другого ответа, как тот, что есть величайшее зло; и ответ сумасшедшего был бы совершенно правилен, но для него только. Что, как я такой же сумасшедший? Что, как мы все, богатые, ученые люди, такие же сумасшедшие?

И я понял, что мы действительно такие сумасшедшие. Я-то уж наверное был такой сумасшедший. И в самом деле, птица существует так, что она должна летать, собирать пищу, строить гнезда, и когда я вижу, что птица делает это, я радуюсь ее радостью. Коза, заяц, волк существуют так, что они должны кормиться, множиться, кормить свои семьи, и когда они делают это, у меня есть твердое сознание, что они счастливы и жизнь их разумна. Что же должен делать человек? Он должен точно так же добывать жизнь, как и животные, но с тою только разницей, что он погибнет, добывая ее один, – ему надо добывать ее не для себя, а для всех. И когда он делает это, у меня есть твердое сознание, что он счастлив и жизнь его разумна. Что же я делал во всю мою тридцатилетнюю сознательную жизнь? Я не только не добывал жизни для всех, я и для себя не добывал ее. Я жил паразитом и, спросив себя, зачем я живу, получил ответ: низачем. Если смысл человеческой жизни в том, чтобы добывать ее, то как же я, тридцать лет занимавшийся тем, чтобы не добывать жизнь, а губить ее в себе и других, мог получить другой ответ, как не тот, что жизнь моя есть бессмыслица и зло? Она и была бессмыслица и зло.

Жизнь мира совершается по чьей-то воле, – кто-то эту жизнь всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтоб иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее – делать то, чего от нас хотят. А если я не буду делать того, чего хотят от меня, то и не пойму никогда и того, чего хотят от меня, а уж тем менее – чего хотят от всех нас и от всего мира.

Если голого, голодного нищего взяли с перекрестка, привели в крытое место прекрасного заведения, накормили, напоили и заставили двигать вверх и вниз какую-то палку, то, очевидно, что прежде, чем разбирать, зачем его взяли, зачем двигать палкой, разумно ли устройство всего заведения, нищему прежде всего нужно двигать палкой. Если он будет двигать палкой, тогда он поймет, что палка эта движет насос, что насос накачивает воду, что вода идет по грядкам; тогда его выведут из крытого колодца и поставят на другое дело, и он будет собирать плоды и войдет в радость господина своего и, переходя от низшего дела к высшему, все дальше и дальше понимая устройство всего заведения и участвуя в нем, никогда и не подумает спрашивать, зачем он здесь, и уж никак не станет упрекать хозяина.

Так и не упрекают хозяина те, которые делают его волю, люди простые, рабочие, неученые, те, которых мы считаем скотами; а мы вот, мудрецы, есть едим все хозяйское, а делать не делаем того, чего от нас хочет хозяин, и вместо того чтобы делать, сели в кружок и рассуждаем: «Зачем это двигать палкой? Ведь это глупо». Вот и додумались. Додумались до того, что хозяин глуп или его нет, а мы умны, только чувствуем, что никуда не годимся, и надо нам как-нибудь самим от себя избавиться.

* * *

Сознание ошибки разумного знания помогло мне освободиться от соблазна праздного умствования. Убеждение в том, что знание истины можно найти только жизнью, побудило меня усомниться в правильности моей жизни; но спасло меня только то, что я успел вырваться из своей исключительности и увидеть жизнь настоящую простого рабочего народа и понять, что это только есть настоящая жизнь. Я понял, что, если я хочу понять жизнь и смысл ее, мне надо жить не жизнью паразита, а настоящей жизнью и, приняв тот смысл, который придает ей настоящее человечество, слившись с этой жизнью, проверить его.

В это же время со мною случилось следующее. Во все продолжение этого года, когда я почти всякую минуту спрашивал себя: не кончить ли петлей или пулей, – во все это время, рядом с теми ходами мыслей и наблюдений, о которых я говорил, сердце мое томилось мучительным чувством. Чувство это я не могу назвать иначе как исканием бога.

Я говорю, что это искание бога было не рассуждение, но чувство, потому что это искание вытекало не из моего хода мыслей, – оно было даже прямо противоположно им, – но оно вытекало из сердца. Это было чувство страха, сиротливости,

Несмотря на то, что я вполне был убежден в невозможности доказательства бытия божия (Кант доказал мне, и я вполне понял его, что доказать этого нельзя), я все-таки искал бога, надеялся на то, что я найду его, и обращался по старой привычке с мольбой к тому, чего я искал и не находил. То я проверял в уме доводы Канта и Шопенгауэра о невозможности доказательства бытия божия, то я начинал опровергать их. Причина, говорил я себе, не есть такая же категория мышления, как пространство и время. Если я есмь, то есть на то причина, и причина причин. И эта причина всего есть то, что называют богом; и я останавливался на этой мысли и старался всем существом сознать присутствие этой причины. И как только я сознавал, что есть сила, во власти которой я нахожусь, так тотчас же я чувствовал возможность жизни. Но я спрашивал себя: «Что же такое эта причина, эта сила? Как мне думать о ней, как мне относиться к тому, что я называю богом?» И только знакомые мне ответы приходили мне в голову: «Он – творец, промыслитель». Ответы эти не удовлетворяли меня, и я чувствовал, что пропадает во мне то, что мне нужно для жизни. Я приходил в ужас и начинал молиться тому, которого я искал, о том, чтоб он помог мне. И чем больше я молился, тем очевиднее мне было, что он не слышит меня и что нет никого такого, к которому бы можно было обратиться. И с отчаянием в сердце о том, что нет и нет бога, я говорил: «Господи, помилуй, спаси меня! Господи, научи меня, бог мой!» Но никто не миловал меня, и я чувствовал что жизнь моя останавливается.

Но опять и опять с разных других сторон я приходил к тому же признанию того, что не мог же я без всякого повода, причины и смысла явиться на свет, что не могу я быть таким выпавшим из гнезда птенцом, каким я себя чувствовал. Пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пишу в высокой траве, но я пишу оттого, что знаю что меня в себе выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что любя родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? – Опять бог.

«Он знает и видит мои искания, отчаяние, борьбу. Он есть», – говорил я себе. И стоило мне на мгновение признать это, как тотчас же жизнь поднималась во мне, и я чувствовал и возможность и радость бытия. Но опять от признания существования бога я переходил к отысканию отношения к нему, и опять мне представлялся тот бог, наш творец, в трех лицах, приславший сына-искупителя.

И опять этот отдельный от мира, от меня бог, как льдина, таял, таял на моих глазах, и опять ничего не оставалось, и опять иссыхал источник жизни, я приходил в отчаяние и чувствовал, что мне нечего сделать другого, как убить себя. И, что было хуже всего, я чувствовал, что и этого я не могу сделать.

Не два, не три раза, а десятки, сотни раз приходил я в эти положения – то радости и оживления, то опять отчаяния и сознания невозможности жизни.

* * *

Помню, это было раннею весной, я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я прислушивался и думал все об одном, как я постоянно думал все об одном и том же эти последние три года. Я опять искал бога.

«Хорошо, нет никакого бога, – говорил я себе, – нет такого, который бы был не мое представление, но действительность такая же, как вся моя жизнь; нет такого. И ничто, никакие чудеса не могут доказать такого, потому что чудеса будут мое представление, да еще неразумное».

«Но понятие мое о боге, о том, которого я ищу? – спросил я себя. – Понятие-то это откуда взялось?» И опять при этой мысли во мне поднялись радостные волны жизни. Все вокруг меня ожило, получило смысл. Но радость моя продолжалась недолго. Ум продолжал свою работу. «Понятие бога – не бог, – сказал я себе. – Понятие есть то, что происходит во мне, понятие о боге есть то, что я могу возбудить и могу не возбудить в себе. Это не то, чего я ищу. Я ищу того, без чего бы не могла быть жизнь». И опять все стало умирать вокруг меня и во мне, и мне опять захотелось убить себя.

Но тут я оглянулся на самого себя, на то, что происходило во мне; и я вспомнил все эти сотни раз происходившие во мне умирания и оживления. Я вспомнил, что я жил только тогда, когда верил в бога. Как было прежде, так и теперь, сказал я себе: стоит мне знать о боге, и я живу; стоит забыть, не верить в него, и я

умираю. Что же кое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование бога, ведь я бы уж давно убил себя, если б у меня не было смутной надежды найти его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и ищу его. Так чего же я ищу еще? – вскрикнул во мне голос. – Так вот он. Он – то, без чего нельзя жить. Знать бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь.

«Живи, отыскивая бога, и тогда не будет жизни без бога». И сильнее чем когда-нибудь все осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал меня.

И я спасся от самоубийства. Когда и как совершился во мне этот переворот, я не мог бы сказать. Как незаметно, постепенно уничтожалась во мне сила жизни, и я пришел к невозможности жить, к остановке жизни, к потребности самоубийства, так же постепенно, незаметно возвратилась ко мне эта сила жизни. И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая, – та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни.

Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому и юношескому Я вернулся к вере в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т. е. жить согласнее с этой волей; я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что в скрывающейся от меня дали выработало для руководства своего все человечество, т. е. я вернулся к вере в бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни. Только та и была! разница, что тогда все это было принято бессознательно, теперь же я знал, что без этого я не могу жить.

* * *

Со мной случилось как будто вот что: я не помню, когда меня посадили в лодку, оттолкнули от какого-то неизвестного мне берега, указали направление к другому берегу, дали в неопытные руки весла и оставили одного. Я работал, как умел, веслами и плыл; но чем дальше я выплывал на середину, тем быстрее становилось течение, относившее меня прочь от цели, и тем чаще и чаще мне встречались пловцы, такие же, как я, уносимые течением.

Были одинокие пловцы, продолжавшие грести; были пловцы, побросавшие весла; были большие лодки, огромные корабли, полные народом; одни бились с течением, другие отдавались ему. И чем дальше я плыл, тем больше, глядя на направление вниз, по потоку всех плывущих, я забывал данное мне направление.

На самой середине потока, в тесноте лодок и кораблей, несущихся вниз, я уже совсем потерял направление и бросил весла. Со всех сторон с весельем и ликованием вокруг меня неслись на парусах и на веслах пловцы вниз по течению, уверяя меня и друг друга, что и не может быть другого направления. И я поверил им и поплыл с ними. И меня далеко отнесло, так далеко, что я услышал шум порогов, в которых я должен был разбиться, и увидел лодки, разбившиеся в них. И я опомнился. Долго я не мог понять, что со мной случилось. Я видел перед собой одну погибель, к которой я бежал и которой боялся, нигде не видел спасения и не знал, что мне делать. Но, оглянувшись назад, я увидел бесчисленные лодки, которые, не переставая, упорно перебивали течение, вспомнил о берегу, о веслах и направлении и стал выгребаться назад вверх по течению и к берегу.

Берег – это был бог, направление – это было предание, весла – это была данная мне свобода выгрести к берегу – соединиться с богом. И так, сила жизни возобновилась во мне, и я опять начал жить.

* * *

Я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей. Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ, и я обратился к нему и к тому смыслу, который он придает жизни.

Смысл этот, если можно его выразить, был следующий. Всякий человек произошел на этот свет по воле бога. И бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в жизни – спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно

отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым. Смысл этот народ черпает из всего вероучения, переданного и передаваемого ему пастырями и преданием, живущим в народе и выражающимся в легендах, пословицах, рассказах. Смысл этот был мне ясен и близок моему сердцу. Но с этим смыслом народной веры неразрывно связано у нашего не раскольничьего народа, среди которого я жил, много такого, что отталкивало меня и представлялось необъяснимым: таинства, церковные службы, посты, поклонение мощам и иконам. Отделить одно от другого народ не может, не мог и я.

Как ни странно мне было многое из того, что входило в веру народа, я принял все, ходил к службам, становился утром и вечером на молитву, постился, говел, и первое время разум мой не противился ничему. То самое, что прежде казалось мне невозможным, теперь не возбуждало во мне противления.

Отношение мое к вере теперь и тогда было совершенно различное. Прежде сама жизнь казалась мне исполненной смысла, и вера представлялась произвольным утверждением каких-то совершенно ненужных мне, неразумных и не связанных с жизнью положений. Я спросил себя тогда, какой смысл имеют эти положения, и, убедившись, что они не имеют его, откинул их. Теперь же, напротив, я твердо знал, что жизнь моя не имеет и не может иметь никакого смысла, и положения веры не только не представлялись мне ненужными, но я несомненным опытом был приведен к убеждению, что только эти положения веры дают смысл жизни. Прежде я смотрел на них как на совершенно ненужную тарабарскую грамоту, теперь же, если я не понимал их, то знал, что в них смысл, и говорил себе, что надо учиться понимать их.

* * *

Я делал следующее рассуждение. Я говорил себе: знание веры вытекает, как и все человечество с его разумом, из таинственного начала. Это начало есть бог, начало и тела человеческого, и его разума. Как преемственно от бога дошло до меня мое тело, так дошли до меня мой разум и мое постигновение жизни, и потому все те ступени развития этого постигновения жизни не могут быть ложны. Все то, во что истинно верят люди, должно быть истина; она может быть различно выражаема, но ложью она не может быть, и потому если она мне представляется ложью, то это значит только то, что я не понимаю ее.

Кроме того, я говорил себе: сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью. Естественно, что для того, чтобы вера могла отвечать на вопрос умирающего в роскоши царя, замученного работой старика раба, несмышленного ребенка, мудрого старца, полоумной старухи, молодой счастливой женщины, мятущегося страстями юноши, всех людей при самых разнообразных условиях жизни и образования, – естественно, если есть один ответ, отвечающий на вечный один вопрос жизни: «зачем я живу, что выйдет из моей жизни?» – то ответ этот, хотя единый по существу своему, должен быть бесконечно разнообразен в своих проявлениях; и чем единее, чем истиннее, глубже этот ответ, тем, естественно, страннее и уродливее он должен являться в своих попытках выражения, сообразно образованию и положению каждого. Но рассуждения эти, оправдывающие для меня странность обрядовой стороны веры, были все-таки недостаточны для того, чтобы я сам, в том единственном для меня деле жизни, в вере, позволил бы себе делать поступки, в которых бы я сомневался. Я желал всеми силами души быть в состоянии слиться с народом, исполняя обрядовую сторону его веры; но я не мог этого сделать. Я чувствовал, что я лгал бы перед собой, насмеялся бы над тем, что для меня свято, если бы я делал это. Но тут мне на помощь явились новые, наши русские богословские сочинения.

По объяснению этих богословов основной догмат веры есть непогрешимая церковь. Из признания этого догмата вытекает, как необходимое последствие, истинность всего исповедуемого церковью. Церковь, как собрание верующих, соединенных любовью и потому имеющих истинное знание, сделалась основой моей веры. Я говорил себе, что божеская истина не может быть доступна одному человеку, она открывается только всей совокупности людей, соединенных любовью. Для того чтобы постигнуть истину, надо не разделяться; а для того чтобы не разделяться, надо любить и примиряться с тем, с чем не согласен. Истина откроется любви, и потому, если ты не подчиняешься обрядам церкви, ты нарушаешь любовь; а нарушая любовь, ты лишаешься возможности познать истину.

Я не видал тогда софизма, находящегося в этом рассуждении. Я не видал тогда того, что единение в любви может дать величайшую любовь, но никак не богословскую истину, выраженную определенными словами в Никейском символе, не

видал и того, что любовь никак не может сделать известное выражение истины обязательным для единения. Я не видал тогда ошибки этого рассуждения и благодаря ему получил возможность принять и исполнять все обряды православной церкви, не понимая большую часть их. Я старался тогда всеми силами души избегать всяких рассуждений, противоречий и пытался объяснить, сколько возможно разумно, те положения церковные, с которыми я сталкивался.

Исполняя обряды церкви, я смирял свой разум и подчинял себя тому преданию, которое имело все человечество. Я соединялся с предками моими, с любимыми мною – отцом, матерью, дедами, бабками. Они и все прежние верили и жили, и меня произвели. Я соединялся и со всеми миллионами уважаемых мною людей из народа.

Кроме того, самые действия эти не имели в себе ничего дурного (дурным я считал потворство похотям). Вставая рано к церковной службе, я знал, что делал хорошо уже только потому, что для смирения своей гордости ума, для сближения с моими предками и современниками, для того чтобы, во имя искания смысла жизни, я жертвовал своим телесным спокойствием. То же было при говении, при ежедневном чтении молитв с поклонами, то же при соблюдении всех постов.

Как ни ничтожны были эти жертвы, это были жертвы во имя хорошего. Я говел, постился, соблюдал временные молитвы дома и в церкви. В слушании служб церковных я вникал в каждое слово и придавал им смысл, когда мог. В обедне самые важные слова для меня были: «возлюбим друг друга да единомыслием...» Дальнейшие слова: «исповедуем отца и сына и святого духа» – я пропускал, потому что не мог понять их.

* * *

Мне так необходимо было тогда верить, чтобы жить, что я бессознательно скрывал от себя противоречия и неясности вероучения. Но это осмысливание обрядов имело предел. Если ектеня все яснее и яснее становилась для меня в главных своих словах, если я объяснял себе кое-как слова: «пресвятую владычицу нашу богородицу и всех святых помянувши, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу-богу предадим», – если я объяснял частое повторение молитв о царе и его родных тем, что они более подлежат искушению, чем другие, и потому более требуют молитв, то молитвы о покорении под ножи врага и супостата, если я их объяснял тем, что враг есть зло, – молитвы эти и другие, как херувимская и все таинство проскомидии или «взбранной воеводе» и т. п., почти две трети всех служб или вовсе не имели объяснений, или я чувствовал, что я, подводя им объяснения, лгу и тем совсем разрушаю свое отношение к богу, теряя совершенно всякую возможность веры.

То же я испытывал при праздновании главных праздников.

Помнить день субботний, т. е. посвятить один день на обращение к богу, мне было понятно. Но главный праздник был воспоминание о событии воскресения, действительность которого я не мог себе представить и понять. И этим именем воскресенья назывался еженедельно празднуемый день. И в эти дни совершалось таинство евхаристии, которое было мне совершенно непонятно. Остальные все двенадцать праздников, кроме рождества, были воспоминания о чудесах, о том, о чем я старался не думать, чтобы не отрицать: вознесенье, пятидесятница, богоявление, покров и т. д. При праздновании этих праздников, чувствуя, что приписывается важность тому самому, что для меня составляет самую обратную важность, я или придумывал успокоивавшие меня объяснения, или закрывал глаза, чтобы не видеть того, что соблазняет меня.

Сильнее всего это происходило со мною при участии в самых обычных таинствах, считаемых самыми важными: крещении и причастии. Тут не только я сталкивался с не то что непонятными, но вполне понятными действиями: действия эти казались мне соблазнительными, и я был поставлен в дилемму – или лгать, или отбросить.

Никогда не забуду мучительного чувства, испытанного мною в тот день, когда я причащался в первый раз после многих лет. Службы, исповедь, правила – все это было мне понятно и производило во мне радостное сознание того, что смысл жизни открывается мне. Самое причастие я объяснял себе как действие, совершаемое в воспоминание Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа. Если это объяснение и было искусственно, то я не замечал его искусственности. Мне так радостно было, унижаясь и смиряясь перед духовником, простым робким священником, выворачивать всю грязь своей души, каюсь в своих пороках, так радостно было сливаться мыслями со стремлениями отцов, писавших

молитвы правил, так радостно было единение со всеми веровавшими и верующими, что я и не чувствовал ответственности моего объяснения. Но когда я подошел к царским дверям и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резнуло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера.

Но я теперь позволяю себе говорить, что это было жестокое требование, тогда же я и не подумал этого, мне только было невыразимо больно. Я уже не был в том положении, в каком я был в молодости, думая, что все в жизни ясно; я пришел ведь к вере потому, что, помимо веры, я ничего, наверное ничего, не нашел, кроме погибели, поэтому откидывать эту веру нельзя было, и я покорился. И я нашел в своей душе чувство, которое помогло мне перенести это. Это было чувство самоунижения и смирения. Я смирился, проглотил эту кровь и тело без кощунственного чувства, с желанием поверить, но удар уже был нанесен. И, зная вперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз.

Я продолжал точно так же исполнять обряды церкви и все еще верил, что в том вероучении, которому я следовал, была истина, и со мною происходило то, что теперь мне ясно, но тогда казалось странным.

Слушал я разговор безграмотного мужика-странника о боге, о вере, о жизни, о спасении, и знание веры открылось мне. Сближался я с народом, слушая его суждения о жизни, о вере, и я все больше и больше понимал истину. То же было со мной при чтении Четьи-Минеи и Прологов; это стало любимым моим чтением. Исключая чудеса, смотря на них как на фавулу, выражающую мысль, чтение это открывало мне смысл жизни. Там были жития Макария Великого, Иоасафа-царевича (история Будды), там были слова Иоанна Златоуста, слова о путнике в колодце, о монахе, нашедшем золото, о Петре-мытаре; там история мучеников, всех заявлявших одно, что смерть не исключает жизни; там истории о спасшихся безграмотных, глупых и не знающих ничего об учениях церкви.

Но стоило мне сойтись с учеными верующими или взять их книги, как какое-то сомнение в себе, недовольство, озлобление спора возникали во мне, и я чувствовал, что я, чем больше вникаю в их речи, тем больше отдаляюсь от истины и иду к пропасти.

Сколько раз я завидовал мужикам за их безграмотность и неученость. Из тех положений веры, из которых для меня выходили явные бессмыслицы, для них не выходило ничего ложного; они могли принимать их и могли верить в истину, в ту истину, в которую и я верил. Только для меня, несчастного, ясно было, что истина тончайшими нитями переплетена с ложью и что я не могу принять ее в таком виде.

* * *

Так я жил года три, и первое время, когда я как оглашенный только понемногу приобщался к истине, только руководимый чутьем шел туда, где мне казалось светлее, эти столкновения менее поражали меня. Когда я не понимал чего-нибудь, я говорил себе: «Я виноват, я дурен». Но чем больше я стал проникаться теми истинами, которым я учился, чем более они становились основой жизни, тем тяжелее, разительнее стали эти столкновения и тем резче становилась та черта, которая есть между тем, чего я не понимаю, потому что не умею понимать, и тем, чего нельзя понять иначе, как солгав перед самим собою.

Несмотря на эти сомнения и страдания, я еще держался православия. Но явились вопросы жизни, которые надо было разрешить, и тут разрешение этих вопросов церковью – противное самым основам той веры, которою я жил, – окончательно заставило меня отречься от возможности общения с православием.

Вопросы эти были, во-первых, отношение церкви православной к другим церквям – к католичеству и к так называемым раскольникам. В это время, вследствие моего интереса к вере, я сближался с верующими разных исповеданий: католиками, протестантами, старообрядцами, молоканами и др. И много я встречал из них людей нравственно высоких и истинно верующих. Я желал быть братом этих людей. И что же? То учение, которое обещало мне соединить всех единою верою и любовью, это самое учение в лице своих лучших представителей сказало мне, что это всё люди, находящиеся во лжи, что то, что дает им силу жизни, есть искушение дьявола и что мы одни в обладании единой возможной истины. И я увидел, что всех, не исповедующих одинаково с нами веру, православные считают еретиками, точь-в-точь

так же, как католики и другие считают православие еретичеством; я увидел, что ко всем, не исповедующим внешними символами и словами свою веру так же, как православие, – православие, хотя и пытается скрыть это, относится враждебно, как оно и должно быть, во-первых, потому, что утверждение о том, что ты во лжи, а я в истине, есть самое жестокое слово, которое может сказать один человек другому, и, во-вторых, потому, что человек, любящий детей и братьев своих, не может не относиться враждебно к людям, желающим обратить его детей и братьев в веру ложную. И враждебность эта усиливается по мере большего знания вероучения. И мне, полагавшему истину в единении любви, невольно бросилось в глаза то, что самое вероучение разрушает то, что оно должно произвести.

Соблазн этот до такой степени очевиден, до такой степени нам, образованным людям, живавшим в странах, где исповедуются разные веры, и выдавшим то презрительное, самоуверенное, непоколебимое отрицание, с которым относится католик к православному и протестанту, православный к католику и протестанту и протестант к обоим, и такое же отношение старообрядца, пашковца, шекера и всех вер, что самая очевидность соблазна в первое время озадачивает. Говоришь себе: да не может же быть, чтобы это было так просто, и все-таки люди не видали бы того, что если два утверждения друг друга отрицают, то ни в том, ни в другом нет той единой истины, какую должна быть вера. Что-нибудь тут есть. Есть какое-нибудь объяснение, – и я думал, что есть, и отыскивал это объяснение, и читал все, что мог, по этому предмету, и советовался со всеми, с кем мог. И не получал никакого объяснения, кроме того же самого, по которому сумские гусары считают, что первый полк в мире Сумский гусарский, а желтые уланы считают, что первый полк в мире – это желтые уланы. Духовные лица всех разных исповеданий, лучшие представители из них, ничего не сказали мне, как только то, что они верят, что они в истине, а те в заблуждении, и что все, что они могут, это молиться о них. Я ездил к архимандритам, архиереям, старцам, схимникам и спрашивал, и никто никакой попытки не сделал объяснить мне этот соблазн. Один только из них разъяснил мне все, но разъяснил так, что я уж больше ни у кого не спрашивал.

Я говорил о том, что для всякого неверующего, обращающегося к вере (а подлежит этому обращению все наше молодое поколение), этот вопрос представляется первым: почему истина не в лютеранстве, не в католицизме, а в православии? Его учат в гимназии, и ему нельзя не знать, как этого не знает мужик, что протестант, католик так же точно утверждают единую истинность своей веры. Исторические доказательства, подгибаемые каждым исповеданием в свою сторону, недостаточны. Нельзя ли, – говорил я, – выше понимать учение, так, чтобы с высоты учения исчезали бы различия, как они исчезают для истинно верующего? Нельзя ли идти дальше по тому пути, по которому мы идем с старообрядцами? Они утверждали, что крест, аллилуйя и хождение вокруг алтаря у нас другие. Мы сказали: вы верите в Никейский символ, в семь таинств, и мы верим. Давайте же держаться этого, а в остальном делайте, как хотите. Мы соединились с ними тем, что поставили существенное в вере выше несущественного. Теперь с католиками нельзя ли сказать: вы верите в то-то и то-то, в главное, а по отношению к *filioque* и папе делайте, как хотите. Нельзя ли того же сказать и протестантам, соединившись с ними на главном?

Собеседник мой согласился с моей мыслью, но сказал мне, что такие уступки произведут нарекания на духовную власть в том, что она отступает от веры предков, и произведут раскол, а призвание духовной власти – блюсти во всей чистоте греко-российскую православную веру, переданную ей от предков.

* * *

Я все понял. Я ищу веры, силы жизни, а они ищут наилучшего средства исполнения перед людьми известных человеческих обязанностей. И, исполняя эти человеческие дела, они и исполняют их по-человечески. Сколько бы ни говорили они о своем сожалении о заблудших братьях, о молитвах о них, возносимых у престола всевышнего, – для исполнения человеческих дел нужно насилие, и оно всегда прилагалось, прилагается и будет прилагаться.

Если два исповедания считают себя в истине, а друг друга во лжи, то, желая привлечь братьев к истине, они будут проповедовать свое учение. А если ложное учение проповедуется неопытным сынам церкви, находящейся в истине, то церковь эта не может не сжечь книги, не удалить человека, соблазняющего сынов ее. Что же делать с тем, горящим огнем ложной, по мнению православия, веры сектантом, который в самом важном деле жизни, в вере, соблазняет сынов церкви? Что же с ним

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
делать, как не отрубить ему голову или не запереть его?

При Алексее Михайловиче сжигали на костре, т. е. по времени прилагали высшую меру наказания; в наше время прилагают тоже высшую – запирают в одиночное заключение. И я обратил внимание на то, что делается во имя вероисповедания, и ужаснулся, и уже почти совсем отсекся от православия. Второе отношение церкви к жизненным вопросам было отношение ее к войне и казням.

В это время случилась война в России. И русские стали во имя христианской любви убивать своих братьев.

Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквях молились об успехе нашего оружия, и учителя веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры. И не только эти убийства на войне, но во время тех смут, которые последовали за войной, я видел членов церкви, учителей ее, монахов, схимников, которые одобряли убийство заблудших беспомощных юношей. И я обратил внимание на все то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся.

* * *

Я перестал сомневаться, а убедился вполне, что в том знании веры, к которому я присоединился, не все истина. Прежде я бы сказал, что все вероучение ложно; но теперь нельзя было этого сказать. Весь народ имел знание истины, это было несомненно, потому что иначе он бы не жил. Кроме того, это знание истины уже мне было доступно, я уже жил им и чувствовал всю его правду; но в этом же знании была и ложь. И в этом я не мог сомневаться. И все то, что прежде отталкивало меня, теперь живо предстало передо мною. Хотя я и видел то, что во всем народе меньше было той примеси оттолкнувшей меня лжи, чем в представителях церкви, – я все-таки видел, что и в верованиях народа ложь примешана была к истине.

Но откуда взялась ложь и откуда взялась истина? И ложь и истина переданы тем, что называют церковью. И ложь и истина заключаются в предании, в так называемом священном предании и писании.

И волей-неволей я приведен к изучению, исследованию этого писания и предания, – исследованию, которого я так боялся до сих пор.

И я обратился к изучению того самого богословия, которое я когда-то с таким презрением откинул как ненужное. Тогда оно казалось мне рядом ненужных бессмыслиц, тогда со всех сторон окружали меня явления жизни, казавшиеся мне ясными и исполненными смысла; теперь же я бы и рад откинуть то, что не лезет в здоровую голову, но деваться некуда.

На этом вероучении зиждется, или, по крайней мере, неразрывно связано с ним, то единое знание смысла жизни, которое открылось мне. Как ни кажется оно мне дико на мой старый твердый ум, это – одна надежда спасения. Надо осторожно, внимательно рассмотреть его, для того чтобы понять его, даже и не то, что понять, как я понимаю положение науки.

Я этого не ищу и не могу искать, зная особенность знания веры. Я не буду искать объяснения всего. Я знаю, что объяснение всего должно скрываться, как начало всего, в бесконечности. Но я хочу понять так, чтобы быть приведенным к неизбежно необъяснимому; я хочу, чтобы все то, что необъяснимо, было таково не потому, что требования моего ума неправильны (они правильны, и вне их я ничего понять не могу), но потому, что я вижу пределы своего ума. Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить.

Что в учении есть истина, это мне несомненно; но несомненно и то, что в нем есть ложь, и я должен найти истину и ложь и отделить одно от другого. И вот я приступил к этому. Что я нашел в этом учении ложного, что я нашел истинного и к каким выводам я пришел, составляет следующие части сочинения, которое, если оно того стоит и нужно кому-нибудь, вероятно, будет когда-нибудь и где-нибудь напечатано.

* * *

Это было написано мною три года тому назад. Теперь, пересматривая эту печатаемую часть и возвращаясь к тому ходу мысли и к тем чувствам, которые были во мне,

когда я переживал ее, я на днях увидел сон. Сон этот выразил для меня в сжатом образе все то, что я пережил и описал, и потому думаю, что и для тех, которые поняли меня, описание этого сна освежит, уяснит и соберет в одно все то, что так длинно рассказано на этих страницах. Вот этот сон: вижу я, что лежу на постели, мне ни хорошо, ни дурно, я лежу на спине. Но я начинаю думать о том, хорошо ли мне лежать; и что-то, мне кажется, неловко ногам: коротко ли, неровно ли, но неловко что-то; я пошевеливаю ногами и вместе с тем начинаю обдумывать, как и на чем я лежу, чего мне до тех пор не приходило в голову. И, наблюдая свою постель, я вижу, что лежу на плетеных веревочных помочах, прикрепленных к бочинам кровати. Ступни мои лежат на одной такой помочи, голени – на другой, ногам неловко.

Я почему-то знаю, что помочи эти можно передвигать. И движением ног отталкиваю крайнюю помочу под ногами. Мне кажется, что так будет покойнее. Но я оттолкнул ее слишком далеко, хочу захватить ее ногами, но с этим движеньем выскальзывает из-под голени и другая помоча, и ноги мои свешиваются. Я делаю движение всем телом, чтобы справиться, вполне уверенный, что я сейчас устроюсь; но с этим движением выскальзывают и перемещаются подо мной еще и другие помочи, и я вижу, что дело совсем портится: весь низ моего тела спускается и висит, ноги не достают до земли. Я держусь только верхом спины, и мне становится не только неловко, но отчего-то жутко. Тут только я спрашиваю себя то, чего мне прежде и не приходило в голову. Я спрашиваю себя: где я и на чем я лежу? И начинаю оглядываться и прежде всего гляжу вниз, туда, куда свисло мое тело и куда, я чувствую, что должен упасть сейчас. Я гляжу вниз и не верю своим глазам. Не то что я на высоте, подобной высоте высочайшей башни или горы, а я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе.

Я не могу даже разобрать – вижу ли я что-нибудь там, внизу, в той бездонной пропасти, над которой я вишу и куда меня тянет. Сердце сжимается, и я испытываю ужас. Смотреть туда ужасно. Если я буду смотреть туда, я чувствую, что я сейчас соскользну с последних помочей и погибну. Я не смотрю, но не смотреть еще хуже, потому что я думаю о том, что будет со мной сейчас, когда я сорвусь с последних помочей. И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скользю по спине ниже и ниже. Еще мгновенье, и я оторвусь.

И тогда приходит мне мысль: не может это быть правда. Это сон. Проснись. Я пытаюсь проснуться и не могу. Что же делать, что же делать? – спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, и, действительно, я забываю. Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я так же вишу на последних, не выскочивших еще из-под меня помочах над пропастью; я знаю, что вишу, но я смотрю только вверх, и страх мой проходит.

Как это бывает во сне, какой-то голос говорит: «Заметь это, это оно!» – и я гляжу все дальше и дальше в бесконечность вверху и чувствую, что я успокаиваюсь, помню все, что было, и вспоминаю, как это все случилось: как я шевелил ногами, как я повис, как я ужаснулся и как спасся от ужаса тем, что стал глядеть вверх. И я спрашиваю себя: ну, а теперь что же, я вишу все так же? И я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я уж не вишу и не падаю, а держусь крепко.

Я спрашиваю себя, как я держусь, ощупываюсь, оглядываюсь и вижу, что подо мной, под серединой моего тела, одна помоча, и что, глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии, что она одна и держала прежде. И тут, как это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, очень естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет никакого смысла.

Я во сне даже удивляюсь, как я не понимал этого раньше. Оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твердость этого столба не подлежит никакому сомнению, несмотря на то, что стоять этому тонкому столбу не на чем. Потом от столба проведена петля как-то очень хитро и вместе просто, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Все это мне было ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорит: смотри же, запомни.

И я проснулся.

Как жить без насилия и лжи

«Разорвать цепи обмана...»

(Из книги Л.Н. Толстого «В чем моя вера?»)»

Я прожил на свете 55 лет и, за исключением 14 или 15 детских, 35 лет я прожил нигилистом в настоящем значении этого слова, то есть не социалистом и революционером, как обыкновенно понимают это слово, а нигилистом в смысле отсутствия всякой веры.

Пять лет тому назад я поверил в учение Христа – и жизнь моя вдруг перевернулась: мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, что прежде не хотелось. То, что прежде казалось мне хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Со мной случилось то, что случается с человеком, который вышел за делом и вдруг дорогой решил, что дело это ему совсем не нужно, – и повернул домой. И все, что было справа, – стало слева, и все, что было слева, – стало справа: прежнее желание – быть как можно дальше от дома – перевернулось на желание быть как можно ближе от него. Направление моей жизни – желания мои стали другие: и доброе и злое перевернулось местами. Все это произошло оттого, что я понял учение Христа не так, как я понимал его прежде.

Я не толковать хочу учение Христа, я хочу только рассказать, как я понял то, что есть самого простого, ясного, понятного и несомненного, обращенного ко всем людям в учении Христа, и как то, что я понял, перевернуло мою душу и дало мне спокойствие и счастье.

Я не толковать хочу учение Христа, а только одного хотел бы: запретить толковать его.

Все христианские церкви всегда признавали, что все люди, неравные по своей учености и уму, – умные и глупые, – равны перед Богом, что всем доступна Божеская истина. Христос сказал даже, что воля Бога в том, что немудрым открывается то, что скрыто от мудрых.

Не все могут быть посвящены в глубочайшие тайны догматики, гомилетики, патристики, литургики, герменевтики, апологетики др., но все могут и должны понять то, что Христос говорил всем миллионам простых, немудрых, живших и живущих людей. Так вот то самое, что Христос сказал всем этим простым людям, не имевшим еще возможности обращаться за разъяснениями его учения к Павлу, Клименту, Златоусту и другим, это самое я не понимал прежде, а теперь понял; и это самое хочу сказать всем.

Разбойник на кресте поверил в Христа и спасся. Неужели было бы дурно и для кого-нибудь вредно, если бы разбойник не умер на кресте, а сошел бы с него и рассказал людям, как он поверил в Христа.

Я так же, как разбойник на кресте, поверил учению Христа и спасся. И это не далекое сравнение, а самое близкое выражение того душевного состояния отчаяния и ужаса перед жизнью и смертью, в котором я находился прежде, и того состояния спокойствия и счастья, в котором я нахожусь теперь.

Я, как разбойник, знал, что жил и живу скверно, видел, что большинство людей вокруг меня живет так же. Я так же, как разбойник, знал, что я несчастлив и страдаю и что вокруг меня люди также несчастливы и страдают, и не видал никакого выхода, кроме смерти, из этого положения. Я так же, как разбойник к кресту, был пригвожден какой-то силой к этой жизни страданий и зла. И как разбойника ожидал страшный мрак смерти после бессмысленных страданий и зла жизни, так и меня ожидало то же.

Во всем этом я был совершенно подобен разбойнику, но различие мое от разбойника было в том, что он умирал уже, а я еще жил. Разбойник мог поверить тому, что спасение его будет там, за гробом, а я не мог поверить этому, потому что кроме жизни за гробом мне предстояла еще и жизнь здесь. А я не понимал этой жизни. Она мне казалась ужасна. И вдруг я услышал слова Христа, понял их, и жизнь и смерть перестали мне казаться злом, и, вместо отчаяния, я испытал радость и счастье жизни, не нарушимые смертью.

Неужели для кого-нибудь может быть вредно, если я расскажу, как это сделалось со мной?

* * *

...С детства меня учили тому, что Христос – Бог и учение его Божественно, но вместе с тем меня учили уважать те учреждения, которые насильем обеспечивают мою безопасность от злого, учили меня почитать эти учреждения священными. Меня учили противостоять злему и внушали, что унижительно и постыдно покоряться злему и терпеть от него, а похвально противиться ему. Меня учили судить и казнить. Потом меня учили воевать, то есть убийством противодействовать злым, и воинство, которого я был членом, называли христоролюбивым воинством; и деятельность эту освящали христианским благословением. Кроме того, с детства и до возмужалости меня учили уважать то, что прямо противоречит закону Христа. Дать отпор обидчику, отмстить насильем за оскорбление личное, семейное, народное; все это не только не отрицали, но мне внушали, что все это прекрасно и не противно закону Христа.

Все меня окружающее: спокойствие, безопасность моя и семьи, моя собственность, все построено было на законе, отвергнутом Христом, на законе: зуб за зуб.

Церковные учителя учили тому, что учение Христа Божественно, но исполнение его невозможно по слабости людской, и только благодать Христа может содействовать его исполнению. Светские учителя и все устройство жизни уже прямо признавали неисполнимость, мечтательность учения Христа, и речами и делами учили тому, что противно этому учению. Это признание неисполнимости учения Бога до такой степени понемножку, незаметно всосалось в меня и стало привычно мне, и до такой степени оно совпадало с моими похотями, что я никогда не замечал прежде того противоречия, в котором я находился. Я не видал того, что невозможно в одно и то же время исповедовать Христа-Бога, основа учения которого есть непротивление злему, и сознательно и спокойно работать для учреждения собственности, судов, государства, воинства, учреждать жизнь, противную учению Христа, и молиться этому Христу о том, чтобы между нами исполнялся закон непротивления злему и прощения. Мне не приходило еще в голову то, что теперь так ясно: что гораздо бы проще было устраивать и учреждать жизнь по закону Христа, а молиться уж о том, чтобы были суды, казни, войны, если они так нужны для нашего блага.

И я понял, откуда возникло мое заблуждение. Оно возникло из исповедания Христа на словах и отрицания его на деле.

Положение о непротивлении злему есть положение, связующее все учение в одно целое, но только тогда, когда оно не есть изречение, а есть правило, обязательное для исполнения, когда оно есть закон.

Оно есть точно ключ, отпирающий все, но только тогда, когда ключ этот просунут до замка. Признание этого положения за изречение, невозможное к исполнению без сверхъестественной помощи, есть уничтожение всего учения. Каким же, как не невозможным, может представляться людям то учение, из которого вынута основная, связующая все положение? Неверующим же оно даже прямо представляется глупым и не может представиться иным.

Поставить машину, затопить паровик, пустить в ход, но не надеть передаточного ремня – это самое сделано с учением Христа, когда стали учить, что можно быть христианином, не исполняя положение о непротивлении злу.

* * *

Я недавно с еврейским раввином читал V главу Матфея. Почти при всяком изречении раввин говорил: это есть в Библии, это есть в Талмуде, и указывал мне в Библии и Талмуде весьма близкие изречения к изречениям Нагорной проповеди. Но когда мы дошли до стиха о непротивлении злу, он не сказал: и это есть в Талмуде, а только спросил меня с усмешкой: – И христиане исполняют это? подставляют другую щеку? – Мне нечего было отвечать, тем более что я знал, что в это самое время христиане не только не подставляли щеки, но били евреев по подставленной щеке. Но мне интересно было знать, есть ли что-нибудь подобное в Библии или Талмуде, и я спросил его об этом. Он сказал: – Нет, этого нет, но вы скажите, исполняют ли христиане этот закон? – Вопросом этим он говорил мне, что присутствие такого правила в христианском законе, которое не только никем не исполняется, но которое сами христиане признают неисполнимым, есть признание неразумности и ненужности этого правила. И я не мог ничего отвечать ему.

Теперь, поняв прямой смысл учения, я вижу ясно то странное противоречие с самим

собой, в котором я находился. Признав Христа Богом и учение его Божественным и вместе с тем устроив свою жизнь противно этому учению, что же оставалось, как не признавать учение неисполнимым? На словах я признал учение Христа священным, на деле я исповедовал совсем не христианское учение и признавал и поклонялся учреждениям не христианским, со всех сторон обнимающим мою жизнь.

Весь Ветхий Завет говорит, что несчастья народа иудейского происходили оттого, что он верил в ложных богов, но не в истинного Бога. Самуил в первой книге, в главах 8-й и 12-й, обвиняет народ в том, что ко всем прежним своим отступлениям от Бога он прибавил еще новое: на место Бога, который был их царем, поставили человека-царя, который, по их мнению, спасет их. Не верьте в «тогу», в пустое, говорит Самуил народу (XII, 21 стих). Оно не поможет вам и не спасет вас, потому что оно «тогу», пустое. Чтобы не погибнуть вам с царем вашим, держитесь одного Бога.

Вот вера в эти «тогу», в эти пустые кумиры и заслоняла от меня истину. На дороге к ней, заграждая ее свет, стояли предо мной те «тогу», от которых я не в силах был отречься.

На днях я шел в Боровицкие ворота; в воротах сидел старик, нищий-калека, обвязанный по ушам ветшкой. Я вынул кошелек, чтобы дать ему что-нибудь. В это время с горы из Кремля выбежал бравый молодой румяный малый, гренадер в казенном тулупе. Нищий, увидав солдата, испуганно вскочил и вприхромку побежал вниз к Александровскому саду. Гренадер погнался было за ним, но, не догнав, остановился и стал ругать нищего за то, что он не слышал запрещения и сажился в воротах. Я подождал гренадера в воротах. Когда он поравнялся со мной, я спросил его: знает ли он грамоте?

– Знаю, а что? – Евангелие читал? – Читал. – А читал: «и кто накормит голодного?...» – Я сказал ему это место. Он знал его и выслушал. И я видел, что он смущен. Два прохожие остановились, слушая.

Гренадеру, видно, больно было чувствовать, что он, отлично исполняя свою обязанность, – гоняя народ оттуда, откуда велено гонять, – вдруг оказался неправ. Он был смущен и, видимо, искал отговорки. Вдруг в умных, черных глазах его блеснул свет, он повернулся ко мне боком, как бы уходя. – А воинский устав читал? – спросил он. Я сказал, что не читал. – Так и не говори, – сказал гренадер, тряхнув победоносно головой, и, запахнув тулуп, молодецки подошел к своему месту.

Это был единственный человек во всей моей жизни, строго логически разрешивший тот вечный вопрос, который при нашем общественном строе стоял предо мной и стоит перед каждым человеком, называющим себя христианином.

* * *

Напрасно говорят, что учение христианское касается личного спасения, а не касается вопросов общих, государственных. Это только смелое и голословное утверждение самой очевидной неправды, которая разрушается при первой серьезной мысли об этом. Хорошо, я не буду противиться злу, подставлю щеку, как частный человек, говорю я себе, но идет неприятель или угнетают народы, и меня призывают участвовать в борьбе со злыми – идти убивать их. И мне неизбежно решить вопрос: в чем служение Богу и в чем служение «тогу». Идти ли на войну, или не идти? Я – мужик, меня выбирают в старшины, судьи, в присяжные, заставляют присягать, судить, наказывать – что мне делать? Опять я должен выбирать между законом Бога и законом человеческим. Я – монах, живу в монастыре, мужики отняли наш покос, меня посылают участвовать в борьбе со злыми – просить в суде на мужиков. Опять я должен выбирать. Ни один человек не может уйти от решения этого вопроса. Я не говорю уже о нашем сословии, деятельность которого почти вся состоит в противлении злым: военные, судейские, администраторы, но нет того частного, самого скромного человека, которому бы не предстояло это решение между служением Богу, исполнением его заповедей, или служением «тогу», государственным учреждениям. Личная моя жизнь переплетена с общей государственной, а государственная требует от меня нехристианской деятельности, прямо противной заповеди Христа.

Теперь с общей воинской повинностью и участием всех в суде в качестве присяжных, дилемма эта с поразительной резкостью поставлена перед всеми. Всякий человек должен взять оружие убийства: ружье, нож, и если не убить, то зарядить ружье и

отточить нож, то есть быть готовым на убийство. Каждый гражданин должен прийти в суд и быть участником суда и наказаний, то есть каждый должен отречься от заповеди Христа непротivления злoму не словом только, но делом.

Вопрос гренaдeрa: Евангелие или воинский устав? закон Божий или закон человеческий? – теперь стоит и при Самуиле стоял перед человечеством. Он стоял и перед самим Христом и перед учениками его. Стоит и перед теми, которые теперь хотят быть христианами, стоял и передо мной.

Закон Христа, с его учением любви, смирения, самоотвержения, всегда и прежде трогал мое сердце и привлекал меня к себе. Но со всех сторон, в истории, в современной окружающей меня, и в моей жизни я видел закон противоположный, противный моему сердцу, моей совести, моему разуму, но потакающий моим животным инстинктам.

Я чувствовал, что, прими я закон Христа, я останусь один, и мне может быть плохо, мне придется быть гонимым и плачущим, то самое, что сказал Христос. Прими закон человеческий – меня все одобряют, я буду спокоен, обеспечен, и к моим услугам все изощрения ума, чтобы успокоить мою совесть. Я буду смеяться и веселиться, то самое, что сказал Христос.

Я чувствовал это и потому не только не углублялся в значение закона Христа, но старался понять его так, чтобы он не мешал мне жить моей животной жизнью. А понять его так нельзя было, и потому я вовсе не понимал его.

* * *

В Евангелии, каждое слово которого мы считаем священным, прямо и ясно сказано: у вас был уголовный закон – зуб за зуб, а я даю вам новый: не противьтесь злoму; все исполняйте эту заповедь: не делайте зла за зло, а делайте всегда и всем добро, всех прощайте.

И далее прямо сказано: не судите. И чтобы невозможно было недоразумение о значении слов, которые сказаны, прибавлено: не приговаривайте по суду к наказаниям.

Сердце мое говорит ясно, внятно: не казните; наука говорит: не казните, чем больше казните – больше зла; разум говорит: не казните, злом нельзя пресечь зла. Слово Бога, в которое я верю, говорит то же. И я читаю все учение, читаю эти слова: не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте и будете прощены, признаю, что это слово Бога, и говорю, что это значит то, что не надо заниматься сплетнями и злословием, и продолжаю считать суды христианским учреждением и себя судьей и христианином. И я ужаснулся пред той грубостью обмана, в котором я находился.

Я понял теперь, что говорит Христос, когда он говорит: вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противься злу, а терпи его. Христос говорит: вам внушено, вы привыкли считать хорошим и разумным то, чтобы силой отстаиваться от зла и вырывать глаз за глаз, учреждать уголовные суды, полицию, войско, отстаиваться от врагов, а я говорю: не делайте насилия, не участвуйте в насилии, не делайте зла никому, даже тем, которых вы называете врагами.

Я понял теперь, что в положении о непротivлении злу Христос говорит не только, что выйдет непосредственно для каждого от непротivления злу, но он, в противоположение той основы, которою жило при нем по Моисею, по римскому праву и теперь по разным кодексам живет человечество, ставит положение непротivления злу, которое, по его учению, должно быть основой жизни людей вместе и должно избавить человечество от зла, наносимого им самому себе. Он говорит: вы думаете, что ваши законы исправляют зло, – они только увеличивают его. Один есть путь пресечения зла – делание добра за зло всем без всякого различия. Вы тысячи лет пробовали ту основу, попробуйте мою – обратную.

Удивительное дело! В последнее время мне часто случалось говорить с самыми различными людьми об этом законе Христа – непротivления злу. Редко, но я встречал людей, соглашавшихся со мной. Но два рода людей никогда, даже в принципе, не допускают прямого понимания этого закона и горячо отстаивают справедливость протivления злу. Это люди двух крайних полюсов: христиане патриоты–консерваторы, признающие свою церковь истинною, и атеисты–революционеры. Ни те ни другие не хотят отказаться от права насилieм

противиться тому, что они считают злом. И самые умные, ученые люди из них никак не хотят видеть той простой, очевидной истины, что если допустить, что один человек может насилем противиться тому, что он считает злом, то точно так же другой может насилем противиться тому, что этот другой считает злом.

Недавно у меня была в руках поучительная в этом отношении переписка православного славянофила с христианином-революционером. Один отстаивал насиле войны во имя угнетенных братьев-славян, другой – насиле революции во имя угнетенных братьев – русских мужиков. Оба требуют насилия, и оба опираются на учение Христа.

Все на самые различные лады понимают учение Христа, но только не в том прямом простом смысле, который неизбежно вытекает из Его слов.

* * *

По христианству нашего общества и времени признается истинной и священной наша жизнь с ее устройством тюрем одиночного заключения, фабрик, журналов, борделей и парламентов, и из учения Христа берется только то, что не нарушает этой жизни. А так как учение Христа отрицает всю эту жизнь, то из учения Христа не берется ничего, кроме слов.

Но если мы не будем утверждать, что привычное зло, которым мы пользуемся, есть несомненная Божественная истина, то тогда нам станет ясно, что естественнее для человека: насиле или закон Христа? Знать ли, что спокойствие и безопасность моя и семьи, все мои радости и веселья покупаются нищетой, развратом и страданиями миллионов, – сотнями тысяч страдающих узников и миллионом оторванных от семей и одуренных дисциплиной солдат, городовых и урядников, которые оберегают мои потехи заряженными на голодных людей пистолетами; покупать ли каждый сладкий кусок, который я кладу в свой рот или рот моих детей, всем тем страданием человечества, которое неизбежно для приобретения этих кусков; или знать, что какой ни есть кусок – мой кусок только тогда, когда он никому не нужен и никто из-за него не страдает.

Стоит только понять раз, что это так, что всякая радость моя, всякая минута спокойствия при нашем устройстве жизни покупается лишениями и страданиями тысяч, удерживаемых насилем; стоит раз понять это, чтобы понять, что свойственно всей природе человека, то есть не одной животной, но и разумной и животной природе человека; стоит только понять закон Христа во всем его значении, со всеми последствиями его для того, чтобы понять, что не учение Христа несвойственно человеческой природе, но все оно только в том и состоит, чтобы откинуть несвойственное человеческой природе мечтательное учение людей о непротивлении злу, делающее их жизнь несчастною.

Учение Христа о непротивлении злу – мечта! А то, что жизнь людей, в душу которых вложена жалость и любовь друг к другу, проходила и теперь проходит для одних в устройстве костров, кнутов, колесований, плетей, рваньи ноздрей, пыток, кандалов, каторг, виселиц, расстреливаний, одиночных заключений, острогов для женщин и детей, в устройстве побоищ десятками тысяч на войне, в устройстве периодических революций и пугачевщин, а жизнь других – в том, чтобы исполнять все эти ужасы, а третьих – в том, чтобы избегать этих страданий и оплачивать за них, – такая жизнь не мечта.

Стоит понять учение Христа, чтобы понять, что мир, не тот, который дан Богом для радости человека, а тот мир, который учрежден людьми для гибели их, есть мечта, и мечта самая дикая, ужасная, бред сумасшедшего, от которого стоит только раз проснуться, чтобы уже никогда не возвращаться к этому страшному сновидению.

* * *

Все учение Христа состоит в том, чтобы дать Царство Бога – мир – людям. В Нагорной проповеди, в беседе с Никодимом, в послании учеников, во всех поучениях своих он говорит только о том, что разделяет людей и мешает им быть в мире и войти в Царство Бога. Все притчи суть только описание того, что есть Царство Бога и что, только любя братьев и будучи в мире с ними, можно войти в него. Иоанн Креститель, предшественник Христа, говорит, что приблизилось Царство Бога и что Иисус Христос дает его миру.

Христос говорит, что принес мир на землю (Иоанна, XIV, 27): «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и

да не устрашается».

И вот пять заповедей его действительно дают этот мир людям. Все пять заповедей имеют только одну эту цель – мира между людьми. Стоит людям поверить учению Христа и исполнять его, и мир будет на земле, и мир не такой, какой устраивается людьми, временный, случайный, но мир общий, ненарушимый, вечный.

Первая заповедь говорит: будь в мире со всеми, не позволяй себе считать другого человека ничтожным или безумным (Матф., V, 22). Если нарушен мир, то все силы употребляй на то, чтобы восстановить его. Служение Богу есть уничтожение вражды (23–24). Мирись при малейшем раздоре, чтобы не потерять истинной жизни (26). В этой заповеди сказано все; но Христос предвидит соблазны мира, нарушающие мир между людьми, и дает вторую заповедь – против соблазна половых отношений, нарушающего мир. Не смотри на красоту плотскую как на потеху, вперед избегай этого соблазна (28–30); бери муж одну жену, и жена – одного мужа, и не покидайте друг друга ни под каким предлогом (32). Другой соблазн – это клятвы, вводящие людей в грех. Знай вперед, что это – зло, и не давай никаких обетов (34–37). Третий соблазн – это месть, называемая человеческим правосудием; не мсти и не отговаривайся тем, что тебя обидят, – неси обиды, а не делай зла за зло (38–42). Четвертый соблазн – это различие народов, вражда племен и государств. Знай, что все люди – братья и сыны одного Бога, и не нарушай мира ни с кем во имя народных целей (43–48). Не исполнят люди одну из этих заповедей – мир будет нарушен. Исполнят люди все заповеди, и царство мира будет на земле. Заповеди эти исключают все зло из жизни людей.

При исполнении этих заповедей жизнь людей будет то, чего ищет и желает всякое сердце человеческое. Все люди будут братья, и всякий будет всегда в мире с другими, наслаждаясь всеми благами мира тот срок жизни, который уделен ему Богом. Перекуют люди мечи на орала и копыя на серпы. Будет то Царство Бога, царство мира, которое обещали все пророки, и которое близилось при Иоанне Крестителе, и которое возвещал и возвестил Христос, говоря словами Исаии: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Луки, IV, 18–19; исаии, LXI, 1–2).

Заповеди мира, данные Христом, простые, ясные, предвидящие все случаи раздора и предотвращающие его, открывают это Царство Бога на земле. Стало быть, Христос точно Мессия. Он исполнил обещанное. Мы только не исполняем того, чего вечно желали все люди, – того, о чем мы молились и молимся.

* * *

Отчего же люди не делают того, что Христос сказал им и что дает им высшее доступное человеку благо, чего они вечно желали и желают? И со всех сторон я слышу один, разными словами выражаемый, один и тот же ответ: «Учение Христа очень хорошо, и правда, что при исполнении его установилось бы Царство Бога на земле, но оно трудно и потому неисполнимо».

Учение Христа о том, как должны жить люди, божественно, хорошо и дает благо людям, но людям трудно исполнять его. Мы так часто повторяем и слышим это, что нам не бросается в глаза то противоречие, которое находится в этих словах.

Человеческой природе свойственно делать то, что лучше. И всякое учение о жизни людей есть только учение о том, что лучше для людей. Если людям показано, что им лучше делать, то как же они могут говорить, что они желают делать то, что лучше, но не могут? Люди не могут делать только то, что хуже, а не могут не делать того, что лучше.

Разумная деятельность человека, с тех пор как есть человек, направлена к тому, чтобы найти, что лучше из тех противоречий, которыми наполнена жизнь и отдельного человека и всех людей вместе.

Люди дерутся за землю, за предметы, которые им нужны, и потом доходят до того, что делают все и называют это собственностью; они находят, что хотя и трудно учредить это, но так лучше, и держатся собственности; люди дерутся за жен, бросают детей, потом находят, что лучше, чтобы у каждого была своя семья; и, хотя очень трудно питать семью, люди держатся собственности, семьи и многого другого. И как только люди нашли, что так лучше, то как бы это трудно ни было,

так и делают. Что же такое значит, что мы говорим: учение Христа прекрасно, жизнь по учению Христа лучше, чем та, которою мы живем; но мы не можем жить так, чтобы было лучше, потому что это «трудно».

Если это слово: «трудно» понимать так, что трудно жертвовать мгновенным удовлетворением своей похоти большему благу, то почему же мы не говорим, что трудно пахать, для того чтобы был хлеб, сажать яблони, чтобы были яблоки? То, что надо переносить трудности для достижения большего блага, это знает всякое существо, одаренное первым задатком разума. И вдруг оказывается, что мы говорим, что учение Христа прекрасно, но что оно неисполнимо, потому что трудно. Трудно же потому, что, следуя ему, мы должны лишаться того, чего мы прежде не лишались. Мы как будто никогда не слышали того, что выгоднее иногда потерпеть и лишиться, чем ничего не терпеть и удовлетворять всегда свою похоть.

Человек может быть животным, и никто не станет упрекать его в том; но человек не может рассуждать о том, что он хочет быть животным. Как только он рассуждает, то он сознает себя разумным, и, сознавая себя разумным, он не может не признавать того, что разумно, и того, что неразумно. Разум ничего не приказывает, он только освещает.

Я в темноте избил руки и колена, отыскивая дверь. Вошел человек со светом, и я увидал дверь. Я не могу уже биться в стену, когда я вижу дверь, и еще менее могу утверждать, что я вижу дверь, нахожу, что лучше пройти в дверь, но что это трудно, и потому я хочу продолжать биться коленками об стену.

В этом удивительном рассуждении: христианское учение хорошо и дает благо миру; но люди слабы, люди дурны и хотят лучше делать, а делают хуже, и потому не могут делать лучше, – есть очевидное недоразумение.

Тут, очевидно, не ошибка рассуждения, а что-нибудь другое.

Тут, должно быть, какое-нибудь ложное представление. Только ложное представление о том, что есть то, чего нет, и нет того, что есть, может привести людей к такому странному отрицанию исполнимости того, что, по их же признанию, дает им благо.

* * *

Ложное представление, приведшее к этому, есть то, что называется догматическою христианскою верой, – тою самою, которою с детства учат всех исповедующих церковную христианскую веру по разным православным, католическим и протестантским катехизисам.

Вера эта, по определению верующих же, есть признание существующим того, что кажется (это сказано у Павла и повторяется во всех богословиях и катехизисах как лучшее определение веры). И вот это-то признание существующим того, что кажется, и привело людей к такому странному утверждению того, что учение Христа хорошо для людей, но не годится для людей.

Учение этой веры в самом точном его выражение такое: личный Бог, существующий вечно, один в трех лицах, вдруг вздумал сотворить мир духов. Бог благой сотворил этот мир духов для их блага; но случилось, что один из духов сделался сам злым и потому несчастным. Прошло много времени, и Бог сотворил другой мир, вещественный, и человека тоже для его блага. Бог сотворил человека блаженным, бессмертным и безгрешным. Блаженство человека состояло в пользовании благом жизни без труда; бессмертие его состояло в том, что он всегда должен был так жить; безгрешность его состояла в том, что он не знал зла.

Человек этот в раю был соблазнен тем духом первого творения, который сам собою сделался злым, и человек с тех пор пал, и стали рождаться такие же падшие люди, и с тех пор люди стали работать, болеть, страдать, умирать, бороться телесно и духовно, то есть воображаемый человек сделался действительным, таким, каким мы его знаем и которого не можем и не имеем права и основания вообразить себе иным. Состояние человека трудящегося, страдающего, избирающего добро и избегающего зла и умирающего, то, которое есть и помимо которого мы не можем себе ничего представить, по учению этой веры не есть настоящее положение человека, а есть несвойственное ему, случайное, временное положение.

Несмотря на то, что состояние это продолжалось для всех людей, по этому учению,

от изгнания Адама из рая, то есть от начала мира до рождения Христа, и точно так же продолжается и после для всех людей, верующие должны воображать, что это есть только случайное, временное состояние. По этому учению, Сын Бога – сам БОГ, второе лицо Троицы, послан Богом на землю в образе человека затем, чтобы спасти человека от этого несвойственного им случайного, временного состояния, снять с них все проклятия, наложенные на них тем же Богом за грехи Адама, и восстановить их в их прежнем естественном состоянии блаженства, то есть безболезненности, бессмертия, безгрешности и праздности. Второе лицо Троицы – Христос, по этому учению, тем, что люди его казнили, этим самым искупил грех Адама и прекратил это неестественное состояние человека, продолжавшееся от начала мира. И с тех пор человек, поверивший в Христа, стал опять таким же, каким он был в раю, то есть бессмертным, неболеющим, безгрешным и праздным.

На той части осуществления искупления, вследствие которой после Христа земля для верующих уже стала рождать везде без труда, болезни прекратились и чада стали родиться у матерей без страданий, – учение это не очень останавливается, потому что тем, которым тяжело работать и больно страдать, как бы они ни верили, трудно внушить, что не трудно работать и не больно страдать. Но та часть учения, по которой смерти и греха уже нет, утверждается с особенной силой.

Утверждается, что мертвые продолжают быть живыми. И так как мертвые никак не могут ни подтвердить того, что они умерли, ни того, что они живы, так же как камень не может подтвердить того, что он может или не может говорить, то это отсутствие отрицания принимается за доказательство и утверждается, что люди, которые умерли, не умерли. И еще с большей торжественностью и уверенностью утверждается то, что после Христа верю в него человек освобождается от греха, то есть что человеку после Христа не нужно уже разумом освещать свою жизнь и избирать то, что для него лучше. Ему нужно верить только, что Христос искупил его от греха, и тогда он всегда безгрешен, то есть совершенно хорош. По этому учению, люди должны воображать, что в них разум бессилен и что потому-то они и безгрешны, то есть не могут ошибаться.

Истинно верующий должен воображать, что со времени Христа земля родит без труда, дети рождаются без мук, болезней нет, смерти нет и греха, то есть ошибок, нет; то есть нет того, что есть, и что есть то, чего нет.

* * *

Так говорит строго логическая богословская теория. Учение это само по себе кажется невинно. Но отступление от истины никогда не бывает невинно и влечет за собой свои последствия, тем более значительные, чем значительнее тот предмет, о котором говорится неправда. Здесь же предмет, о котором говорится неправда, есть вся жизнь человеческая.

То, что, по этому учению, называется истинною жизнью, есть жизнь личная, блаженная, безгрешная и вечная, то есть такая, какую никто никогда не знал и которой нет. Жизнь же та, которая есть, которую мы одну знаем, которою мы живем и которою жило и живет все человечество, есть, по этому учению, жизнь падшая, дурная, есть только образчик той хорошей жизни, которая нам следует.

Та борьба между стремлением к жизни животной и жизни разумной, которая лежит в душе каждого человека и составляет сущность жизни каждого, по этому учению, совершенно устраняется. Борьба эта переносится в событие, совершившееся в раю с Адамом при сотворении мира. И вопрос о том: есть ли мне или не есть те яблоки, которые соблазняют меня? – не существует для человека, по этому учению. Вопрос этот раз навсегда решен Адамом в раю в отрицательном смысле. Адам за меня согрешил, то есть ошибся, и все люди, все мы безвозвратно пали, и все наши усилия жить разумно бесполезны и даже безбожны.

Я дурен непоправимо, и должен знать это. И спасение мое не в том, что я разумом могу осветить свою жизнь и, узнав хорошее и дурное, делать то, что лучше. Нет, Адам раз навсегда за меня сделал дурно, и Христос раз навсегда поправил это дурное, сделанное Адамом, и потому я должен как зритель сокрушаться о падении Адама и радоваться о спасении Христом.

Вся же та любовь к добру и истине, которая лежит в душе человека, все усилия его осветить разумом явления жизни, вся моя духовная жизнь – все это не только неважно по этому учению, но это есть прелесть или гордость.

Жизнь, какая есть здесь, на земле, со всеми ее радостями, красотами, со всею борьбой разума против тьмы, – жизнь всех людей, живших до меня, вся моя жизнь с моей внутренней борьбой и победами разума есть жизнь не истинная, а жизнь павшая, безнадежно испорченная; жизнь же истинная, безгрешная – в вере, то есть в воображении, то есть в сумасшествии.

Пусть человек, отрешившись от привычки, взятой с детства, допускать все это, постарается взглянуть просто, прямо на это учение, пусть он перенесется мыслью в свежего человека, воспитанного вне этого учения, и представит себе, каким покажется это учение такому человеку? Ведь это полное сумасшествие.

И как ни странно и ни страшно это думать, я не мог не признать этого, потому что это одно объясняло мне то удивительное, противоречивое, бессмысленное возражение, которое я слышу со всех сторон против исполнимости учения Христа: оно хорошо и дает счастье людям, но люди не могут исполнить его.

* * *

Приходят люди во двор, находят в этом дворе все, что нужно для их жизни: дом со всею утварью, амбары, полные хлебом, погреба, подвалы со всеми запасами; на дворе – орудия земледельческие, снасть, сбруя, лошади, коровы, овцы, полное хозяйство – все, что нужно для довольной жизни. Люди с разных сторон приходят в этот двор и начинают пользоваться всем тем, что они находят тут, каждый только для себя, не думая ничего оставлять ни тем, которые теперь с ними в доме, ни тем, которые придут после. Каждый хочет все для себя. Каждый торопится воспользоваться, чем может, и начинается истребление всего – борьба, драка за предметы обладания: корову молочную, нестриженных котных овец бьют на мясо; станками и телегами топят печи, дерутся за молоко, за зерно, проливают и просыпают и губят больше, чем пользуются. Никто спокойно не съест куска, ест и огрызается; приходит сильнейший и отнимает, а у того отнимает другой.

Намучившись, избитые, голодные люди уходят из двора. Опять хозяин приготавливает все во дворе так, чтобы люди могли спокойно жить в нем. Опять двор – полная чаша, опять приходят прохожие, и опять свалка, драка, все идет туною, и опять измученные, избитые и озлобленные люди выходят вон, ругаясь и злобясь и на товарищей, и на хозяина, что он плохо и мало заготовил. Опять добрый хозяин учреждает двор так, чтобы могли жить в нем люди, и опять то же, и опять, и опять, и опять.

И вот в один из новых приходов людей находится учитель, который говорит другим: братцы! мы не то делаем. Смотрите, сколько добра во дворе, как все хозяйственно устроено! На всех нас хватит и останется тем, которые после нас придут, только давайте с умом жить. Не будем друг у дружки отнимать, а будем помогать друг другу. Станем сеять, пахать, скотину водить, и всем хорошо будет жить.

И вот случилось, что кое-кто понял, что говорил учитель, и стали эти понявшие так делать: перестали драться, отнимать друг у дружки и стали работать. Но остальные, которые и не слышали речей учителя, а которые слышали, да не верили им, не делали по словам человека, а по-прежнему дрались и губили хозяйское добро и уходили. Приходили другие, и было то же самое. Те, которые послушали учителя, говорили все свое: не деритесь, не губите хозяйское добро, вам лучше будет. Делайте, как сказал учитель. Но все еще было много таких, которые не слышали и не верили, и дело шло долго все по-старому.

Все это понятно и так точно могло быть, пока люди не верили тому, что говорил учитель. Но вот, рассказывают, что пришло время, все услышали во дворе слова учителя, все поняли их, все мало что поняли, все признали, что это сам Бог говорит через учителя, что и учитель-то был сам Бог, и все поверили, как в святыню, в каждое слово учителя. Но рассказывают, что будто после этого, вместо того чтобы всем жить по словам учителя, вышло то, что после этого уж никто не стал удерживаться от свалки, и пошли все бузывать друг друга, и стали все говорить, что теперь-то мы верно знаем, что так надо и что иначе нельзя.

Что же это такое значит? Ведь скотина – и та сладится, как ей так корм есть, чтобы не сбивать его дуром, а люди узнали, как надо лучше жить, поверили, что сам Бог им велел так жить, и живут еще хуже, потому что, говорят, нельзя жить иначе. Что-нибудь другое вообразили себе эти люди. Ну что же могли вообразить себе эти люди во дворе, поверив словам учителя, продолжать жизнь по-прежнему, отнимать друг у друга, драться, губить добро и себя? А вот что –

учитель сказал им: ваша жизнь в этом дворе дурная, живите лучше, и ваша жизнь будет хорошая, а они вообразили, что учитель осудил всю жизнь в этом дворе и обещал им другую, хорошую жизнь не на этом дворе, а где-то в другом месте. И они решили, что этот двор постоянный и что не стоит стараться жить в нем хорошо, а что надо только заботиться о том, как бы не прозевать ту обещанную хорошую жизнь в другом месте.

Только этим можно объяснить странное поведение во дворе тех людей, которые верят, что учитель был Бог, и тех, которые считают его умным человеком и слова его справедливыми, но продолжают жить по-старому, противно советам учителя.

Люди все слышали, все поняли, но только пропустили мимо ушей то, что учитель говорил только о том, что людям надо делать свое счастье самим здесь, на том дворе, на котором они сошлись, а вообразили себе, что это двор постоянный, а там где-то будет настоящий. И вот от этого вышло то удивительное рассуждение, что слова учителя очень прекрасны и даже слова Бога, но исполнять их теперь трудно.

Только бы люди перестали себя губить и ожидать, что кто-то придет и поможет им: Христос на облаках с трубным гласом, или исторический закон, или закон дифференциации и интеграции сил. Никто не поможет, коли сами не помогут. А самим и помогать нечего. Только не ждать ничего ни с неба, ни с земли, а самим перестать губить себя.

* * *

Все те бесчисленные дела, которые мы делаем для себя в будущем, не нужны для нас; все это обман, которым мы сами обманываем себя. Нужно только одно.

Со дня рождения положение человека таково, что его ждет неизбежная гибель, то есть бессмысленная жизнь и бессмысленная смерть, если он не найдет этого чего-то одного, которое нужно для истинной жизни. Это-то одно, дающее истинную жизнь, Христос и открывает людям. Он не выдумывает это, не обещает дать это по своей Божеской власти; он только показывает людям, что вместе с той личной жизнью, которая есть несомненный обман, должно быть то, что есть истина, а не обман.

Притчей о виноградарях (Матф., XXI, 33–42) Христос разъясняет этот источник заблуждения людей, скрывающего от них эту истину и заставляющего их принимать призрак жизни, свою личную жизнь, за жизнь истинную.

Люди, живя в хозяйском обработанном саду, вообразили себе, что они собственники этого сада. И из этого ложного представления вытекает ряд безумных и жестоких поступков этих людей, кончающийся их изгнанием, исключением из жизни; точно так же мы вообразили себе, что жизнь каждого из нас есть наша личная собственность, что мы имеем право на нее и можем пользоваться ею, как хотим, ни перед кем не имея никаких обязательств. И для нас, вообразивших себе это, неизбежен такой же ряд безумных и жестоких поступков и несчастий; и такое же исключение из жизни. И как виноградарям кажется, что чем злее они будут, тем лучше обеспечат себя, – убьют послов и хозяйского сына, – так и нам кажется, что чем злее мы будем, тем будем обеспеченнее.

Как неизбежно кончается с виноградарями тем, что их, никому не дающих плодов сада, изгоняет хозяин, так точно кончается и с людьми, вообразившими себе, что жизнь личная есть настоящая жизнь. Смерть изгоняет их из жизни, заменяя их новыми; но не за наказание, а только потому, что люди эти не поняли жизни. Как обитатели сада или забыли, или не хотят знать того, что им передан сад окопанный, огороженный, с вырытым колодцем и что кто-нибудь да поработал на них и потому ждет и от них работы; так точно и люди, живущие личной жизнью, забыли или хотят забыть все то, что сделано для них прежде их рождения и делается во все время их жизни, и что поэтому ожидается от них; они хотят забыть то, что все блага жизни, которыми они пользуются, даны и даются и потому должны быть передаваемы или отдаваемы.

Эта поправка взгляда на жизнь есть краеугольный камень учения Христа, как он и сказал в конце этой притчи. По учению Христа, как виноградаря, живя в саду, не ими обработанном, должны понимать и чувствовать, что они в неоплатном долгу перед хозяином, так точно и люди должны понимать и чувствовать, что, со дня рождения и до смерти, они всегда в неоплатном долгу перед кем-то, перед жившими до них и теперь живущими и имеющими жить, и перед тем, что было и есть и будет началом всего. Они должны понимать, что всяким часом своей жизни, во время

которой они не прекращают этой жизни, они утверждают это обязательство и что потому человек, живущий для себя и отрицающий это обязательство, связывающее его с жизнью и началом ее, сам лишает себя жизни, должен понимать, что, живя так, он, желая сохранить свою жизнь, губит ее, – то самое, что много раз повторяет Христос.

Жизнь истинная есть только та, которая продолжает жизнь прошедшую, содействует благу жизни современной и благу жизни будущей.

* * *

Всякое осмысливание личной жизни, если она не основывается на отречении от себя для служения людям, человечеству – сыну человеческому, есть призрак, разлетающийся при первом прикосновении разума. В том, что моя личная жизнь погибает, а жизнь всего мира по воле Отца не погибает и что одно только слияние с ней дает мне возможность спасения, в этом я уж не могу усомниться.

Я заблудился в снежную метель. Один уверяет меня, и ему так кажется, что вот они – огоньки, вот и деревня; но это только так кажется и ему и мне, потому что нам этого хочется, а уж мы ходили на эти огоньки, и их не оказалось. А другой пошел по снегу: походил, вышел на дорогу и кричит нам: «Никуда не ездите, огоньки у вас в глазах, везде заблудитесь и пропадете, а вот крепкая дорога, и я стою на ней, она выведет нас». Это очень мало. Когда мы верили огонькам, мелькавшим в наших ошалелых глазах, была уже вот-вот и деревня, и теплая изба, и спасенье, и отдых, а тут только крепкая дорога. Но если послушаемся первого, наверно замерзнем, а если послушаемся второго, наверно выедем.

Итак, что же я должен делать, если я один понял учение Христа и поверил в него, один среди не понимающих и не исполняющих его?

Что мне делать? Жить, как все, или жить по учению Христа? Я понял учение Христа в его заповедях и вижу, что исполнение их дает блаженство и мне и всем людям мира. Я понял, что исполнение этих заповедей есть воля того начала всего, от которого произошла и моя жизнь.

Я понял, кроме того, что чтобы я ни делал, я неизбежно погибну бессмысленною жизнью и смертью со всем окружающим меня, если я не буду исполнять этой воли Отца, и что только в исполнении ее – единственная возможность спасения.

Делая, как все, я наверно противодействую благу всех людей, наверно делаю противное воле Отца жизни, наверно лишаю себя единственной возможности улучшить свое отчаянное положение. Делая то, чему Христос учит меня, я продолжаю то, что делали люди до меня: я содействую благу всех людей, теперь живущих, и тех, которые будут жить после меня, делаю то, что хочет от меня тот, кто произвел меня, и делаю то, что одно может спасти меня.

Горит цирк в Бердичеве, все жмутся и душат друг друга, напирая на дверь, которая отворится внутрь. Является спаситель и говорит: «Отступите от двери, вернитесь назад; чем больше вы напираете, тем меньше надежды спасения. Вернитесь, и вы найдете выход и спасетесь». Многие ли, один ли я услышал это и поверил – все равно; но, услышавши и поверивши, что же я могу сделать, как не то, чтобы пойти назад и звать всех на голос спасителя? Задушат, задавят, убьют меня – может быть; но спасение для меня все-таки лишь в том, чтобы идти туда, где единственный выход. И я не могу не идти туда. Спаситель должен быть точно Спаситель, то есть точно спасать. И спасение Христа есть точно спасение. Он явился, сказал – и человечество спасено.

Цирк горит час, и надо спешить, и люди могут не успеть спастись. Но мир горит уж 1800 лет, горит с тех пор, как Христос сказал: я огонь низвел на землю; и как томлюсь, пока он не разгорится, – и будет гореть, пока не спасутся люди. Не затем ли и люди, не затем ли и горит, чтобы люди имели блаженство спасения?

И, поняв это, я понял и поверил, что Иисус не только Мессия, Христос, но что он точно и Спаситель мира.

Я знаю, что выхода другого нет ни для меня, ни для всех тех, которые со мной вместе мучаются в этой жизни. Я знаю, что всем, и мне с ними вместе, нет другого спасения, как исполнять те заповеди Христа, которые дают высшее доступное моему пониманию благо всего человечества.

Больше ли у меня будет неприятностей, раньше ли я умру, исполняя учение Христа, мне не страшно. Это может быть страшно тому, кто не видит, как бессмысленна и погибельна его личная одинокая жизнь, и кто думает, что он не умрет. Но я знаю, что жизнь моя для личного одинокого счастья есть величайшая глупость и что после этой глупой жизни я непременно только глупо умру. И потому мне не может быть страшно. Я умру так же, как и все, так же, как и не исполняющие учения; но моя жизнь и смерть будут иметь смысл и для меня и для всех. Моя жизнь и смерть будут служить спасению и жизни всех, – а этому-то и учил Христос.

* * *

Исполни все люди учение Христа, и было бы царство Бога на земле; исполни я один – я сделаю самое лучшее для всех и для себя. Без исполнения учения Христа нет спасения.

«Но где взять веры для того, чтобы исполнять его, всегда следовать ему и никогда не отречься от него? Верую, Господи, помоги моему неверию».

Ученики просили Христа утвердить в них веру. «Хочу делать хорошее, и делаю дурное», – говорит апостол Павел.

«Трудно спастись» – так говорят и думают обыкновенно.

Человек тонет и просит о спасении. Ему подают веревку, которая одна может спасти его, и утопающий человек говорит: утвердите во мне веру, что веревка эта спасет меня. Верю, говорит человек, что веревка спасет меня, но помогите моему неверию.

Что это значит? Если человек не хватается за то, что спасает его, то это значит только то, что человек не понял своего положения.

Как может христианин, исповедующий Божественность Христа и его учения, как бы он ни понимал его, говорить, что он хочет верить и не может? Сам Бог, придя на землю, сказал: вам предстоят вечные мучения, огонь, вечная тьма кромешная, и вот спасенье вам – в моем учении и исполнении его. Не может такой христианин не верить в предполагаемое спасение, не исполнять его и говорить: «помоги моему неверию».

Для того чтобы человек мог сказать это, надо не только не верить в свою погибель, но надо верить в то, что он не погибнет.

Дети попрыгали с корабля в воду. Их еще держит течение, ненамокнутое платье и их слабые движения, и они не понимают своей погибели. Сверху из убегающего корабля выкинута им веревка. Им говорят, что они на верное погибнут, их умоляют с корабля (притчи: о женщине, нашедшей полушку; о пастухе, нашедшем пропавшую овцу; об ужине; о блудном сыне – говорят только про это); но дети не верят. Они не верят не веревке, а тому, что они погибают. Такие же легкомысленные дети, как и они, уверили их, что они всегда, когда и уйдет корабль, будут весело купаться. Дети не верят в то, что скоро платье их намочнет, ручки намахаются, что они станут задыхаться, захлебнутся и пойдут ко дну. В это они не верят, и только потому не верят в веревку спасения.

Как дети, упавшие с корабля, уверились в том, что они не погибнут, и оттого не берутся за веревку; так точно и люди, исповедующие бессмертие душ, уверились в том, что они не погибнут, и оттого не исполняют учение Христа-Бога. Они не верят в то, во что нельзя не верить, только потому, что они верят в то, во что нельзя верить.

И вот они взывают к кому-то: «Утверди в нас веру в то, что мы не погибнем».

Но этого невозможно сделать. Для того чтобы у них была вера в то, что они не погибнут, им надо перестать делать то, что их губит, и начать делать то, что их спасает, – им надо взяться за веревку спасения. А они не хотят этого сделать, а хотят увериться в том, что они не погибнут, несмотря на то, что на их глазах один за другим гибнут их товарищи. И это-то желание свое увериться в том, чего нет, они называют верой. Понятно, что им всегда мало веры и хочется иметь больше.

* * *

Мы говорим: «Трудно жить по учению Христа!» Да как же не трудно, когда мы сами старательно всей жизнью нашей скрываем от себя наше положение и старательно утверждаем в себе доверие к тому, что наше положение совсем не то, какое есть, а совершенно другое. И это – то доверие, назвав его верою, мы возводим во что-то священное и всеми средствами – насилием, действием на чувства, угрозами, лестью, обманом – заманиваем к этому ложному доверию. В этом требовании доверия к невозможному и неразумному мы доходим до того, что самую неразумность того, к чему мы требуем доверия, считаем признаком истинности.

Нашелся человек христианин, который сказал «верую, ибо это абсурдно», и другие христиане с восторгом повторяют это, предполагая, что нелепость есть самое лучшее средство для научения людей истине. Недавно в разговоре со мной один ученый и умный человек сказал мне, что христианское учение как нравственное учение о жизни не важно. «Все это, – сказал он мне, – можно найти у стоиков, у браминов, в Талмуде. Сущность христианского учения не в этом, а в теозофическом учении, выраженном в догматах». То есть не то дорого в христианском учении, что вечно и общечеловечно, что нужно для жизни и разумно, а важно и дорого в христианстве то, что совершенно не понятно и потому ненужно, и то, во имя чего побиты миллионы людей.

Мы составили себе ни на чем, кроме как на нашей злости и личных похотях основанное ложное представление о нашей жизни и о жизни мира, и веру в это ложное представление, связанное внешним образом с учением Христа, считаем самым нужным и важным для жизни. Не будь этого веками поддерживаемого людьми доверия ко лжи, ложь нашего представления о жизни и истина учения Христа обнаружилась бы давно.

Ужасно сказать (но мне иногда кажется): не будь вовсе учения Христа с церковным учением, выросшем на нем, то те, которые теперь называются христианами, были бы гораздо ближе к учению Христа, то есть к разумному учению о благе жизни, чем они теперь. Для них не были бы закрыты нравственные учения пророков всего человечества. У них были бы свои маленьки проповедники истины, и они верили бы им. Но теперь вся истина открыта, и вся истина эта показалась так страшна тем, чьи дела были злы, что они перетолковали ее в ложь, и люди потеряли доверие к истине. В нашем европейском обществе на заявление Христа, – что он пришел в мир для того, чтобы свидетельствовать о истине, и что потому всякий, кто – от истины, слышит его, на эти слова все давно уже отвечали себе словами Пилата: что есть истина? Эти слова, выражающие такую грустную и глубокую иронию над одним римлянином, мы приняли взаправду и сделали их своей верою. Все в нашем мире живут не только без истины, не только без желания узнать ее, но с твердой уверенностью, что из всех праздных занятий самое праздное есть искание истины, определяющей жизнь человеческую.

Учение о жизни – то, что у всех народов до нашего европейского общества всегда считалось самым важным, то, про что Христос говорил, что оно единое на потребу, – это – то одно исключено из нашей жизни и всей деятельности человеческой. Этим занимается учреждение, которое называется церковью и в которое никто, даже составляющие это учреждение, давно уже не верят.

Единственное окно для света, к которому обращены глаза всех мыслящих, страдающих, заслонено. На вопрос: что я, что мне делать, нельзя ли мне облегчить жизнь мою по учению того Бога, который, по нашим словам, пришел спасти нас? – мне отвечают: исполняй предписание властей и верь церкви. Но отчего же так дурно мы живем в этом мире? – спрашивает отчаянный голос; зачем все это зло, неужели нельзя моей своей жизнью не участвовать в этом зле? неужели нельзя облегчить это зло?

Отвечают: нельзя. Желание твое прожить жизнь хорошо и помочь в этом другим есть гордость, прелесть. Одно, что можно, – это спасти себя, свою душу для будущей жизни. Если же не хочешь участвовать в зле мира, то уйди из него. Путь этот открыт каждому, говорит учение церкви, но знай, что, избирая этот путь, ты должен не участвовать в жизни мира, а перестать жить и медленно сам убивать себя. Есть только два пути, говорят нам наши учителя: верить и повиноваться нам и властям и участвовать в том зле, которое мы учредили, или уйти из мира и идти в монастырь, не спать и не есть или на столбе гноить свою плоть, сгибаться и разгибаться и ничего не делать для людей; или признать учение Христа неисполнимым и потому признать освещенную религией беззаконность жизни; или отречься от жизни, что равносильно медленному самоубийству.

* * *

Мы уверились в том, что все те несчастья, которые мы сами себе делаем, суть необходимые условия нашей жизни, и потому не можем понять, что Христос учит именно тому, как нам избавиться от наших несчастий и жить счастливо.

Чтобы быть в состоянии обсудить вопрос о том, какая жизнь счастливее, нам надо хоть мысленно отрешиться от этого ложного представления и без предвзятой мысли оглянуться на себя и вокруг себя.

Пройдите по большой толпе людей, особенно городских, и взгляните в эти истомленные, тревожные, больные лица и потом вспомните свою жизнь и жизнь людей, подробности которой вам довелось узнать; вспомните все те насильственные смерти, все те самоубийства, о которых вам довелось слышать, и спросите: во имя чего все эти страдания, смерти и отчаяния, приводящие к самоубийствам? И вы увидите, как ни странно это кажется сначала, что девять десятых страданий людей несутся ими во имя учения мира, что все эти страдания не нужны и могли бы не быть, что большинство людей – мученики учения мира.

На днях, в осеннее дождливое воскресенье, я проехал по конке через базар Сухаревой башни. На протяжении полуверсты карета раздвигала сплошную толпу людей, тотчас же сдвигавшуюся сзади. С утра до вечера эти тысячи людей, из которых большинство голодные и оборванные, толкуются здесь в грязи, ругая, обманывая и ненавидя друг друга. То же происходит на всех базарах Москвы. Вечер люди эти проведут в кабаках и трактирах. Ночь – в своих углах и конурах. Воскресенье – это лучший день их недели. С понедельника в своих зараженных конурах они опять возьмутся за постылую работу.

Вдумайтесь в жизнь этих людей, в то положение, которое они оставили, чтобы избрать то, в которое они сами себя поставили, и вдумайтесь в тот неустанный труд, который вольно несут эти люди, – мужчины и женщины, – и вы увидите, что это – истинные мученики.

Все эти люди побросали дома, поля, отцов, братьев, часто жен и детей, – отреклись от всего, даже от самой жизни, и пришли в город для того, чтобы приобрести то, что, по учению мира, считается для каждого из них необходимым. И все они, не говоря уж о тех десятках тысяч несчастных людей, потерявших все и перебивающихся требухой и водкой в ночлежных домах, – все, начиная от фабричного, извозчика, швеи, проститутки до богача-купца и министра и их жен, все несут самую тяжелую, неестественную жизнь и не приобрели того, что считается для них нужным по учению мира.

Поищите между этими людьми и найдите, от бедняка до богача, человека, которому бы хватало то, что он зарабатывает, на то, что он считает нужным, необходимым по учению мира, и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу. Всякий бьется изо всех сил, чтобы приобрести то, что не нужно для него, но что требуется от него учением мира и отсутствие чего составляет его несчастье. И как только он приобретет то, что требуется, от него потребуются еще другое, и еще другое, и так без конца идет эта Сизифова работа, губящая жизни людей.

Возьмите лестницу состояний от людей, проживающих в год триста рублей до пятидесяти тысяч, и вы редко найдете человека, который бы не был измучен, истомлен работой для приобретения 400, когда у него 300, и 500, когда у него 400, и так без конца. И нет ни одного, который бы, имея 500, добровольно перешел на жизнь того, у которого 400. Если и есть такие примеры, то и этот переход он делает не для того, чтобы облегчить свою жизнь, а для того, чтобы собрать деньги и спрятать. Всем нужно еще и еще отягчать трудом свою и так уже отягченную жизнь и душу свою без остатка отдать учению мира. Нынче приобрел поддевку и калоши, завтра – часы с цепочкой, послезавтра – квартиру с диваном и лампой, после – ковры в гостинную и бархатные одежды, после – дом, рысаков, картины в золотых рамах, после – заболел от непосильного труда и умер. Другой продолжает ту же работу и так же отдает жизнь тому же Молоху, так же умирает и так же сам не знает, зачем он делал все это.

* * *

Но, может быть, сама эта жизнь, во время которой человек делает все это, сама в себе счастлива?

Прикиньте эту жизнь на мерку того, что всегда все люди называют счастьем, и вы увидите, что эта жизнь ужасно несчастлива. В самом деле, какие главные условия земного счастья – такие, о которых никто спорить не будет?

Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с природой, то есть жизнь под открытым небом, при свете солнца, при свежем воздухе; общение с землей, растениями, животными. Всегда все люди считали лишение этого большим несчастьем. Заключение в тюрьмах сильнее всего чувствуют это лишение. Посмотрите же на жизнь людей, живущих по учению мира: чем большего они достигли успеха по учению мира, тем больше они лишены этого условия счастья. Чем выше то мирское счастье, которого они достигли, тем меньше они видят свет солнца, поля и леса, диких и домашних животных. Многие из них – почти все женщины – доживают до старости, раз или два в жизни увидав восход солнца и утро и никогда не видав полей и лесов иначе, как из коляски или из вагона, и не только не посеяв и не посадив чего-нибудь, не вскормив и не воспитав коровы, лошади, курицы, но не имея даже понятия о том, как рождаются, растут и живут животные.

Люди эти видят только ткани, камни, дерево, обделанное людским трудом, и то не при свете солнца, а при искусственном солнце; слышат они только звуки машин, экипажей, пушек, музыкальных инструментов; обоняют они спиртовые духи и табачный дым; под ногами и руками у них только ткани, камень и дерево; едят они по слабости своих желудков большей частью несвежее и вонючее.

Переезды их с места на место не спасают их от этого лишения. Они едут в закрытых ящиках. И в деревне, и за границей, куда они уезжают, у них те же камни и дерево под ногами, те же гардины, скрывающие от них свет солнца; те же лакеи, кучера, дворники, не допускающие их до общения с землей, растениями и животными. Где бы они ни были, они лишены, как заключенные, этого условия счастья. Как заключенные утешаются травкою, выросшей на тюремном дворе, пауком, мышью, так и эти люди утешаются иногда чахлыми комнатными растениями, попугаем, собачкой, обезьяной, которых все-таки растят и кормят не они сами.

Другое несомненное условие счастья есть труд, во-первых, любимый и свободный труд, во-вторых, труд физический, дающий аппетит и крепкий, успокаивающий сон. Опять, чем большего, по-своему, счастья достигли люди по учению мира, тем больше они лишены и этого другого условия счастья. Все счастливыцы мира – сановники и богачи или, как заключенные, вовсе лишены труда и безуспешно борются с болезнями, происходящими от отсутствия физического труда, и еще более безуспешно со скукой, одолевающей их (я говорю: безуспешно – потому что работа только тогда радостна, когда она несомненно нужна; а им ничего не нужно), или работают ненавистную им работу, как банкиры, прокуроры, губернаторы, министры и их жены, устраивающие гостиные, посуды, наряды себе и детям. (Я говорю: ненавистную – потому, что никогда еще не встретил из них человека, который хвалил бы свою работу и делал бы ее хоть с таким же удовольствием, с каким дворник очищает снег перед домом.) Все эти счастливыцы или лишены работы, или приставлены к нелюбимой работе, то есть находятся в том положении, в котором находятся каторжные.

* * *

Третье несомненное условие счастья – есть семья. И опять, чем дальше ушли люди в мирском успехе, тем меньше им доступно это счастье. Большинство – прелюбодеи и сознательно отказываются от радостей семьи, подчиняясь только ее неудобствам. Если же они и не прелюбодеи, то дети для них не радость, а обуза, и они сами себя лишают их, стараясь всякими, иногда самыми мучительными средствами сделать совокупление бесплодным.

Если же у них есть дети, они лишены радости общения с ними. Они по своим законам должны отдавать их чужим, большей частью совсем чужим, сначала иностранцам, а потом казенным воспитателям, так что от семьи имеют только горе – детей, которые смолodu становятся так же несчастны, как родители, и которые по отношению к родителям имеют одно чувство – желание их смерти для того, чтобы наследовать им.

Они не заперты в тюрьме, но последствия их жизни по отношению к семье мучительнее того лишения семьи, которому подвергаются заключенные.

Четвертое условие счастья есть свободное, любовное общение со всеми разнообразными людьми мира. И опять, чем высшей ступени достигли люди в мире, тем больше они лишены этого главного условия счастья. Чем выше, тем теснее тот

кружок людей, с которыми возможно общение, и тем ниже по своему умственному и нравственному развитию те несколько людей, составляющих этот заколдованный круг, из которого нет выхода.

Для мужика и его жены открыто общение со всем миром людей, и если один миллион людей не хочет общаться с ним, у него остается 80 миллионов таких же, как он, рабочих людей, с которыми он от Архангельска до Астрахани, не дожидаясь визита и представления, тотчас же входит в самое близкое братское общение.

Для чиновника с его женой есть сотни людей равных ему, но высшие не допускают его до себя, а низшие все отрезаны от него. Для светского богатого человека и его жены есть десятки светских семей. Остальное все отрезано от них. Для министра и богача и их семей – есть один десяток таких же важных или богатых людей, как и они. Для императоров и королей кружок делается еще менее. – Разве это не тюремное заключение, при котором для заключенного возможно общение только с двумя-тремя тюремщиками?

Наконец, пятое условие счастья есть здоровье и безболезненная смерть. И опять, чем выше люди на общественной лестнице, тем более они лишены этого условия счастья. Возьмите среднего богача и его жену и среднего крестьянина и его жену, несмотря на весь голод и непомерный труд, который, не по своей вине, но по жестокости людей, несет крестьянство, и сравните их. И вы увидите, что чем ниже, тем здоровее, и чем выше, тем болезненнее мужчины и женщины.

Переберите в своей памяти тех богачей и их жен, которых вы знаете и знали, и вы увидите, что большинство больные. Из них здоровый человек, не лечащийся постоянно или периодически летом, – такое же исключение, как больной в рабочем сословии.

Все эти счастливицы без исключения начинают онанизмом, сделавшимся в их быту естественным условием развития; все беззубые, все седые или плешивые бывают в те года, когда рабочий человек начинает входить в силу. Почти все одержимы нервными, желудочными и половыми болезнями от объедения, пьянства, разврата и лечения, и те, которые не умирают молодыми, половину своей жизни проводят в лечении, в впрыскивании морфина или обрюзгшими калекками, не способными жить своими средствами, но могущими жить только как паразиты или те муравьи, которых кормят их рабы.

Переберите их смерти: кто застрелился, кто сгнил от сифилиса, кто стариком умер от комфорта, кто молодым умер от сечения, которому он сам подверг себя для возбуждения, кого живого съели вши, кого – черви, кто спился, кто объелся, кто от морфина, кто от искусственного выкидыша. Один за другим они гибнут во имя учения мира. И толпы лезут за ними и, как мученики, ищут страданий и гибели.

Одна жизнь за другую бросается под колесницу этого бога: колесница проезжает, раздирая их жизни, и новые и новые жертвы со стонами и воплями и проклятиями валяются под нее!

* * *

Поколения за поколениями мы трудимся над обеспечением своей жизни посредством насилия и упрочения своей собственности. Счастье нашей жизни представляется нам в наибольшей власти и наибольшей собственности. Мы так привыкли к этому, что учение Христа о том, что счастье человека не может зависеть от власти и имени, что богатый не может быть счастлив, представляется нам требованием жертвы во имя будущих благ. Христос же и не думает призывать нас к жертве, он, напротив, учит нас не делать того, что хуже, а делать то, что лучше для нас здесь, в этой жизни. Христос, любя людей, учит их воздержанию от обеспечения себя насилием и от собственности так же, как, любя людей, учит их воздержанию от драки и пьянства.

Он говорит, что, живя без отпора другим и без собственности, люди будут счастливее, и своим примером жизни подтверждает это. Он говорит, что человек, живущий по его учению, должен быть готов умереть во всякую минуту от насилия другого, от холода и голода, и не может рассчитывать ни на один час своей жизни. И нам кажется это страшным требованием каких-то жертв; а это только утверждение тех условий, в которых всегда неизбежно живет всякий человек.

Ученик Христа должен быть готов во всякую минуту на страдания и смерть. Но

ученик мира разве не в том же положении? Мы так привыкли к нашему обману, что все, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни: наши войска, крепости, наши запасы, наши одежды, наши лечения, все наше имущество, наши деньги, кажется нам чем-то действительно, серьезно обеспечивающим нашу жизнь. Мы забываем то, что очевидно каждому, то, что случилось с тем, который задумал построить житницы, чтобы обеспечить себя надолго: он умер в ту же ночь. Ведь все, что мы делаем для обеспечения нашей жизни, совершенно то же, что делает страус, останавливаясь и пряча голову, чтобы не видать, как его убивают. Мы делаем хуже страуса: чтобы сомнительно обеспечить не нашу сомнительную жизнь в сомнительном будущем, мы наверно губим нашу верную жизнь в верном настоящем.

Обман состоит в ложном убеждении, что жизнь наша может быть обеспечена нашей борьбой с другими людьми. Мы так привыкли к этому обману мнимого обеспечения своей жизни и своей собственности, что и не замечаем всего, что мы теряем из-за него. А теряем мы все – всю жизнь. Вся жизнь поглощается заботой об этом обеспечении жизни, приготовлением к ней, так что жизни совсем не остается.

Ведь стоит на минуту отрешиться от своей привычки и взглянуть на нашу жизнь со стороны, чтобы увидеть, что все, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни, мы делаем совсем не для того, чтобы обеспечить нашу жизнь, а только для того, чтобы, занимаясь этим, забывать о том, что жизнь никогда не обеспечена и не может быть обеспечена. Но мало того, что мы обманываем себя и губим свою настоящую жизнь для воображаемой, мы в этом стремлении к обеспечению чаще всего губим то самое, что мы хотим обеспечить.

Богач обеспечивает свою жизнь тем, что у него есть деньги. И самые деньги привлекают разбойника, который убивает его. Мнительный человек обеспечивает свою жизнь лечением, и самое лечение медленно убивает его, а если и не убивает его, то наверно лишает его жизни, как того расслабленного, который не жил 38 лет, а дожидался ангела у купели.

* * *

Ни один цивилизованный передовой человек теперь не в состоянии дать ответ на прямой вопрос: зачем ты живешь тою жизнью, которой ты живешь? Зачем делаешь все то, что ты делаешь? Я пробовал спрашивать об этом и спрашивал у сотен людей, и никогда не получал прямого ответа. Всегда, вместо прямого ответа на личный вопрос: зачем ты так живешь и так делаешь, всегда я получал ответ не на мой вопрос, а на вопрос, которого я не делал.

Верующий католик, протестант, православный на вопрос: зачем он живет так, как он живет, то есть противно тому учению Христа-Бога, которое он исповедует? – всегда вместо прямого ответа начинает говорить о плачевном состоянии безверия нынешнего поколения, о злых людях, производящих безверие, и о значении и будущности истинной церкви. Но почему он сам не делает того, что велит ему вера, он не отвечает. Вместо ответа о себе он говорит об общем состоянии человечества и о церкви, словно его собственная жизнь не имеет для него никакого значения, а он занят только спасением всего человечества и тем, что он называет церковью.

Философ, какого бы он ни был толка – идеалист, спиритуалист, пессимист, позитивист, – на вопрос: зачем он живет так, как он живет, то есть несогласно со своим философским учением? – всегда вместо ответа на этот вопрос заговорит о прогрессе человечества, о том историческом законе этого прогресса, который он нашел и по которому человечество стремится к благу. Но он никогда прямо не ответит на вопрос: почему он сам в своей жизни не делает того, что считает разумным? Философ, так же как и верующий, как будто озабочен не своею личной жизнью, а только наблюдением над общими законами всего человечества.

Средний человек, огромное большинство полуверующих, полуневверующих цивилизованных людей, тех, которые всегда без исключения жалуются на свою жизнь и на устройство нашей жизни и предвидят погибель всему, – этот средний человек на вопрос: зачем он сам живет этой осуждаемой им жизнью и ничего не делает, чтобы улучшить ее? – всегда вместо прямого ответа начнет говорить не о себе, а о чем-нибудь общем: о правосудии, о торговле, о государстве, о цивилизации.

Если он городской или прокурор, он скажет: «А как же пойдет государственное дело, если я, чтобы улучшить свою жизнь, перестану участвовать в нем?» «А как же торговля?» – скажет он, если он торговый человек. «А как же цивилизация, если я для улучшения своей жизни не буду содействовать ей?»

Он скажет всегда так, как будто задача его жизни состоит не в том, чтобы делать то благо, к которому он всегда стремится, а в том, чтобы служить государству, торговле, цивилизации. Средний человек отвечает точь-в-точь то же, что и верующий философ. Он на место личного вопроса подставляет общий, а подставляет его и верующий, и философ, и средний человек потому, что у него нет никакого ответа на личный вопрос жизни, потому что у него нет никакого настоящего учения о жизни.

Можно жить по учению мира, то есть животную жизнью, не признавая ничего выше и обязательней предписаний существующей власти. Но кто живет так, не может же утверждать, что живет разумно. Прежде чем утверждать, что мы живем разумно, надо ответить на вопрос: какое учение о жизни мы считаем разумным? А у нас, несчастных, не только нет никакого такого учения, но потеряно даже и сознание в необходимости какого-нибудь разумного учения о жизни.

Спросите у людей нашего времени, верующих или неверующих: какому они учению следуют в жизни? Они должны будут сознаться, или законодательные собрания и приводит в исполнение – полиция. Это – единственное учение, которое признают наши европейские люди. Они знают, что учение это не от неба, не от пророков и не от мудрых людей; они постоянно осуждают постановления этих чиновников или законодательных собраний, но все-таки признают это учение и повинуются исполнителям его – полиции, повинуются безропотно в самых страшных требованиях ее. Написали чиновники или собрания, что всякий молодой человек должен быть готов на поругание, смерть и на убийство других, и все отцы и матери, вырастившие сыновей, повинуются такому закону, написанному вчера продажным чиновником и завтра могущему быть измененным.

Нормальным состоянием, свойственным образованному человеку, считается то, чтобы повиноваться тому, что заведомо пишется презируемыми людьми и приводится в исполнение городским с пистолетом, тому, что каждым или по крайней мере большинством этих людей считается неправильным, то есть противным их совести.

* * *

С нашим столь внешне самоуверенным, смелым, решительным и в глубине сознания испуганным и растерянным европейским миром происходит то же, что бывает с только что родившимся детенышем: он мечется, суется, кричит, толкается, точно сердится, и не может понять, что ему делать. Он чувствует, что источник прежнего питания его иссяк, но не знает еще, где искать новый.

Только что родившийся ягненок и глазами и ушами водит, и хвостом трясет, и прыгает, и брыкается. Нам кажется по его решительности, что он все знает, а он, бедный, ничего не знает. Вся эта решительность и энергия – плод соков матери, передача которых только что прекратилась и не может уже возобновиться. Он – в блаженном и вместе в отчаянном положении. Он полон свежести и силы; но он пропал, если не возьмется за соски матери.

То же самое происходит и с нашим европейским миром. Посмотрите, какая сложная, как будто разумная, какая энергическая жизнь кипит в европейском мире. Как будто все эти люди знают все, что они делают и зачем они все это делают. Посмотрите, как решительно, молодо, бодро люди нашего мира делают все, что делают. Искусства, науки, промышленность, общественная, государственная деятельность – все полно жизни. Но все это живо только потому, что питалось недавно еще соками матери через пуповину. Была церковь, которая проводила разумное учение Христа в жизнь мира. Каждое явление мира питалось им и росло, и выросло. Но церковь сделала свое дело и отсохла. Все органы мира живут; источник их прежнего питания прекратился, нового же они еще не нашли; и они ищут его везде, только не у матери, от которой они только что освободились. Они, как ягненок, пользуются еще прежней пищей, но не пришли еще к тому, чтобы понять, что эта пища опять только у матери, но только иначе, чем прежде, может быть передана им.

Дело, которое предстоит теперь миру, состоит в том, чтобы понять, что процесс прежнего бессознательного питания пережит и что необходим новый, сознательный процесс питания.

Этот новый процесс состоит в том, чтобы сознательно принять те истины учения христианского, которые прежде бессознательно вливались в человечество через орган церкви и которыми теперь живо еще человечество. Люди должны вновь поднять тот

свет, которым они жили, но который скрыт был от них, и высоко поставить его перед собою и людьми и сознательно жить этим светом.

Учение Христа как религия, определяющая жизнь и дающая объяснение жизни людей, стоит теперь так же, как оно 1800 лет тому назад стояло перед миром. Но прежде у мира были объяснения церкви, которые, заслоняя от него учение, все-таки казались ему достаточными для его старой жизни; а теперь настало время, что церковь отжила, и мир не имеет никаких объяснений своей новой жизни и не может не чувствовать своей беспомощности, а потому и не может теперь не принять учения Христа.

* * *

Христос прежде всего учит тому, чтобы люди верили в свет, пока свет есть в них. Христос учит тому, чтобы люди выше всего ставили этот свет разума, чтобы жили сообразно с ним, не делали бы того, что они сами считают неразумным. Считаете неразумным идти убивать турок или немцев – не ходите; считаете неразумным насилием отбирать труд бедных людей для того, чтобы надевать цилиндр или затягиваться в корсет, или сооружать затрудняющую вас гостиную – не делайте этого; считаете неразумным развращенных праздностью и вредным сообществом сажать в остроги, то есть в самое вредное сообщество и самую полную праздность, – не делайте этого; считаете неразумным жить в зараженном городском воздухе, когда можете жить на чистом; считаете неразумным учить детей прежде и больше всего грамматикам мертвых языков – не делайте этого. Не делайте только того, что делает теперь весь наш европейский мир: жить и не считать разумным свою жизнь, делать и не считать разумными свои дела, не верить в свой разум, жить несогласно с ним.

Учение Христа есть свет. Свет светит, и тьма не обнимает его. Нельзя не принимать света, когда он светит. С ним нельзя спорить, нельзя с ним не соглашаться. С учением Христа нельзя не согласиться потому, что оно обнимает все заблуждения, в которых живут люди, и не сталкивается с ними и, как эфир, про который говорят физики, проникает всех их. Учение Христа одинаково неизбежно для каждого человека нашего мира, в каком бы он ни был состоянии. Учение Христа не может не быть принято людьми не потому, что нельзя отрицать то метафизическое объяснение жизни, которое оно дает (отрицать все можно), но потому, что только оно одно дает те правила жизни, без которых не жило и не может жить человечество, не жил и не может жить ни один человек, если он хочет жить, как человек, то есть разумною жизнью.

Сила учения Христа не в его объяснении смысла жизни, а в том, что вытекает из него – в учении о жизни. Метафизическое учение Христа не новое. Это все одно и то же учение человечества, которое написано в сердцах людей и которое проповедовали все истинные мудрецы мира. Но сила учения Христа – в приложении этого метафизического учения к жизни.

Метафизическая основа древнего учения евреев и Христа – одна и та же: любовь к Богу и ближнему. Но приложение этого учения к жизни по Моисею и по закону Христа – весьма различно. По закону Моисея, как его понимали евреи, для приложения его к жизни требовалось исполнение шестисот тринадцати заповедей, часто бессмысленных, жестоких и таких, которые все основывались на авторитете Писания. По закону Христа, учение о жизни, вытекающее из той же метафизической основы, выражено в пяти заповедях, разумных, благих и носящих в самих себе свой смысл и свое оправдание и обнимающих всю жизнь людей.

Учение Христа не может не быть принято теми верующими иудеями, буддистами, магометанами и другими, которые усомнились бы в истинности своего закона; еще менее – оно не может не быть принято людьми нашего, христианского мира, которые не имеют теперь никакого нравственного закона.

Учение Христа не спорит с людьми нашего мира о их мирозерцании, оно вперед соглашается с ним и, включая его в себя, дает им то, чего у них нет, что им необходимо и чего они ищут: оно дает им путь жизни и притом не новый, а давно знакомый и родной им всем.

* * *

Вы – верующий христианин, какого бы то ни было исповедания. Вы верите в сотворение мира, в Троицу, в падение и искупление человека, в таинства, молитвы, в церковь. Христово учение не только не спорит с вами, но вполне соглашается с

вашим мирозерцанием, оно только дает вам то, чего у вас нет. Сохраняя вашу теперешнюю веру, вы чувствуете, что жизнь мира и жизнь ваша – исполнена зла и вы не знаете, как избежать его.

Учение Христа (обязательное для вас, потому что оно есть учение вашего Бога), дает вам простые, исполнимые правила жизни, которые избавят и вас и других людей от того зла, которое мучит вас. Верьте в воскресение, в рай, в ад, в папу, в церковь, в таинства, в искупление, молитесь, как это требуется по вашей вере, говейте, пойте псалмы – все это не мешает вам исполнять то, что открыто Христом для вашего блага: не сердитесь, не блудите, не клянитесь, не защищайтесь насилием, не воюйте.

Может случиться, что вы не исполните какого-нибудь из этих правил, вы увлечетесь и нарушите одно из них так же, как вы нарушаете теперь в минуты увлечения правила вашей веры, правила закона гражданского или законов приличия. Так же вы отступите, может быть, в минуты увлечения и от правил Христа. Но в спокойные минуты не делайте того, что вы теперь делаете, – устраивайте жизнь не такую, при которой трудно не сердиться, не блудить, не клясться, не защищаться, не воевать, а такую, при которой трудно было это делать. Вы не можете не признать этого, потому что Бог велел вам это.

Вы – неверующий философ какого бы то ни было толка. Вы говорите, что все происходит в мире по закону, который вы открыли. Христово учение не спорит с вами и признает вполне открытый вами закон. Но ведь помимо этого вашего закона, по которому через тысячелетия настанет то благо, которое вы желаете и приготовили для человечества, есть еще ваша личная жизнь, которую вы можете прожить или согласно с разумом, или противно ему; а для этой-то вашей личной жизни у вас теперь и нет никаких правил, кроме тех, которые пишутся не уважаемыми вами людьми и приводятся в исполнение полицейскими. Учение Христа дает вам такие правила, которые наверно сходятся с вашим законом, потому что ваш закон альтруизма или единой воли есть не что иное, как дурная перифраза того же учения Христа.

Вы – средний человек, полуверующий, полуневверующий, не имеющий времени углубляться в смысл человеческой жизни; и у вас нет никакого определенного мирозерцания, вы делаете то, что делают все. Христово учение не спорит с вами. Оно говорит: хорошо, вы не способны рассуждать, поверять истинность преподаваемого вам учения, вам легче поступать зауряд со всеми; но как бы скромны вы ни были, вы все-таки чувствуете в себе того внутреннего судью, который иногда одобряет ваши поступки, согласные со всеми, иногда не одобряет их. Как бы ни скромна была ваша доля, вам приходится все-таки задумываться и спрашивать себя: так ли мне поступить, как все, или по-своему? В таких именно случаях, то есть когда вам представится надобность решить такой вопрос, правила Христа и предстанут перед вами во всей своей силе. И правила эти наверно дадут вам ответ на ваш вопрос, потому что они обнимают всю вашу жизнь, и они ответят вам согласно с вашим разумом и вашей совестью. Если вы ближе к вере, чем к неверию, то, поступая таким образом, вы поступаете по воле Бога; если вы ближе к свободомыслию, то вы, поступая так, поступаете по самым разумным правилам, какие существуют в мире, в чем вы сами убедитесь, потому что правила Христа сами в себе несут свой смысл и свое оправдание.

* * *

Я верю в учение Христа и вот в чем моя вера.

Я верю, что благо мое возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа.

Я верю, что исполнение этого учения возможно, легко и радостно.

Я верю, что и до тех пор, пока учение это не исполняется, что если бы я был даже один среди всех неисполняющих, мне все-таки ничего другого нельзя делать для спасения своей жизни от неизбежной гибели, как исполнять это учение, как ничего другого нельзя делать тому, кто в горящем доме нашел дверь спасения.

Я верю, что жизнь моя по учению мира была мучительна и что только жизнь по учению Христа дает мне в этом мире то благо, которое предназначил мне Отец жизни.

Я верю, что учение это дает благо всему человечеству, спасает меня от неизбежной гибели и дает мне здесь наибольшее благо. А потому я не могу не исполнять его.

Закон дан через Моисея, а благо и истина – через Иисуса Христа (Иоанна, I, 17). Учение Христа есть благо и истина. Прежде, не зная истины, я не знал и блага. Принимая зло за благо, я впадал во зло и сомневался в законности моего стремления к благу. Теперь же я понял и поверил, что благо, к которому я стремлюсь, есть воля отца, есть самая законная сущность моей жизни.

Христос сказал мне: живи для блага, только не верь тем ловушкам-соблазнам, которые, заманивая тебя подобием блага, лишают этого блага и уловляют во зло. Благо твое есть твое единство со всеми людьми, зло есть нарушение единства сына человеческого. Не лишай себя сам того блага, которое дано тебе.

Христос показал мне, что единство сына человеческого, любовь людей между собой не есть, как мне прежде казалось, цель, к которой должны стремиться люди, но что это единство, эта любовь людей между собой есть их естественное блаженное состояние, то, в котором рождаются дети, по словам его, и то, в котором живут всегда все люди до тех пор, пока состояние это не нарушается обманом, заблуждением, соблазнами.

Но Христос не только показал мне это, но он ясно, без возможности ошибки перечислил мне в своих заповедях все до одного соблазны, лишавшие меня этого естественного состояния единства, любви и блага и уловлявшие меня во зло. Заповеди Христа дают мне средство спасения от соблазнов, лишавших меня моего блага, и потому я не могу не верить в эти заповеди.

Мне дано благо жизни, а я сам губил его. Христос показал мне своими заповедями те соблазны, которыми я гублю свое благо, а потому я и не могу делать того, что губит мое благо. В этом и в этом одном вся моя вера.

* * *

Христос показал мне, что первый соблазн, губящий мое благо, есть моя вражда с людьми, мой гнев на них. Я не могу не верить в это, и потому не могу уже сознательно враждовать с другими людьми, не могу, как я делал это прежде, радоваться на свой гнев, гордиться им, разжигать, оправдывать его признанием себя важным и умным, а других людей ничтожными – потерянными и безумными; не могу уже теперь при первом напоминании о том, что я не поддаюсь гневу, не признавать себя одного виноватым и не искать примирения с теми, кто враждует со мною.

Но этого мало. Если я знаю теперь, что гнев мой есть неестественное, вредное для меня болезненное состояние, то я знаю еще, какой соблазн приводил меня в него. Этот соблазн состоял в том, что я отделял себя от других людей, признавая только некоторых из них равными себе, а всех остальных – ничтожными или глупыми и необразованными.

Я вижу теперь, что это отделение себя от людей и признание других за ничтожных и безумных было главной причиной моей вражды с людьми. Вспоминая свою прежнюю жизнь, я вижу теперь, что я никогда не позволял разгораться своему враждебному чувству на тех людей, которых считал выше себя, и никогда не оскорблял их; но зато малейший неприятный для меня поступок человека, которого я считал ниже себя, вызывал мой гнев на него и оскорбление, и чем выше я считал себя перед таким человеком, тем легче я оскорблял его; иногда даже одна воображаемая мною низкость положения человека уже вызывала с моей стороны оскорбление ему.

Теперь же я понимаю, что выше других людей будет стоять только тот, кто унизит себя перед другими, кто будет всем слугою. Я понимаю теперь, почему то, что высоко перед людьми, есть мерзость перед Богом, и почему горе богатым и прославляемым, и почему блаженны нищие и униженные. Только теперь я понимаю это и верю в это, и вера эта изменила всю мою оценку хорошего и высокого, дурного и низкого в жизни.

Все, что прежде казалось мне хорошим и высоким – почести, слава, образование, богатство, сложность и утонченность жизни, обстановки, пищи, одежды, внешних приемов, – все это стало для меня дурным и низким. Все же, что казалось дурным и низким – мужичество, неизвестность, бедность, грубость, простота обстановки, пищи, одежды, приемов, – все это стало для меня хорошим и высоким.

А потому, если и теперь, зная все это, я могу в минуту забвения отдаться гневу и оскорбить брата, то в спокойном состоянии я не могу уже служить тому соблазну, который, возвышая меня над людьми, лишал меня моего истинного блага – единства и любви, как не может человек устраивать сам для себя ловушку, в которую он попал прежде и которая чуть не погубила его.

Теперь я не могу содействовать ничему тому, что внешне возвышает меня над людьми, отделяет от них; не могу, как я прежде это делал, признавать ни за собой, ни за другими никаких званий, чинов и наименований, кроме звания и имени человека; не могу искать славы и похвалы, не могу искать таких знаний, которые отделяли бы меня от других, не могу не стараться избавиться от своего богатства, отделяющего меня от людей, не могу в жизни своей, в обстановке ее, в пище, в одежде, во внешних приемах не искать всего того, что не разъединяет меня, а соединяет с большинством людей.

* * *

Христос показал мне, что другой обман, губящий мое благо, есть блудная похоть, то есть похоть к другой женщине, а не той, с которой я сошелся. Я не могу не верить в это и потому не могу, как я делал это прежде, признавать блудную похоть естественным и возвышенным свойством человека; не могу оправдывать ее перед собой моей любовью к красоте, влюбленностью или недостатками своей жены; не могу уже при первом напоминании о том, что поддаюсь блудной похоти, не признавать себя в болезненном, неестественном состоянии и не искать всяких средств, которые могли бы избавить меня от этого зла.

Но, зная теперь, что блудная похоть есть зло для меня, я знаю еще и тот соблазн, который вводил меня прежде в него, и потому не могу уже служить ему. Я знаю теперь, что главная причина соблазна не в том, что люди не могут воздержаться от блуда, а в том, что большинство мужчин и женщин оставлено теми, с которыми они сошлись с начала. Я знаю теперь, что всякое оставление мужчины или женщины, которые сошлись в первый раз, и есть тот самый развод, который Христос запрещает людям потому, что оставленные первыми супругами мужа и жены вносят весь разврат в мир.

Вспоминая то, что меня вводило в блуд, я вижу теперь, что, кроме того дикого воспитания, при котором и физически и умственно разжигалась во мне блудная похоть и оправдывалась всеми изощрениями ума, главный соблазн, уловлявший меня, заключался в оставлении мною той женщины, с которой я сошелся сначала, и в состоянии оставленных женщин, со всех сторон окружавших меня.

Я вижу теперь, что главная сила соблазна была не в моей похоти, а в неудовлетворенности похоти моей и тех оставленных женщин, которые со всех сторон окружали меня. Я понимаю теперь слова Христа: Бог сотворил вначале человека – мужчиной и женщиной, так чтобы два были одно, и что поэтому человек не может и не должен разъединять то, что соединил Бог. Я понимаю теперь, что единобрачие есть естественный закон человечества, который не может быть нарушаем. Я понимаю теперь вполне слова о том, что тот, кто разводится с женою, то есть с женщиной, с которой он сошелся сначала, для другой, заставляет ее распутничать и вносит сам против себя новое зло в мир.

Я верю в это, и вера эта изменяет всю мою прежнюю оценку хорошего и высокого, дурного и низкого в жизни. То, что прежде мне казалось самым хорошим – утонченная, изящная жизнь, страстная и поэтическая любовь, восхваляемая всеми поэтами и художниками, – все это представилось мне дурным и отвратительным.

Наоборот, хорошим представились мне: трудовая, скудная, грубая жизнь, умеряющая похоть; высоким и важным представилось мне не столько человеческое учреждение брака, накладывающее внешнюю печать законности на известное соединение мужчины и женщины, сколько самое соединение всякого мужчины и женщины, которое, раз совершившись, не может быть нарушено без нарушения воли Бога. Если я и теперь могу в минуту забвения подпасть блудной похоти, то не могу уже, зная тот соблазн, который вводил меня в это зло, служить ему, как я делал это прежде.

Я не могу желать и искать физической праздности и жирной жизни, разжигавшей во мне чрезмерную похоть; не могу искать тех разжигающих любовную похоть потех – романов, стихов, музыки, театров, балов, которые прежде представлялись мне не только не вредными, но очень высокими увеселениями; не могу оставлять своей

жены, зная, что оставление ее есть первая ловушка для меня, для нее и для других; не могу содействовать праздной и жирной жизни других людей; не могу участвовать и устраивать тех похотливых увеселений – романов, театров, опер, балов и т. п., – которые служат ловушкой для меня и других людей; не могу поощрять безбрачное житье людей зрелых для брака; не могу содействовать разлуке мужей с женами; не могу делать различия между совокуплениями, называемыми браками и не называемыми так; не могу не считать священным и обязательным только то брачное соединение, в котором раз находится человек.

* * *

Христос открыл мне, что третий соблазн, губящий мое благо, есть соблазн клятвы. Я не могу не верить в это и потому не могу уже, как я делал это прежде, сам клясться кому-нибудь и в чем-нибудь и не могу уже, как я делал это прежде, оправдывать себя в своей клятве тем, что в этом нет ничего дурного для людей, что все делают это, что это нужно для государства, что мне или другим будет хуже, если я откажусь от этого требования. Я знаю теперь, что это есть зло для меня и для людей, и не могу делать его.

Но мало того, что я знаю это, я знаю теперь и тот соблазн, который уловлял меня в это зло, и не могу уже служить ему. Я знаю, что соблазн состоит в том, что именем Бога освещается обман. Обман же состоит в том, что люди вперед обещаются повиноваться тому, что велит человек или люди, тогда как человек не может никогда повиноваться никому, кроме Бога. Я знаю теперь, что самое страшное по своим последствиям зло мира – убийства на войнах, заключения, казни, истязания людей совершаются только благодаря этому соблазну, во имя которого снимается ответственность с людей, совершающих зло.

Вспоминая теперь многое и многое зло, которое заставляло меня осуждать и не любить людей, – я вижу теперь, что все оно было вызвано присягой – признанием необходимости подчинить себя воле других людей. Я понимаю теперь значение слов: все, что сверх простого утверждения или отрицания – да и нет, все, что сверх этого, всякое обещание, даваемое вперед, – есть зло. Понимая это, я верю, что клятва губит благо мое и других людей; и вера эта изменяет мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого.

Все то, что прежде казалось мне хорошим и высоким, обязательство верности правительству, подтверждаемое присягой, вымогание этой присяги от людей и все поступки, противные совести, совершаемые во имя этой присяги, – все это представилось теперь мне и дурным и низким.

И потому я не могу уже теперь отступить от заповеди Христа, запрещающей клятву; не могу уже клясться другому, ни заставлять клясться других, ни содействовать тому, чтобы люди клялись и заставляли клясться других людей и считали бы клятву или важною и нужною, или хотя бы не вредною, как это думают многие.

* * *

Христос открыл мне, что четвертый соблазн, лишаящий меня моего блага, есть противление злу насилем других людей. Я не могу не верить, что это есть зло для меня и других людей, и поэтому не могу сознательно делать его и не могу, как я делал это прежде, оправдывать это зло тем, что оно нужно для защиты меня и других людей, для защиты собственности моей и других людей; не могу уже при первом напоминании о том, что я делаю насилие, не отказаться от него и не прекратить его.

Но мало того, что я знаю это, я знаю теперь и тот соблазн, который вводил меня в это зло. Я знаю теперь, что соблазн этот состоит в заблуждении о том, что жизнь моя может быть обеспечена защитой себя и свой собственности от других людей. Я знаю теперь, что большая доля зла людей происходит оттого, что они, вместо того чтобы отдавать свой труд другим, не только не отдают его, но сами лишают себя всякого труда и насилем отбирают труд других.

Вспоминая теперь все то зло, которое я делал себе и людям, и все зло, которое делали другие, я вижу, что большая доля зла происходила оттого, что мы считали возможным защитой обеспечить и улучшить свою жизнь. Я понимаю теперь значение слов: человек рожден не для того, чтобы на него работали, но чтобы самому работать на других, и значение слов: трудящийся достоин пропитания.

Я верю теперь в то, что благо мое и людей возможно только тогда, когда каждый

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoy1eo.ru
будет трудиться не для себя, а для другого, и не только не будет отстаивать от другого свой труд, но будет отдавать его каждому, кому он нужен.

И вера эта изменила мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. Все, что прежде казалось мне хорошим и высоким – богатство, собственность всякого рода, честь, сознание собственного достоинства, права, – все это стало теперь дурно и низко; все же, что казалось мне дурным и низким – работа на других, бедность, унижение, отречение от всякой собственности и всяких прав, – стало хорошо и высоко в моих глазах.

Если теперь я и могу в минуту забвения увлечься насилием для защиты себя и других или своей или чужой собственности, то я не могу уже спокойно и сознательно служить тому соблазну, который губит меня и людей; я не могу приобретать собственности; не могу употреблять какое бы то ни было насилие против какого бы то ни было человека, за исключением ребенка, и то только для избавления его от предстоящего ему тотчас же зла; не могу участвовать ни в какой деятельности власти, имеющей целью ограждение людей и их собственности насилием; не могу быть ни судьей, ни участником в суде, ни начальником, ни участником в каком-нибудь начальстве; не могу содействовать и тому, чтобы другие участвовали в судах и начальствах.

* * *

Христос открыл мне, что пятый соблазн, лишаящий меня моего блага, – есть разделение, которое мы делаем между своими и чужими народами. Я не могу не верить в это, и потому если в минуту забвения и может подняться во мне враждебное чувство к человеку другого народа, то я не могу уже в спокойную минуту не признавать это чувство ложным, не могу оправдывать себя, как я прежде делал это, признанием преимущества своего народа над другими, заблуждениями, жестокостью или варварством другого народа; не могу, при первом напоминании о том, не стараться быть более дружелюбным к человеку чужого народа, чем к соотечественнику.

Но мало того, что я знаю теперь, что разделение мое с другими народами есть зло, губящее мое благо, – я знаю и тот соблазн, который вводил меня в это зло, и не могу уже, как я делал это прежде, сознательно и спокойно служить ему. Я знаю, что соблазн этот состоит в заблуждении о том, что благо мое связано только с благом людей моего народа, а не с благом всех людей мира. Я знаю теперь, что единство мое с другими людьми не может быть нарушено чертою границы и распоряжениями правительств о принадлежности моей к такому или другому народу. Я знаю теперь, что все люди везде равны и братья.

Вспоминая теперь все то зло, которое я делал, испытал и видел вследствие вражды народов, мне ясно, что причиной всего был грубый обман, называемый патриотизмом и любовью к отечеству. Вспоминая свое воспитание, я вижу теперь, что чувства вражды к другим народам, чувства отделения себя от них никогда не было во мне, что все эти злые чувства были искусственно привиты мне безумным воспитанием. Я понимаю теперь значение слов: творите добро врагам, делайте им то же, что и своим. Вы все дети одного Отца, и будьте так же, как и Отец, то есть не делайте разделения между своим народом и другими, со всеми будьте одинаковы.

Я понимаю теперь, что благо возможно для меня только при признании своего единства со всеми людьми мира без всякого исключения. Я верю в это. И вера эта изменила всю мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. То, что мне представлялось хорошим и высоким – любовь к отечеству, к своему народу, к своему государству, служением им в ущерб блага других людей, военные подвиги людей, – все это мне показалось отвратительным и жалким. То, что мне представлялось дурным и позорным – отречение от отечества, космополитизм, – показалось мне, напротив, хорошим и высоким.

Если я и могу теперь в минуту забвения содействовать больше русскому, чем чужому, желать успеха русскому государству или народу, то не могу я уже в спокойную минуту служить тому соблазну, который губит меня и людей. Не могу признавать никаких государств или народов, не могу участвовать ни в каких спорах между народами и государствами, ни разговорами, ни писаниями, ни тем более службой какому-нибудь государству. Я не могу участвовать во всех тех делах, которые основаны на различие государств – ни в таможах или сборах пошлин, ни в приговорах или снарядах или оружии, ни в какой-либо деятельности для вооружения, ни в военной службе, ни тем более в самой войне с другими народами, и не могу

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
содействовать людям, чтобы они делали это.

* * *

Люди, связанные друг с другом обманом, составляют из себя как бы сплоченную массу. Сплоченность этой массы и есть зло мира. Вся разумная деятельность человечества направлена на разрушение этого сцепления обмана.

Все революции суть попытки насильственного разбивания этой массы. Людям представляется, что если они разобьют эту массу, то она перестанет быть массой, и они бьют по ней; но, стараясь разбить ее, они только куют ее.

Но сколько бы они ни ковали ее, сцепление частиц не уничтожится, пока внутренняя сила не сообщится частицам массы и не заставит их отделяться от нее.

Сила сцепления людей есть ложь, обман. Сила, освобождающая каждую частицу людского сцепления, есть истина. Истина же передается людям только делами истины.

Только дела истины, внося свет в сознание каждого человека, разрушают сцепление обмана, отрывают одного за другим людей от массы, связанной между собою сцеплением обмана.

И вот уже 1800 лет делается это дело.

С тех пор, как заповеди Христа поставлены перед человечеством, началась эта работа, и не кончится она до тех пор, пока не будет исполнено все, как и сказал это Христос (Матф., V, 18).

Церковь, составлявшаяся из тех, которые думали соединить людей воедино тем, что они с заклинаниями утверждали про себя, что они в истине, давно уже умерла. Но церковь, составленная из людей не обещаниями, не помазанием, а делами истины и блага, соединенными воедино, – эта церковь всегда жила и будет жить. Церковь эта как прежде, так и теперь составляется не из людей, взывающих: Господи, Господи! и творящих беззаконие (Матф., VII, 21, 22), но из людей, слушающих слова сии и исполняющих их.

Люди этой церкви знают, что жизнь их есть благо, если они не нарушают единства сына человеческого, и что благо это нарушается только неисполнением заповедей Христа. И потому люди этой церкви не могут не исполнять этих заповедей и не учить других исполнению их.

Мало ли, много ли теперь таких людей, но это – та церковь, которую ничто не может одолеть, и та, к которой присоединятся все люди.

Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство (Луки, XII, 32).

«Царство божие внутри вас...»

(Из книги Л. Н. Толстого «Царство божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание»)

В 1884 году я написал книгу под заглавием: «В чем моя вера?» В книге этой я действительно изложил то, во что я верю.

Излагая свою веру в учение Христа, я не мог не высказать и того, почему я не верю и считаю заблуждением ту церковную веру, которая обыкновенно называется христианством.

В числе многих отступлений этого учения Христа я указывал на главное отступление, именно – на непризнание заповеди непротивления злу насилем, очевиднее других отступлений указывающее на извращение церковным учением учения Христа...

Книга по выходе ее, как я и ожидал, была запрещена и по закону должна была быть сожжена. Но книга вместо сожжения была разобрана чиновниками и распространилась в большом количестве списков и литографных оттисков и в переводах, напечатанных за границей.

И очень скоро на книгу появились критики, не только духовные, но и светские, которые правительство не только допускало, но и поощряло. Так что даже

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
опровержение книги, которая считалась никому не известной, назначено было темой богословских сочинений в академиях.

Критики на мою книгу, как русские, так и иностранные, разделяются на два главные рода: критики религиозные – людей, считающих себя верующими, и критики светские – вольнодумные.

* * *

Начну с первых.

В книге моей я обвиняю церковных учителей в том, что они учат противно заповедям Христа, ясно и определенно выраженным в нагорной проповеди, и особенно противно заповеди о непротивлении злу и лишают этим учение Христа всего его значения. Церковные учителя признают нагорную проповедь с заповедью о непротивлении злу насилеи Божественным откровением и потому, если они уже раз нашли нужным писать о моей книге, то, казалось бы, им необходимо было прежде всего ответить на этот главный пункт обвинения и прямо высказать, признают или не признают они обязательным для христианина учение нагорной проповеди и заповедь о непротивлении злу насилеи, и отвечать не так, как это обыкновенно делается, т. е. сказать, что хотя, с одной стороны, нельзя собственно отрицать, но, с другой стороны, опять-таки нельзя утверждать, тем более, что и т. д., а ответить так же, как поставлен вопрос в моей книге: действительно ли Христос требовал от своих учеников исполнения того, чему он учил в нагорной проповеди, и потому, может или не может христианин, оставаясь христианином, идти в суд, участвуя в нем, осуждая людей или ища в нем защиты силой, может или не может христианин, оставаясь христианином, участвовать в управлении, употребляя насилеи против своих ближних, и самый главный, всем предстоящий теперь с общей воинской повинностью, вопрос – может или не может христианин, оставаясь христианином, противно прямому указанию Христа обещаться в будущих поступках, прямо противных учению, и, участвуя в военной службе, готовиться к убийству людей или совершать их?

Вопросы поставлены ясно и прямо, и, казалось, надобно ясно и прямо ответить на них. Но во всех критиках на мою книгу ничего подобного не было сделано, точно так же как не было сделано и по отношению всех тех обличений церковных учителей в отступлении их от закона Христа, которыми со времен Константина полна история.

Очень много было говорено по случаю моей книги о том, как я неправильно толкую те и другие места Евангелия, о том, как я заблуждаюсь, не признавая троицы, искупления и бессмертия души; говорено было очень многое, но только не то одно, что для всякого христианина составляет главный, существенный вопрос жизни: как соединить ясно выраженное в словах учителя и в сердце каждого из нас учение о прощении, смирении, отречении и любви ко всем: к ближним и к врагам, с требованием военного насилия над людьми своего или чужого народа.

Все, что можно назвать подобиями ответов на этот вопрос, можно свести к следующим пяти разрядам. Я старался собрать в этом отношении все, что мог, не только по критикам на мою книгу, но и по всему тому, что и в прежние времена писалось на эту тему.

Первый самый грубый способ ответа состоит в смелом утверждении того, что насилеи не противоречит учению Христа, что оно разрешено и даже предписано христианам Ветхим и Новым Заветом.

Этого рода утверждения исходят большею частью от людей, находящихся на высоких ступенях правительственной или духовной иерархии и вследствие этого совершенно уверенных, что на их утверждения возражать никто не посмеет, а если кто и будет возражать, то они не услышат этих возражений. Люди эти большею частью до такой степени, вследствие одурманения властью, потеряли представление о том, что есть христианство, во имя которого они занимают свое положение, что все то, что есть в христианстве христианского, представляется им сектантством; все же то, что в писании как Ветхого, так и Нового Завета может быть перетолковано в смысле антихристианском и языческом, они считают основанием христианства. В пользу своего утверждения о том, что христианство не противоречит насилею, эти люди выставляют обыкновенно с величайшей смелостью самые соблазнительные места из Ветхого и Нового Завета, самым нехристианским образом толкуя их: казнь Анания и Сапфиры, казнь Симона Волхва и т. п. – Приводятся все те слова Христа, которые можно перетолковать как оправдание жестокости: изгнание из храма, «Отраднее

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
будет земле содомской, чем городу этому» и т. д.

По понятиям этих людей, христианское правительство нисколько не обязано руководиться духом смирения, прощения обид и любви к врагам.

Опровергать такое утверждение бесполезно потому, что люди, утверждающие это, сами себя опровергают или, скорее, отвергают себя от Христа, выдумывая своего Христа и свое христианство вместо того, во имя которого и существует и церковь и то положение, которое они в ней занимают. Если бы все люди знали, что церковь проповедует Христа казнящего и не прощающего и воющего, то никто бы не верил в эту церковь и некому было бы доказывать то, что она доказывает.

* * *

Второй способ, несколько менее грубый, состоит в том, чтобы утверждать, что хотя действительно Христос учил подставлять щеку и отдавать кафтан и что очень высокое нравственное требование, но... что есть на свете злодеи, и если не усмирять силой этих злодеев, то погибнет весь мир и погибнут добрые. Довод этот я нашел в первый раз у Иоанна Златоуста.

Довод этот неоснователен потому, что если мы позволим себе признать каких-либо людей злодеями особенными, то, во-первых, мы этим уничтожаем весь смысл христианского учения, по которому все мы равны и братья как сыны одного Отца Небесного; во-вторых, потому, что если бы и было разрешено Богом употреблять насилие против злодеев, то так как никак нельзя найти того верного и несомненного определения, по которому можно наверное узнать злодея от незлодея, то каждый человек или общество людей стало бы признавать взаимно друг друга злодеями, что и есть теперь; в-третьих, потому, что если бы и было возможно несомненно узнавать злодеев от незлодеев, то и тогда нельзя бы было в христианском обществе казнить, или калечить, или запереть в тюрьмах этих злодеев, потому что в христианском обществе некому бы было исполнять это, так как каждому христианину как христианину предписано не делать насилия над злодеем.

Третий способ ответов, еще более тонкий, чем предыдущий, состоит в утверждении того, что хотя заповедь о непротвлении злу насилием и обязательна для христианина, когда зло направлено лично против него, она перестает быть обязательной, когда зло направлено против ближних, и что тогда христианин не только не обязан исполнять заповеди, но обязан для защиты ближних противно заповеди употреблять насилие против насилующих.

Утверждение это совершенно произвольно, и во всем учении Христа нельзя найти подтверждения такому толкованию. Такое толкование есть не только ограничение заповеди, но прямое отрицание и уничтожение ее. Если каждый имеет право употреблять насилие при угрожающей другому опасности, то вопрос об употреблении насилия сводится к вопросу определения того, что считать опасностью для другого. Если же мое частное суждение решает вопрос опасности для другого, то нет того случая насилия, которого нельзя бы было объяснить угрожающей другому опасностью. Казнили и сжигали колдунов, казнили аристократов и жирондистов, казнили и их врагов, потому что те, которые были во власти, считали их опасными для людей.

Если бы это важное ограничение, в корне подрывающее значение заповеди, входило в мысль Христа, то о нем должно было быть где-нибудь упомянуто. Во всей же проповеди и жизни учителя не только не сделано этого ограничения, но, напротив, как раз дано предостережение против такого ложного и соблазнительного, уничтожающего заповедь ограничения. Ошибка и невозможность такого ограничения с особенной яркостью показана в Евангелии при рассказе о рассуждении Каиафы, сделавшего именно это ограничение. Он признавал, что нехорошо казнить невинного Иисуса, но видел в этом опасность не для себя, но для всего народа и потому сказал: «лучше погибнуть одному человеку, чем всему народу». И еще ярче высказано отрицание такого ограничения в словах, сказанных Петру при его попытке восппротивиться насилием злу, направленному против Иисуса (Мф. XXVI, 52). Петр защищал не себя, но своего любимого и божественного учителя. И Христос прямо запретил ему это, сказав, что поднявший меч от меча погибнет.

Кроме того, оправдание насилия, употребляемого над ближним для защиты другого ближнего от худшего насилия, всегда неверно, потому что никогда при употреблении насилия против не совершившегося еще зла нельзя знать, какое зло будет больше – зло ли моего насилия или того, от которого я хочу защищать. Мы казним

преступника, избавляя от него общество, и никак не можем знать, не изменился ли бы завтра бывший преступник и не есть ли наша казнь бесполезная жестокость. Мы запираем опасного, по нашему мнению, члена общества, но с завтрашнего дня этот человек мог перестать быть опасным и заключение его напрасно. Я вижу, что известный мне разбойник преследует девушку, у меня в руке ружье – я убиваю разбойника, спасаю девушку, но смерть или поранение разбойника совершилось наверное, то же, что бы произошло, если бы этого не было, мне неизвестно. А какое огромное количество зла должно произойти, как оно и происходит, – от признания людьми за собой права предупреждать могущее случиться зло. 0,99 зла мира от инквизиции до динамитных бомб и казней и страданий десятков тысяч так называемых политических преступников основано на этом рассуждении.

* * *

Четвертый, еще более утонченный ответ на вопрос, как должно относиться христианину к заповеди Христа о непротивлении злу насилеи, состоит в том, чтобы утверждать, что заповедь непротивления злу насилеи не отрицается ими, а признается, как и всякая другая, но что они только не приписывают этой заповеди особенного, исключительного значения, как это делают сектанты. Приписывание этой заповеди неизменного условия христианской жизни, как это делают Гаррисон, Баллу, Даймонд, квакеры, менониты, шекеры и как это делали моравские братья, вальденцы, альбигойцы, богомилы, павликиане, – есть одностороннее сектантство. Заповедь эта имеет ни больше, ни меньше значения, чем и все другие, и человек, преступивший по слабости какую бы то ни было заповедь, а также и заповедь о непротивлении, не перестает быть христианином, если он правильно верит.

Изворот этот очень искусен, и многие люди, желающие быть обманутыми, легко обманываются им. Изворот состоит в том, чтобы прямое сознательное отрицание заповеди свести к случайному нарушению ее. Но стоит только сравнить отношение церковных учителей к этой и к другим действительно признаваемым ими заповедям, чтобы убедиться в том, что отношение церковных учителей к заповедям, которые они признают, и к этой – совершенно различно.

Заповедь против блуда они действительно признают и потому никогда ни в каком случае не признают того, чтобы блуд не был злом. Никогда церковные проповедники не указывают случаев, когда заповедь против блуда должна бы была нарушаться, и всегда поучают тому, что должно избегать соблазнов, вводящих в искушение против блуда. Но не то с заповедью непротивления. Все церковные проповедники знают случаи, когда заповедь эта может быть нарушена. И так и учат людей. И не только не учат избегать этих соблазнов, из которых главный есть присяга, но сами производят его. Церковные проповедники никогда ни в каком случае не проповедают нарушения всякой другой заповеди. По отношению же заповеди о непротивлении они прямо учат тому, что не надо слишком прямо понимать это запрещение, что не только не всегда нужно исполнять заповедь, но что есть условия, положения, в которых нужно делать прямо противное, т. е. судить, воевать, казнить. Так что по случаю заповеди о непротивлении злу насилеи проповедуется в большей части случаев о том, как не исполнять ее. Исполнение этой заповеди, говорят они, очень трудно и свойственно только совершенству. Но как же ей быть не трудной, когда нарушение ее не только не запрещается, но прямо поощряется, когда прямо благословляются суды, тюрьмы, пушки, ружья, войска, сражения.

Стало быть, неправда то, что заповедь эта признается церковными проповедниками наравне с другими заповедями. Церковные проповедники прямо не признают ее и, только не смея сознаться в этом, стараются скрыть свое непризнание ее.

Таков четвертый способ ответов.

* * *

Пятый способ, самый тонкий, самый употребительный и самый могущественный, состоит в уклонении от ответа, в делании вида, что вопрос этот кем-то давным-давно разрешен вполне ясно и удовлетворительно и что говорить об этом не стоит.

Этот способ употребляется всеми более или менее культурными духовными писателями, т. е. такими, которые чувствуют для себя обязательными законы логики. Зная, что противоречие, существующее между чтением Христа, которое мы на словах исповедуем, и всем строем нашей жизни, нельзя распутать словами и, касаясь его, можно только сделать его еще очевиднее, они с большей или меньшей ловкостью, делая вид, что вопрос о соединении христианства с насилеи уже

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
разрешен или вовсе не существует, обходят его.

Большинство духовных критиков на мою книгу пользуются этим способом. Я бы мог привести десятки таких критик, в которых без исключения повторяется одно и то же: говорится обо всем, но только не о том, что составляет главный предмет книги. Как характерный пример таких критик приведу статью знаменитого, утонченного английского писателя и проповедника Фаррара, великого, как и многие ученые богословы, мастера обходов и умолчаний. Статья эта напечатана в американском журнале «Forum» за октябрь 1888 года.

Изложив добросовестно вкратце содержание моей книги, Фаррар говорит:

«Толстой пришел к убеждению, что мир был грубо обманут, когда людей уверили, что учение Христа «не противься злу или злом» совместимо с войной, судами, смертной казнью, разводами, клятвой, народными пристрастиями и вообще с большинством учреждений гражданской и общественной жизни. Он верит теперь, что Царство Бога наступит тогда, когда люди будут исполнять 5 заповедей Христа, именно: 1) жить в мире со всеми людьми; 2) вести чистую жизнь; 3) не клясться; 4) никогда не противиться злу и 5) отказываться от народных различий».

«Толстой, говорит он, отрицает боговдохновенность Ветхого Завета, посланий, отрицает все догматы церкви, как-то: троицы, искупления, сошествия св. духа, священства, и признает только слова и заповеди Христа». «Но верно ли такое толкование учения Христа? – говорит он. – Обязаны ли все люди поступать так, как учит Толстой, т. е. исполнять 5 заповедей Христа?»

Так и ждешь, что на этот существенный вопрос, который один только и мог побудить человека писать статью о книге, человек скажет, что это толкование учения Христа верно и что надо следовать ему, или скажет, что такое толкование неверно; докажет, почему, и даст другое правильное толкование тех слов, которые я неправильно толкую. Но ничего подобного не делается. Фаррар выражает только «убеждение», что – «Толстой, хотя и руководимый самой благородной искренностью, впал в заблуждение частных и односторонних толкований смысла Евангелия и разума (mind) и воли Христа».

В чем это заблуждение, не разъясняется, а говорится только: «Входить в доказательства этого невозможно в этой статье, потому что я уже и так превзошел количество листов, предоставленных мне».

И он со спокойным духом заключает:

«Между тем, если читатель чувствует себя смущенным мыслью о том, что он обязан, как христианин, так же как и Толстой, покинуть свои привычные условия жизни и жить как простой работник, то пусть он успокоится и держится принципа: «Securus judicat ordis terrarum» [Весь мир судить легкомысленно]. За малыми исключениями, – продолжает он, – все христианство от апостольских времен и до наших дней пришло к убеждению, что цель Христа состояла в том, чтобы дать людям великий принцип, но не в том, чтобы разрушить основы учреждения всего человеческого общества, которое утверждается на Божеском установлении (sanction) и на необходимости. Если бы моей задачей было доказать, как невозможно учение коммунизма, основываемое Толстым на Божественных парадоксах (sic), которые могут быть истолковываемы только на основании исторических принципов в согласии со всеми методами учения Христа, – это потребовало бы более места, чем я имею в своем распоряжении».

Экое горе, места ему нет! И странное дело, никому вот уже 15 веков нет места доказать то, что Христос, которого мы исповедуем, говорил совсем не то, что он говорил. А доказать они могли бы, если бы захотели. Впрочем, и не стоит доказывать то, что всем известно. Довольно сказать: «Securus judicat ordis terrarum».

* * *

Таковы без исключения все критики культурных верующих людей и потому понимающих опасность своего положения. Единственный выход из него для них – надежда на то, что, пользуясь авторитетом церкви, древности, святости, можно запугать читателя, своим умом обдумать вопрос. И это удается.

Кому в самом деле придет в голову то, что все то, что с такой уверенностью и

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru торжественностью повторяется из века в век всеми этими архидиаконами, епископами, архиепископами, святейшими синодами и папами, что все это есть гнусная ложь и клевета, взводимая ими на Христа для обеспечения денег, которые им нужны для сладкой жизни на шеях других людей, – ложь и клевета до такой степени очевидная, особенно теперь, что единственная возможность продолжать эту ложь состоит в том, чтобы запугивать людей своей уверенностью, своей бессовестностью.

Это всё то же, что происходило последние годы в воинских присутствиях: сидят за столом за зеркалом, на первых местах, под портретом во весь рост императора, старые, важные, в регалиях чиновники и свободно, развязно беседуют, записывают, приказывают и вызывают. Тут же в наперсном кресте и шелковой рясе с выпроस्तанными седыми волосами на эпитрахилии благообразный старец священник перед аналоем, на котором лежит золотой крест с кованным в золоте Евангелием.

Вызывают Ивана Петрова. Выходит юноша, дурно, грязно одетый, испуганный, с дрожащими мускулами лица и блестящими бегающими глазами и прерывающимся голосом, шепотом почти говорит: «я... по закону... я, как христианин... я не могу...»

– Что он бормочет? – спрашивает нетерпеливо, щурясь и прислушиваясь, председатель, поднимая голову от книги.

– Говорите громче! – кричит на него полковник с блестящими погонями.

– Я... я... как христианин...

И, наконец, оказывается, что юноша отказывается от военной службы, потому что он христианин.

– Не говори вздору. Ставь в мерку. Доктор, потрудитесь смерить. Годится?

– Годится.

– Батюшка, приведите к присяге.

Никто не только не смущен, но даже не обращает внимания на то, что лопочет этот испуганный, жалкий юноша. «Они все что-нибудь лопочат, а нам некогда, надо еще столькоих принять».

Рекрут что-то хочет сказать еще. «Это против закона Христа».

– Ступайте, ступайте, без вас знают, что по закону, что не по закону, а вы отправляйтесь. Батюшка, внушите ему. Следующий: Василий Никитин.

И дрожащего юношу уводят. И кому, и сторожам, и Василию Никитину, которого вводят, и всем, которые со стороны видели эту сцену, придет в голову, что те неясные короткие слова юноши, тотчас же замятые начальством, содержат в себе истину, а те громкие, торжественно произносимые речи самоуверенных, спокойных чиновников и священника суть ложь, обман.

* * *

Так относились к моей книге духовные, т. е. исповедующие веру в Христа. И иначе им нельзя было отнестись: их связывает то противоречие, в котором они находятся – веры в божественность учителя и неверия в его самые ясные слова, – из которого им надо как-нибудь выпутываться, и потому нельзя было ожидать от них свободных суждений о самой сущности вопроса, о том изменении жизни людей, которое вытекает из приложения учения Христа к существующему порядку. Такого рода суждений я ожидал от светских, вольнодумных критиков, которые ничем не связаны с учением Христа и могут свободно смотреть на него. Я ожидал, что вольнодумные писатели посмотрят на Христа не только как на установителя религии поклонения и личного спасения (как его понимают церковники), а, выражаясь их языком, и как на реформатора, разрушающего старые и дающего новые основы жизни, реформа которого не совершилась еще, а продолжается и до сих пор.

Такой взгляд на Христа и его учение вытекает из моей книги. Но, к удивлению моему, из числа в большом количестве появившихся на мою книгу критик, не было ни одной, ни русской, ни иностранной, которая трактовала бы предмет с той самой стороны, с которой он изложен в книге, т. е. которая посмотрела бы на учение

Христа как на философское, нравственное и социальное (говоря опять языком научных людей) учение. Ни в одной критике этого не было.

Русские светские критики, поняв мою книгу так, что все ее содержание сводится к непротивлению злу, и поняв самое учение о непротивлении злу (вероятно, для удобства возражения) так, что оно будто бы запрещает всякую борьбу со злом, русские светские критики с раздражением напали на это учение и весьма успешно в продолжение нескольких лет доказывали, что учение Христа неправильно, так как оно запрещает противиться злу. Их опровержения этого мнимого учения Христа были тем более успешны, что они вперед знали, что их рассуждения не могут быть ни опровергаемы, ни исправляемы, так как цензура, не пропустив книги, не пропускала и статей в защиту ее.

Замечательно при этом то, что у нас, где нельзя сказать слова о священном писании без запрета цензуры, несколько лет во всех журналах извращалась, критиковалась, осуждалась, осмеивалась прямо и точно выраженная заповедь Христа (Мф. V, 39).

Русские светские критики, очевидно, не зная всего того, что было сделано по разработке вопроса о непротивлении злу, и даже иногда как будто предполагая, что это я лично выдумал правило непротивления злу насилем, нападали на самую мысль, опровергая, извращая ее и с большим жаром выставляя аргументы, давным-давно уже со всех сторон разобранные и опровергнутые, доказывали, что человек непременно должен (насилием) защищать всех обиженных и угнетенных и что поэтому учение о непротивлении злу насилем есть учение безнравственное.

Всем русским критикам все значение проповеди Христа представлялось только в том, что она как будто им назло мешает известной деятельности, направленной против того, что ими в данную минуту считается злом, так что выходило, что на принцип непротивления злу насилем нападали два противоположные лагеря: консерваторы потому, что этот принцип препятствовал их деятельности противления злу, производимому революционерами, их преследованиям и казням; революционеры же потому, что этот принцип препятствовал противлению злу, производимому консерваторами, и их ниспровержению. Консерваторы возмущались тем, что учение о непротивлении злу насилем препятствует энергетическому подавлению революционных элементов, могущих погубить благосостояние народа; революционеры возмущались тем, что учение о непротивлении злу насилем препятствует ниспровержению консерваторов, губящих благосостояние народа. Замечательно при этом то, что революционеры нападали на принцип непротивления злу насилем, несмотря на то, что он самый страшный и опасный для всякого деспотизма, так как с тех пор, как стоит мир, на противоположном принципе, необходимости противления злу насилем, основывались и основываются все насилия, от инквизиции до Шлиссельбургской крепости.

Кроме того, русские критики указывали и на то, что приложение к жизни заповеди о непротивлении злу насилем своротило бы человечество с того пути цивилизации, по которому оно идет. Путь же цивилизации, по которому идет европейское человечество, есть, по их мнению, тот самый, по которому и должно всегда идти все человечество.

Таков был главный характер русских критиков.

* * *

Иностранные критики исходили из тех же основ, но рассуждения их о моей книге несколько отличались от рассуждений русских критиков не только меньшей раздражительностью и большей культурностью, но и по существу дела.

Рассуждая о моей книге и вообще о евангельском учении, как оно выражено в нагорной проповеди, иностранные критики утверждали, что такое учение не есть собственно христианское (христианское учение, по их мнению, есть католицизм и протестанство) – учение же нагорной проповеди есть только ряд очень милых непрактических мечтаний, годных для наивных и полудиких обитателей Галилеи, живущих за 1800 лет назад, и для русских полудиких мужиков – Сютаева, Бондарева и русского мистика Толстого, но никак не приложимых к высокой степени европейской культуры.

Иностранные светские критики тонким манером, не оскорбляя меня, старались дать почувствовать, что суждения мои о том, что человечество может руководиться таким

наивным учением, как нагорная проповедь, происходят отчасти от моего невежества, незнания истории, незнания всех тех тщетных попыток осуществления в жизни принципов нагорной проповеди, которые были делаемы в истории и ни к чему не привели, отчасти от непонимания всего значения той высокой культуры, на которой со своими крупновскими пушками, бездымным порохом, колонизацией Африки, управлением Ирландии, парламентом, журналистикой, стачками, конституцией и Эйфелевой башней стоит теперь европейское человечество.

Так писал Vog'ue, так писал Leroy beanlien, так писал Матью Арнольд, так писал американский писатель Савадж и Ингерзаль, популярный американский свободомыслящий проповедник, и многие другие.

«Учение Христа не годится, потому что не соответствует нашему индустриальному веку», – наивно говорит Ингерзаль, выражая этим с совершенной точностью и наивностью то самое, что думают утонченно образованные люди нашего времени об учении Христа. Учение не годится для нашего индустриального века, точно как будто то, что существует индустриальный век, есть дело священное, которое не должно и не может быть изменено. Вроде того, как если бы пьяницы против советов о том, как им привести себя в трезвое состояние, отвечали бы, что эти советы неуместны при их алкоголическом состоянии.

Рассуждения всех светских писателей, как русских, так и иностранных, как ни различен их тон и манера доводов, все в сущности сводятся к одному и тому же странному недоразумению, именно к тому, что учение Христа, одно из последствий которого есть непротивление злу насилем, непригодно нас, потому что оно требует изменения нашей жизни.

Учение Христа не годно, потому что, если бы оно было исполнено, не могла бы продолжаться наша жизнь; другими словами: если бы мы начали жить хорошо, как нас учил Христос, мы не могли бы продолжать жить дурно, как мы живем и привыкли жить. Вопрос же о непротивлении злу насилем не только не обсуждается, но самое упоминание о том, что в учение Христа входит требование непротивления злу насилем, уже считается достаточным доказательством неприложимости всего учения.

А между тем, казалось бы, необходимо указать хоть на какое-нибудь решение этого вопроса, так как он стоит в основе почти всех дел, которые занимают нас.

Вопрос ведь состоит в том: каким образом разрешать столкновения людей, когда одни люди считают злом то, что другие считают добром, и наоборот? И потому считать, что зло есть то, что я считаю злом, несмотря на то, что противник мой считает это добром, не есть ответ. Ответов может быть только два: или тот, чтобы найти верный и неоспоримый критерий того, что есть зло, или тот, чтобы не противиться злу насилем.

Первый выход был пробован с начала исторических времен и, как мы все знаем, не привел до сих пор к успешным результатам.

Второй ответ – не противиться насилем тому, что мы считаем злом, до тех пор, пока мы не нашли общего критерия, – этот ответ предложен Христом.

Можно находить, что ответ, данный Христом, неправилен; можно выставить на место его другой, лучший, найдя такой критерий, который для всех несомненно и одновременно определял бы зло; можно просто не сознавать сущности вопроса, как не сознают этого дикие народы, но нельзя, как это делают ученые критики христианского учения, делать вид, что вопроса никакого вовсе и не существует или что признание за известными лицами или собраниями людей (тем менее, когда эти люди мы сами) права определять зло и противиться ему насилем разрешает вопрос; тогда как мы все знаем, что такое признание нисколько не разрешает вопроса, так как всегда есть люди, не признающие за известными людьми или собраниями этого права.

А это–то признание того, что то, что нам кажется злом, то и есть зло, или совершенное непонимание вопроса, и служит основой суждений светских критиков о христианском учении, так что суждения о моей книге, как церковных, так и светских критиков, показали мне то, что большинство людей прямо не понимают не только самого учения Христа, но даже и тех вопросов, на которые оно служит ответом.

* * *

Так что сведения, полученные мною после выхода моей книги о том, как не переставая понималось и понимается меньшинством людей христианское учение в его прямом и истинном смысле, так и критики на нее, и церковные и светские, отрицающие возможность понимать учение Христа в прямом смысле, убедили меня в том, что тогда как, с одной стороны, никогда для меньшинства не прекращалось, но все яснее и яснее становилось истинное понимание этого учения, так, с другой стороны, для большинства смысл его все более и более затемнялся, дойдя, наконец, до той степени затемнения, что люди прямо уже не понимают самых простых положений, самыми простыми словами выраженных в Евангелии.

Непонимание учения Христа в его истинном, простом и прямом смысле в наше время, когда свет этого учения проник уже все самые темные углы сознания людского; когда, как говорил Христос, теперь уже с крыш кричат то, что он говорил на уху; когда учение это проникает все стороны человеческой жизни: и семейную, и экономическую, и гражданскую, и государственную, и международную, – непонимание это было бы необъяснимо, если бы непониманию этому не было причин.

Одна из этих причин это та, что как верующие, так и неверующие твердо убеждены, что учение Христа понято ими давно и так полно, несомненно и окончательно, что никакого другого значения, кроме того, которое они придают ему, и не может быть в нем. Причина этого состоит в продолжительности предания ложного понимания и потому непонимания его.

Самая сильная струя воды не может прибавить ни капли жидкости в сосуд, который полон.

Можно самому непонятливому человеку объяснить самые мудреные вещи, если он не составил себе о них еще никакого понятия; но самому понятливому человеку нельзя объяснить самой простой вещи, если он твердо убежден, что знает, да еще несомненно знает то, что передается ему.

Христианское учение представляется людям нашего мира именно таким давно и несомненно каждому до всех своих мельчайших подробностей известным учением, которое не может быть понимаемо иначе, как так, как оно понято.

Христианство понимается теперь исповедующими церковные учения как сверхъестественное, чудесное откровение обо всем том, что сказано в символе веры; неверующими же, – как пережитое человечеством проявление его потребности веры в сверхъестественное; как историческое явление, вполне выразившееся в католичестве, православии, протестантстве и не имеющее уже для нас никакого жизненного значения. Для верующих значение учения скрывается церковью, для неверующих – наукою.

Скажу сперва о первых.

1800 лет тому назад среди языческого римского мира явилось, странное, не похожее ни на какое из прежних, новое учение, приписывавшееся человеку Христу.

Новое учение это было совершенно новое как по форме, так и по содержанию, и для еврейского мира, среди которого оно возникло, и в особенности для того римского мира, среди которого оно проповедовалось и распространялось.

Среди разработанности религиозных правил еврейства, где, по словам Исаии, было правило на правиле, и среди римского, выработанного до великой степени совершенства, законодательства явилось учение, отрицавшее не только всякие божества, – всякий страх перед ними, всякие, гадания и веру в них, – но и всякие человеческие учреждения и всякую необходимость в них.

Вместо всяких правил прежних исповеданий, учение это выставило только образец внутреннего совершенства, истины и любви в лице Христа и последствия этого внутреннего совершенства, достигаемого людьми, – внешнего совершенства, предсказанного пророками, – Царства Божия, при котором все люди разучатся враждовать, будут все научены Богом и соединены любовью и лев будет лежать с ягннком.

Вместо угроз наказания за неисполнение правил, которые выставлялись прежними законами, как религиозными, так и государственными, вместо приманки наград за

исполнение их, учение это призывало к себе только тем, что оно истина. «Кто хочет узнать об этом учении – от Бога ли оно, пусть исполняет его» (Иоан. VII, 17). «Если я говорю истину, почему не верите мне? Зачем ищете убить человека, сказавшего вам истину? Только истина освободит вас. Исповедовать Бога надо только в истине. Всё учение откроется и уяснится духом истины. Делайте то, что я говорю, и узнаете, правда ли то, что я говорю» (Иоан. VIII).

Доказательств учения не выставлялось никаких, кроме истины, кроме соответствия учения с истиной. Всё учение состояло в познании истины и следовании ей, в большем и большем постигновении истины и большем и большем приближении к ней в делах жизни.

Нет по этому учению поступков, которые бы могли оправдать человека, сделать его праведным, есть только влекущий к себе сердца образец истины для внутреннего совершенства в лице Христа, а для внешнего – в осуществлении Царства Божия. Исполнение учения – только в движении по указанному пути, в приближении к совершенству внутреннему – подражания Христу, и внешнему – установления Царства Божия. Больше или меньше благо человека зависит по этому учению не от той степени совершенства, до которого он достигает, а от большего или меньшего ускорения движения.

Движение к совершенству мытаря Закхея, блудницы, разбойника на кресте по этому учению большее благо, чем неподвижная праведность фарисея. Заблудшая овца дороже 99-ти незаблудших. Блудный сын, потерянная и опять найденная монета дороже, любимее Богом тех, которые не пропадали.

Всякое состояние по этому учению есть только известная степень на пути к недостижимому внутреннему и внешнему совершенству и потому не имеет значения. Благо только в движении к совершенству, остановка же на каком бы то ни было состоянии есть прекращение блага.

«Пусть левая не знает, что делает правая», а «не надежен для Царства Божия работник, взявшийся за плуг и оглядывающийся назад». «Не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, а ищите того, что имена ваши были написаны на небесах». «Будьте совершенны, как совершенен отец ваш небесный». «Ищите Царствия Божия и правды его».

Исполнение учения только в безостановочном движении – в постигновении всё высшей и высшей истины, и всё в большем и большем осуществлении ее в себе всё большей и большей любовью, а вне себя всё большим и большим осуществлением Царства Божия.

* * *

Очевидно, что явившееся среди еврейского и языческого мира учение это не могло быть принято большинством людей, живших совершенно иною жизнью, чем та, которой требовало это учение; и что даже теми, которыми оно было принято, оно, как совершенно противоположное всем прежним взглядам, не могло быть понято во всем его значении.

Только рядом недоразумений, ошибок, односторонних разъяснений, исправляемых и дополняемых поколениями людей, смысл христианского учения всё более и более уяснялся людям. Совершалось воздействие христианского мирозерцания на еврейское и языческое и языческого и еврейского на христианское. И христианское, как живое, всё более и более проникало отживающее еврейское и языческое и выступало всё яснее и яснее, освобождаясь от накладываемых на него ложных примесей. Люди всё дальше и дальше постигали смысл христианства и более и более осуществляли его в жизни.

Чем дальше жило человечество, тем более и более уяснялся ему смысл христианства, как это не могло и не может быть иначе со всяким учением о жизни. Последующие поколения исправляли ошибки предшественников и всё более и более приближались к пониманию истинного его смысла.

Так это было с самых первых времен христианства. И вот тут-то, с самых первых времен его, появились люди, начавшие утверждать про себя, что тот смысл, который они придают учению, есть единый истинный и что доказательством этого служат сверхъестественные явления, подтверждающие справедливость их понимания.

Это-то и было главной причиной сначала непонимания учения, а потом и полного

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
извращения учения.

Предполагалось, что учение Христа передается людям не как всякая другая истина, а особенным, сверхъестественным способом, так что истинность понимания учения доказывается не соответственностью передаваемого с требованиями разума и всей природы человека, а чудесностью передачи, служащей непререкаемым доказательством истинности понимания. Возникло это предположение из непонимания, и последствием его была невозможность понимания.

Началось это с самых первых времен, когда так неполно еще и часто превратно понималось учение, как мы видим это по Евангелиям и Деяниям.

Чем менее было понято учение, тем оно представлялось темнее и тем нужнее были внешние доказательства его истинности.

Положение о том, чтобы не делать другим того, что не хочешь, чтобы тебе делали, не нужно было доказывать чудесами, и положению этому не нужно было требовать веры, потому что положение это само по себе убедительно, соответствуя и разуму и природе человека; но положение о том, что Христос был Бог, надо было доказывать чудесами совершенно непонятными.

Чем было темнее понимание учения Христа, тем более примешивалось к нему чудесного; а чем более примешивалось чудесного, тем более учение отклонялось от своего смысла и становилось темнее, тем сильнее надо было утверждать свою непогрешимость и тем менее учение становилось понятно.

С самых первых времен по Евангелиям, Деяниям, Посланиям можно видеть, каким образом непонимание учения вызывало необходимость доказательств через чудесное и непонятное.

* * *

Началось это, по книге Деяний, с того собрания, на котором сошлись ученики в Иерусалиме для разрешения возникшего вопроса о крещении или некрещении необрезанных и о едящих идоложертвенное.

Самая постановка вопроса показывала, что обсуждавшие его не понимали учения Христа, отвергающего все внешние обряды: омовения, очищения, посты, субботы. Прямо сказано: «сквернит не то, что в уста входит, а то, что исходит из сердца», и потому вопрос о крещении необрезанных мог возникнуть только среди людей, любивших учителя, смутно чужавших величие его учения, но еще очень неясно понимавших самое учение. Так оно и было.

Насколько члены собрания не понимали учения, настолько понадобилось им внешнее подтверждение своего неполного понимания. И вот для решения вопроса были произнесены на этом собрании, как это описывает книга Деяний, в первый раз долженствовавшие внешним образом утвердить справедливость известных утверждений, эти страшные, наделавшие столько зла, слова: «угодно святому духу и нам», т. е. утверждалось, что справедливость того, что они постановили, засвидетельствовали чудесным участием в этом решении святого духа, т. е. Бога.

Но утверждение о том, что святой дух, т. е. Бог, говорил через апостолов, опять надо было доказать. И вот понадобилось для этого утверждать то, что в пятидесятницу святой дух в виде огненных языков сошел на тех, которые утверждали это. (В описании сошествие св. духа предшествует собору, но написаны Деяния много после того и другого.) Но и сошествие святого духа надо было подтвердить для тех, которые не видали огненных языков (хотя и непонятно, почему огненный язык, зажегшийся над головой человека, показывает, что то, что будет говорить этот человек, – несомненная правда), и понадобились еще чудеса и исцеления, воскресения, умерщвления и все те соблазнительные чудеса, которыми наполнены Деяния и которые не только никогда не могут убедить в истинности христианского учения, но могут только оттолкнуть от него.

Последствия такого способа утверждения истины были те, что чем более нагромождались одно за другим эти подтверждения истинности рассказами о чудесах, тем более отклонялось самое учение от своего первоначального смысла и тем непонятнее становилось оно.

Так это было с первых времен и так это шло, постоянно усиливаясь, логически

дойдя в наше время до догматов пресуществления и непогрешимости папы или епископов, или писаний, т. е., совершенно непонятного, дошедшего до бессмыслицы и до требований слепой веры не Богу, не Христу, не учению даже, а лицу, как в католичестве, или лицам, как в православии, или – веры книжке, как в протестантстве. Чем шире распространялось христианство и чем большую оно захватывало толпу неподготовленных людей, тем менее оно понималось, тем решительнее утверждалась непогрешимость понимания и тем менее становилась возможность понять истинный смысл учения.

Уже ко времени Константина всё понимание учения свелось к резюме, утвержденным светской властью, – резюме споров, происходивших на соборе, – к символу веры, в котором значится: верую в то-то, то-то и то-то и под конец – в единую, святую, соборную и апостольскую церковь, т. е. в непогрешимость тех лиц, которые называют себя церковью, так что всё свелось к тому, что человек верит уже не Богу, не Христу, как они открылись ему, а тому, чему велит верить церковь. Но церковь свята, церковь основана Христом. Не мог Бог предоставить людям толковать свое учение произвольно, и потому он установил церковь.

* * *

Все эти положения до такой степени несправедливы и голословны, что совестно опровергать их. Нигде, ни по чему, кроме как по утверждению церковью, не видно, чтобы Бог или Христос основывали что-либо подобное тому, что церковники называют церковью. В Евангелии есть указание, против церкви как внешнего авторитета, самое очевидное и ясное, в том месте, где говорится, чтобы ученики Христа никого не называли учителями и отцами. Но нигде ничего не сказано об установлении того, что церковники называют церковью.

В Евангелиях два раза употреблено слово «церковь». Один раз в смысле собрания людей, разрешающего спор; другой раз в связи с темными словами о камне – Петре и вратах ада. Из этих двух упоминаний слова «церковь», имеющего значение только собрания, выводится то, что мы теперь разумеем под словом «церковь».

Но Христос никак не мог основать церковь, т. е. то, что мы теперь понимаем под этим словом, потому что ничего подобного понятию церкви такой, какую знаем теперь с таинствами, иерархией и, главное, со своим утверждением непогрешимости, не было ни в словах Христа, ни в понятиях людей того времени.

То, что люди называли то, что сложилось потом, тем же словом, которое Христос употреблял о чем-то другом, никак не дает им права утверждать того, что Христос основал единую истинную церковь.

Кроме того, если бы Христос действительно установил такое учреждение, как церковь, на котором основано всё учение и вся вера, то он, вероятно бы, высказал это установление так определенно и ясно и придал бы единой истинной церкви, кроме рассказов о чудесах, употребляемых при всяких суевериях, такие признаки, при которых не могло бы быть никакого сомнения в ее истинности; но ничего подобного нет, а как были, так и есть теперь различные учреждения, называющие себя каждое единой истинной церковью.

Католический катехизис говорит: «Церковь есть общество верующих, основанное господом нашим Иисусом Христом, распространенное по всей земле и подчиненное власти законных пастырей и святого нашего отца – папы», подразумевая под *pasteurs legitimes* человеческое учреждение, имеющее во главе своей папу и составленное из известных, связанных между собой известной организацией лиц.

Православный катехизис говорит: «Церковь есть основанное Иисусом Христом на земле общество, соединенное между собою в одно целое одним божественным учением и таинствами под управлением и руководством богоустановленной иерархии», разумея под богоустановленной иерархией именно греческую иерархию, составленную из известных таких-то лиц, находящихся в таких-то и таких-то местах.

Лютеранский катехизис говорит: «Церковь есть святое христианство; или собрание всех верующих под Христом, главою их, в котором св. дух через Евангелие и таинства предлагает, сообщает, усваивает Божеское спасение», подразумевая то, что католическая церковь заблудшая и отпавшая и что истинное предание хранится в лютеранстве.

Для католиков божественная церковь совпадает с римской иерархией и папой. Для

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
православных божественная церковь совпадает с учреждением восточной и русской иерархии. Для лютеран божественная церковь совпадает с собранием людей, признающих Библию и катехизис Лютера.

* * *

Обыкновенно, говоря о происхождении христианства, люди, принадлежащие к одной из существующих церквей, употребляют слово «церковь» в единственном числе, как будто церковь была и есть только одна. Но это совершенно несправедливо. Церковь, как учреждение, утверждающее про себя, что она обладает несомненной истиной, явилась только тогда, когда она была не одна, а было их по крайней мере две.

Пока верующие были согласны между собою, и собрание было одно, ему незачем было утверждать себя церковью. Только тогда, когда верующие разделились на противоположные, отрицающие друг друга партии, явилась потребность каждой стороны утверждать свою истинность, приписывая себе непогрешимость. Понятие единой церкви возникло только из того, что, при разногласии в споре двух сторон, каждая, называя другую сторону ересью, признавала только свою сторону непогрешимую церковь.

Если мы знаем, что была церковь, решившая в 51 году принимать необрезанных, то церковь эта явилась только потому, что была другая церковь – иудействующих, решившая не принимать необрезанных.

Если есть теперь церковь католическая, утверждающая свою непогрешимость, то только потому, что есть церкви: греко-российская, православная, лютеранская, каждая утверждающая свою непогрешимость и этим самым отрицающая все другие церкви. Так что церковь единая есть только фантастическое представление, не имеющее в себе ни малейшего признака действительности.

Как действительное историческое явление существовали и существуют только многие собрания людей, утверждающие каждое про себя, что оно есть единая, основанная Христом церковь, а что все другие, называющие себя церквами, суть ереси и расколы.

Катехизисы самых распространенных церквей: католической, православной и лютеранской, прямо говорят это.

В католическом катехизисе сказано:

Кто находится вне церкви? – Неверные, еретики и схизматики. Схизматиками признаются так называемые православные. Еретиками признаются лютеране; так что, по католическому катехизису, в церкви – одни католики.

В так называемом православном катехизисе сказано: «Под единой церковью Христовой разумеется только православная, которая остается вполне согласной с церковью вселенской. Что же касается римской церкви и других исповеданий (лютеран и других не называют даже церковью), то они не могут быть относимы к единой истинной церкви, так как сами отделились от нее.

По этому определению католики и лютеране – вне церкви, а в церкви – одни православные.

Лютеранский же катехизис гласит:

Истинная церковь узнается по тому, что в ней слово Бога ясно и чисто, без человеческих прибавлений преподается и таинства верно учению Христа установлены.

По этому определению все те, которые прибавили что-либо к учению Христа и апостолов, как это сделали католическая и греческая церковь, – находятся вне церкви. И в церкви – одни протестанты.

Католики утверждают, что св. дух непрерывно действовал в их иерархии; православные утверждают, что тот же св. дух непрерывно действовал в их иерархии; ариане утверждали, что св. дух действовал в их иерархии (утверждали это с таким же правом, с каким утверждают это теперь царствующие церкви); всякого рода протестанты: лютеране, реформаты, пресвитеры, методисты, сведенборгианцы, мормоны утверждают, что св. дух действует только в их собраниях.

Если католики утверждают, что дух святой во время разделения церковью арианской и греческой оставил отпавшие церкви и оставался в одной истинной, то точно с таким же правом могут утверждать протестанты всякого наименования, что во время отделения их церкви от католической дух святой оставил католическую и переходил в церковь, ими признаваемую. Так они это и делают.

Всякая церковь, выводит свое исповедание через непрерывное предание от Христа и апостолов. И действительно, всякое христианское исповедание, происходя от Христа, неизбежно должно было дойти до настоящего поколения через известное предание. Но это не доказывает того, чтобы одно из этих преданий, исключая все другие, было несомненно истинно.

Каждый сучок на дереве идет без перерыва от корня; но то, что каждый сучок идет от одного корня, никак не доказывает того, чтобы каждый сучок был единственный. Точно так же и церкви. Каждая церковь представляет точно такие же доказательства своей преемственности и даже чудес в пользу истинности своей, как и всякая другая; так что строгое и точное определение того, что есть церковь (не как нечто фантастическое, чего бы нам хотелось, но как то, что есть и было в действительности), – только одно: церковь есть такое собрание людей, которые утверждают про себя что они находятся в полном и единственном обладании истины.

Вот эти-то собрания, перешедшие впоследствии при помощи поддержки власти в могущественные учреждения, и были главными препятствиями распространению истинного понимания учения Христа.

Оно и не могло быть иначе: главная особенность учения Христа от всех прежних учений состояла в том, что люди, принявшие его, всё больше и больше стремились понимать и исполнять учение; церковное же учение утверждало свое полное и окончательное понимание и исполнение его.

* * *

Как ни странно это кажется для нас, людей воспитанных в ложном учении о церкви как о христианском учреждении и в презрении к ереси, – но только в том, что называлось ересью и было истинное движение, т. е. истинное христианство, и только тогда переставало быть им, когда оно в этих ересьях останавливалось в своем движении и так же закреплялось в неподвижные формы церкви.

В самом деле, что такое ересь? Перечитайте все богословские сочинения, трактующие о ересь, о том предмете, который первый представляется для определения, так как каждое богословие говорит об истинном учении среди окружающих его ложных, т. е. ересей и нигде не найдете даже подобия какого-нибудь определения ереси.

Образцом полного отсутствия какого-нибудь подобия определения того, что понимается под словом «ересь», может служить суждение об этом предмете ученого историка христианства E. de Pressense (Пресансе) в его «Histoire du Dogme» (Paris, 1869). Вот что он говорит в своем предисловии (стр. 3) «я знаю, что у нас оспаривают право так определять (т. е. называть ересями) те направления, с которыми столь напряженно боролись первые отцы. Одно название «ересь» представляется покушением на свободу совести и мысли. Но мы, со своей стороны, не можем разделять подобных сомнений, которые привели бы ни к чему другому, как к отнятию у христианства его отличительного характера».

И, сказав, что после Константина церковь действительно злоупотребляла своей властью определять несогласных еретиками и преследовать их, он, обсуждая первые времена, говорит:

«Церковь есть ассоциация свободная, отделяться от нее представляет только выгоду. Polemica против заблуждения осуществима только на основании мысли и чувства. Общая и единая догматическая форма до сих пор еще не выработана; частные разногласия свободно проявляются как на Востоке, так и на Западе; теология вовсе не прикована к неизменным формулам».

Если среди всего этого разногласия просвечивает фон общих верований, то разве мы не вправе в этом видеть не окончательно оформленную систему, составленную авторитетными представителями той или другой школы, а – самую веру в ее чистейшем побуждении и в самом непосредственном ее проявлении?

Если оказывается, что это самое единство, которое обнаруживается во всех основных верованиях, восстает против тех или других направлений, то разве мы не вправе из этого предположить, что эти направления были в противоречии с основными принципами христианства? И не обратится ли такое наше предположение в полную уверенность тогда, когда мы признаем в таком учении, отвергнутом церковью, характеристические черты той или другой отжившей религии?

Если допустить, что гностицизм и эбионитизм суть законные формы христианской мысли, то приходится смело признать, что вовсе нет ни христианской мысли, ни отличительного характера, по которому можно было бы ее узнать. Под предлогом ее расширить мы ее совсем упразднили бы. Во время Платона никто не посмел бы выразить свое одобрение такому учению, в котором не умещалась бы теория идей, и рассмешил бы всю Грецию тот, кто вздумал бы причислять Эпикура или Зенона к ученикам Академии. Итак, допустим, что если существует религия или учение, называемое христианством, то оно может иметь свои ереси (стр. 4)».

Все рассуждение автора сводится к тому, что всякое суждение, несогласное с исповедуемым нами в данное время сводом догматов, есть ересь. Но ведь в данное время и в данном месте люди что-нибудь да исповедуют и это исповедание чего-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь не может быть критерием истины.

Всякая так называемая ересь, признавая истиной то, что она исповедует, может точно так же найти в истории церкви последовательное выяснение того, что она исповедует, употребить для себя все аргументы Пресансе и называть только свое исповедание истинно христианским, что и делали и делают все ереси.

Единственное определение ереси есть название, которое дает собрание людей всякому суждению, опровергающему часть учения, исповедуемого собранием. Более же частное значение, чаще всего приписываемое ереси, есть значение мнения, опровергающее установленное и поддерживаемое светской властью церковное учение.

* * *

Есть замечательное малоизвестное огромное сочинение («Unparteiische Kirchen und Ketzer-Historie», 1729 г.) Готфрида Арнольда, трактующего прямо об этом предмете и показывающего всю незаконность, произвольность, бессмысленность и жестокость употребления слова «ересь» в смысле отвержения. Книга эта есть попытка описания истории христианства в форме истории ересей.

Во вступлении автор ставит ряд вопросов: 1) о тех, которые делают еретиков (von den Ketzermachern selbst); 2) о тех, кого делали еретиками; 3) о самих предметах ереси; 4) о способе делания еретиков и 5) о целях и последствиях делания еретиков.

На каждый из этих пунктов он ставит еще десятки вопросов, ответы на которые дает потом из сочинений известных богословов, а главное предоставляет самому читателю сделать вывод из изложения всей книги. Как образцы этих вопросов, заключающих в себе отчасти и ответы, приведу следующие. По 4-му пункту о том, как делаются еретики, он говорит в одном из вопросов (в 7-м): «Не показывает ли вся история того, что самые большие делатели еретиков и мастера этого дела были именно те мудрецы, от которых отец скрыл свои тайны, т. е. лицемеры, фарисеи и законники или совершенно безбожные и извращенные люди». (Вопр. 20–21): «И что не были ли в испорченные времена христианства отброшены лицемерами и завистниками те самые люди, особенно одаренные от Бога великими дарами, которые во времена чистого христианства были бы высоко почитаемы. И напротив, не были ли бы эти люди, которые при упадке христианства возвысили себя выше всего и признали себя учителями чистейшего христианства, не были ли бы те люди во времена апостолов и учеников Христа признаны самыми постыдными еретиками и антихристианами».

Между прочим, высказывая в этих вопросах мысль о том, что словесное выражение сущности веры, которое требовалось церковью и отступление от которого считалось ересью, никогда не могло вполне покрывать самого мирозерцания верующего и что потому требование выражения веры известными словами и производило ереси, он в вопросе 21-м и 33-м говорит:

«И что если человеку божественные дела и мысли представляются столь великими и глубокими, что он не находит соответствующих слов для их выражения, то следует ли его признать еретиком, если он не может вполне точно выразить свое понятие? И что не оттого ли в первые времена не было ереси, что христиане судили друг друга

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru

не по словесным выражениям, но по сердцу и делам, при совершенной свободе выражения своих мыслей, без страха быть признанным еретиком? Не было ли самым обыкновенным и легким способом церкви (говорит он в 31-м вопросе), если клир хотел избавиться или погубить кого, сделать это лицо подозрительным в его учении и набросить на него плащ еретичества и тем осудить и устранить это лицо?»

«Хотя и справедливо то, что среди так называемых еретиков были грехи и заблуждения, но не менее справедливо и очевидно из бесчисленных приводимых здесь примеров (т. е. в истории церкви и ереси) и то, говорит он далее, что нет и не было ни одного искреннего и совестливого человека с некоторым значением, который бы из зависти или других причин не был бы погублен церковниками».

* * *

Так почти 200 лет тому назад понималось уже значение ереси, и, несмотря на то, понятие это существует до сих пор. Оно и не может не существовать до тех пор, пока существует понятие церкви. Ересь есть обратная сторона церкви. Там, где есть церковь, должно быть и понятие ереси. Церковь есть собрание людей, утверждающих про себя, что они обладают несомненной истиной. Ересь есть мнение людей, не признающих несомненность истины церкви.

Ересь есть проявление движения в церкви, есть попытка разрушения заочневшего утверждения церкви, попытка живого понимания учения. Всякий шаг движения вперед, понимания и исполнения учения совершался еретиками: еретики были и Тертуллиан, и Ориген, и Августин, и Лютер, и Гус, и Савонарола, и Хельчицкий и др. Оно и не могло быть иначе.

Ученик Христа, учение которого состоит в вечном большем и большем постигновении учения и большем и большем исполнении его, в движении к совершенству, не может именно потому, что он ученик Христа, утверждать про себя или про другого, что он понимает вполне учение Христа и исполняет его; еще менее может утверждать это про какое-либо собрание.

На какой бы ступени понимания и совершенства ни находился ученик Христа, он всегда чувствует недостаточность своего и понимания и исполнения и всегда стремится к большему и пониманию и исполнению. И потому утверждение про себя или про какое-либо собрание, что я или мы находимся в обладании совершенного понимания и исполнения учения Христа, есть отречение от духа учения Христа.

Как ни странно это кажется, церкви, как церкви, всегда были и не могут не быть учреждениями не только чуждыми, но прямо враждебными учению Христа. Недаром Вольтер называл ее бесчестная; недаром все или почти все христианские так называемые секты признавали и признают церковь той блудницей, о которой пророчествует апокалипсис; недаром история церкви есть история величайших жестокостей и ужасов.

Церкви, как церкви, не суть некоторые учреждения, имеющие в основе своей христианское начало, хотя и несколько отклонившиеся от прямого пути, как это думают многие; церкви, как церкви, как собрания, утверждающие свою непогрешимость, суть учреждения противохристианские. Между церквами, как церквами, и христианством не только нет ничего общего, кроме имени, но это два совершенно противоположные и враждебные друг другу начала. Одно – гордость, насилие, самоутверждение, неподвижность и смерть; другое – смирение, покаяние, покорность, движение и жизнь.

Нельзя служить вместе этим двум господам, надо выбрать того или другого.

* * *

Служители церковей всех исповеданий, в особенности в последнее время, стараются выставить себя сторонниками движения в христианстве: они делают уступки, желают исправить вкравшиеся в церкви злоупотребления и говорят, что из-за злоупотреблений нельзя отрицать самого принципа христианской церкви, которая одна только может соединить всех воедино и быть посредницей между людьми и Богом.

Но это всё несправедливо. Церкви не только никогда не соединяли, но были всегда одной из главных причин разъединения людей, ненависти друг к другу, войн, побоищ, инквизиций, варфоломеевских ночей и т. п., и церкви никогда не служат посредниками между людьми и Богом, чего и не нужно и что прямо запрещено

Христом, открывшим свое учение прямо непосредственно каждому человеку, но ставят мертвые формы вместо Бога и не только не открывают, но заслоняют от людей Бога.

Церкви, возникшие из непонимания и поддерживающие это непонимание своей неподвижностью, не могут не преследовать и не гнать всякое понимание учения. Они стараются скрыть это, но это невозможно потому, что всякое движение вперед по пути, указанному Христом, разрушает их существование.

Послушаешь и почитаешь статьи и проповеди, в которых церковные писатели нового времени всех исповеданий говорят о христианских истинах и добродетелях, слушаешь и почитаешь эти веками выработанные искусные рассуждения, увещания, исповедания, иногда как будто похожие на искренние, и готов усомниться в том, чтобы церкви могли быть враждебны христианству:

«не может же быть того, чтобы эти люди, выставившие таких людей, как Златоусты, Фенелоны, Ботлеры, и других проповедников христианства, были враждебны ему».

Хочется сказать: «церкви могли отклоняться от христианства, ошибаться, но не могли они быть враждебны ему». Но посмотришь на плоды, чтобы оценить дерево, как учил Христос, и увидишь, что плоды их были злы, что последствием их деятельности было извращение христианства, и не можешь не признать, что, как ни добры были люди, – дело церкви, в котором эти люди участвовали, было нехристианское.

Доброта и достоинства всех этих людей, служивших церквам, были доброта и достоинства людей, но не того дела, которому они служили. Все эти добрые люди, – как оба Франциска, d'Assise и de Lobes, наш Тихон Задонский, Фома Кемпийский и др. были добрые люди, несмотря на то, что они служили делу, враждебному христианству, и они были бы еще добрее и достойнее, если бы не подпали тому заблуждению, которому служили.

* * *

Но зачем говорить о прошедшем, судить о прошедшем, которое может быть ложно представлено и мало известно нам: церкви со своими основами и с своей деятельностью не есть дело прошедшего: церкви теперь перед нами, и мы можем судить о них на деле по их деятельности, их влиянию на людей.

В чем же состоит теперь деятельность церквей? Как они влияют на людей? Что делается церквами у нас, у католиков, у протестантов всяких наименований; в чем их деятельность и какие последствия их деятельности?

Деятельность нашей русской, так называемой православной церкви на виду у всех. Это факт огромный, который скрыть нельзя и о котором спорить нельзя.

В чем состоит деятельность этой русской церкви, этого огромного напряженно действующего учреждения, состоящего из полумиллионного полчища, стоящего народу десятки миллионов?

Деятельность этой церкви состоит в том, чтобы всеми возможными мерами внушить 100-миллионной массе русского народа те отсталые, отжитые, не имеющие теперь никакого оправдания верования, которые когда-то исповедовали чуждые нашему народу люди и в которые почти никто уже не верит, часто даже и те, на обязанности которых лежит распространение этих ложных верований.

Внушение народу этих чуждых ему, отжитых и не имеющих уже никакого смысла для людей нашего времени формул византийского духовенства о троице, о Божией матери, о таинствах, о благодати и т. п. составляет одну часть деятельности русской церкви; другую часть ее деятельности составляет деятельность поддержания идолопоклонства в самом прямом смысле этого слова: почитания святых мощей, икон, принесения им жертв и ожидания от них исполнения желаний.

Не буду говорить о том, что говорится, пишется духовенством с оттенком научности и либерализма в духовных журналах, а буду говорить о том, что действительно совершается духовенством по всей обширной русской земле среди 100-миллионного народа.

Чему старательно, неупустительно, напряженно везде одинаково учат народ? Чего от него требуют в силу так называемой христианской веры?

* * *

Начну с начала, с рождения ребенка: при рождении ребенка учат тому, что надо над ребенком и матерью прочесть молитву, чтобы очистить их, так как без молитвы этой родившая мать погана. Для этого перед изображениями святых, называемых народом прямо богами, священник берет в руки ребенка и читает заклинательные слова и этим очищает мать. Потом внушается родителям и даже требуется от них под страхом наказания за неисполнение, чтобы ребенок был непременно крещен, т. е. обмокнут священником три раза в воду, причем читаются никому не понятные слова и совершаются еще менее понятные действия, – мазание маслом разных частей тела, стрижка волос и дутье и плевание восприимчивых на воображаемого дьявола. Всё это должно очистить ребенка и сделать его христианином.

Потом внушается родителям, что ребенка надо причастить, т. е. дать ему под видом хлеба и вина съесть частицу тела Христа, вследствие чего ребенок примет в себя благодать Христа и т. д. Потом внушается, что этого ребенка, по мере возраста, надо выучить молиться. Молиться – значит становиться прямо перед досками, на которых нарисованы лица Христа, богородицы, святых, и кланяться головой, всем телом, а правой рукой, со сложенными известным образом пальцами, дотрагиваться до лба, плеч, живота и произносить славянские слова, из которых самые употребительные и всем детям внушаемые: богородица, дева радуйся и т. д.

Потом внушается воспитываемому, что при виде всякой церкви и иконы надо делать опять то же, т. е. креститься; потом внушается, что в праздники (праздники – это дни, в которые Христос родился, хотя никто не знает, когда это было, дни, в которые он обрезался, в которые умерла богородица, в которые принесен крест, в которые внесена икона, в которые юродивый видел видение и т. п.), в праздники надо одеться в лучшие одежды и идти в церковь и покупать и ставить там свечи перед изображениями святых, подавать записочки и поминания и хлебцы, для вырезывания в них треугольников, и потом молиться много раз за здоровье и благоденствие царя и архиереев и за себя и за свои дела и потом целовать крест и руку у священника.

Кроме этой молитвы, внушается еще, что надо каждый год, по крайней мере один раз, говеть. Говеть – значит войти в церковь и сказать священнику свои грехи, предполагая, что это сообщение своих грехов чужому человеку совершенно очищает от грехов, и потом съесть с ложечки кусочек хлеба с вином, что еще более очищает.

Потом внушается, что если мужчина и женщина хотят, чтобы их плотское общение было свято, то они должны прийти в церковь, надеть на себя металлические короны, выпить питья, обойти под звуки пения три раза вокруг стола, и что тогда плотское общение мужчины и женщины делается святым и совсем особенным от всяких других.

В жизни же внушается, что надо соблюдать следующие правила: не есть мяса и молока в известные дни, еще и в другие известные дни служить молебны и панихиды по умершим, в праздники принимать священника и давать ему деньги и несколько раз в году брать из церкви доски с изображениями и носить их на полотенцах по полям и домам.

Перед смертью же внушается, что человек должен непременно съесть с ложечки хлеба с вином, а еще лучше, если успеет помазаться маслом. Это обеспечивает ему благо в будущей жизни. После же смерти внушается родным его, что для спасения души умершего полезно положить ему в руки печатную бумагу с молитвой; полезно еще, чтобы над мертвым телом прочли известную книгу и чтобы в церкви в известное время произносили бы имя умершего.

В этом считается обязательная вера для каждого.

Но если кто особенно хочет позаботиться о своей душе, то по этой вере внушается, что наибольшее обеспечение блаженства души на том свете достигается еще тем, чтобы жертвовать деньги на церкви и монастыри, обязывая этим святых людей молиться за себя. Спасительны еще, по этой вере, для души хождения по монастырям и целование явленных икон и мощей.

По этой вере явленные иконы и мощи сосредоточивают в себе особенную святость, силу и благодать и близость к этим предметам: прикосновение, целование, становление свеч к ним, подлезание под них много содействует спасению, равно и молебны, заказываемые перед этими святынями.

* * *

И вот эта-то вера, называемая православной, т. е. настоящей верой, под видом христианской, всеми силами в продолжение многих веков и с особенным напряжением теперь внушается народу!

И пусть не говорят, что православные учителя полагают сущность учения в чем-либо другом, а что это только древние формы, которые не считается нужным разрушать. Это неправда: по всей России всем русским духовенством и в последнее время с особенным напряжением внушается только эта вера. Другого ничего нет. Про другое говорится и пишется в столицах, но среди стомиллионного народа делается только это и внушается только это, и больше ничего. О другом церковники разговаривают, а это они внушают всеми возможными мерами.

Все это и поклонение лицам и иконам внесено в богословие, в катехизисы; этому старательно учат народ теоретически и практически, всеми средствами торжественности, блеска, авторитета, насилия гипнотизируя его, заставляют его верить в это и ревниво оберегают эту веру от каждой попытки освобождения народа от этих диких суеверий.

На моих глазах, как я говорил, по случаю моей книги, в продолжение многих лет учение Христа и его собственные слова о непротвлении злу были предметом насмешек, балаганных шуток, и церковники не только не противились этому, но поощряли это кощунство; но попробуйте сказать непочтительное слово о безобразном идоле, кощунственно развозимом по Москве пьяными людьми под именем Иверской, и поднимется стон негодования этих самых православных церковников.

Проповедуется только внешний культ идолопоклонства, – и пусть не говорят, что одно не мешает другому, что «сие надлежит делать и того не оставлять», что «всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают» (Мф. XXIII, 23, 3). Это сказано о фарисеях, которые исполняли все внешние предписания закона, и потому слова: «что велят вам соблюдать, соблюдайте», относятся к исполнению обрядов и упущению дел добра и имеют как раз обратный смысл того, который хотят придать этому месту церковники, толкуя так, что соблюдать ведено обряды. Внешний культ и служение милости и правде трудно совместимы: большую часть одно исключает другое. Так было это у фарисеев, так это и теперь у церковных христиан.

Если человек может спастись искуплением, таинствами, молитвой, то добрые дела уже не нужны ему.

Нагорная проповедь или символ веры: нельзя верить тому и другому. И церковники выбрали последнее: символ веры учится и читается, как молитва и в церквях, а нагорная проповедь исключена даже из чтений евангельских в церквях, так что в церквях никогда, кроме как в те дни, когда читается всё Евангелие, прихожане не услышат ее. Да и не может быть иначе: люди, верующие в злого и безрассудного Бога, – проклявшего род человеческий и обрекшего своего сына на жертву и часть людей на вечное мучение, – не могут верить в Бога любви. Человек, верующий в Бога Христа паки грядущего со славою судить и казнить живых и мертвых, не может верить в Христа, повелевающего подставлять щеку обидчику, не судить, прощать и любить врагов. Человек, верующий в боговдохновенность Ветхого Завета и святость Давида, завещающего на смертном одре убийство старика, оскорбившего его и которого он сам не мог убить, так как был связан клятвою (3-я книга Царей, глава 2, стих 8), и тому подобные мерзости, которыми полон Ветхий Завет, не может верить в нравственный закон Христа; человек, верующий в учение и проповедь церкви о совместимости с христианством казней, войн, не может уже верить в братство всех людей.

Главное же, человек, верующий в спасение людей верою в искупление или в таинства, не может уже все силы свои полагать на исполнение в жизни нравственного учения Христа. Человек, наученный церковью тому кощунственному учению о том, что человек не может спастись своими силами, а что есть другое средство, неизбежно будет прибегать к этому средству, а не к своим силам, на которые, его уверяют, грех надеяться.

Учение церковное – всякое, со своим искуплением и таинствами, – исключает Христово учение, тем более исключает его православное учение со своим идолопоклонством.

* * *

«Но народ сам так всегда верил, так верит теперь, – скажут на это. – Вся история русского народа доказывает это. Нельзя лишить народа его предания».

В этом-то и обман. Народ когда-то точно исповедовал нечто подобное тому, что исповедует теперь церковь, хотя далеко не то же самое (в народе, кроме этого изуверства икон, домовых, мощей и семиков с венками и березками, всегда было еще глубокое нравственное жизненное понимание христианства, которого никогда не было во всей церкви, а встречалось только в лучших представителях ее); но народ, несмотря на все препятствия, которые в этом ставило ему государство и церковь, давно уже пережил в лучших представителях своих эту грубую степень понимания, что он и показывает самозарождающимися везде рационалистическими сектами, которыми кишит теперь Россия и с которыми так безуспешно борются теперь церковники.

Народ идет вперед в сознании нравственной, жизненной стороны христианства. Первый вопрос, первое сомнение начинающего мыслить русского человека есть вопрос об явленных иконах и, главное, о мощах: правда ли, что они нетленны и что от них совершаются чудеса? Сотни и тысячи людей задают себе эти вопросы и затрудняются в разрешении их преимущественно тем, что архиереи, митрополиты и все высокопоставленные люди прикладываются к мощам и чудотворным иконам. Спросить у архиерея и высокопоставленных лиц, зачем они это делают, они скажут, что делают для народа, а народ прикладывается потому, что архиереи и высокопоставленные лица это делают.

Деятельность русской церкви, несмотря на весь тот внешний лоск современности, учености, духовности, который ее члены теперь начинают принимать в своих сочинениях, статьях, в духовных журналах и проповедях, состоит только в том, чтобы не только держать народ в том состоянии грубого и дикого идолопоклонства, в котором он находился, но еще усиливать и распространять суеверие и религиозное невежество, вытесняя из народа живущее в нем рядом с идолопоклонством жизненное понимание христианства.

Помню, раз в монастырской книжной лавке Оптиной пустыни, я присутствовал при выборе старым мужиком божественных книг для своего грамотного внука. Монах подсовывал ему описание мощей, праздников, явлений икон, псалтырь и т. п. Я спросил старика, есть ли у него Евангелие? Нет. «Дайте ему русское Евангелие», – сказал я монаху. «Это им нейдет», – сказал мне монах.

Это в сжатом виде деятельность нашей церкви. Ведь стоит только человеку нашего времени купить за 3 копейки Евангелие и прочесть ясные, не подлежащие перетолкованию слова Христа к самарянке о том, что отцу нужны поклонники не в Иерусалиме, не на той горе и не на этой, а поклонники в духе и истине, или слова о том, что молиться христианин должен не как язычник в храмах и на виду, а тайно, т. е. в своей клети, или что ученик Христа никого не должен называть отцом или учителем, стоит только прочесть эти слова, чтобы убедиться, что никакие духовные пастыри, называющиеся учителями в противоположность учению Христа и спорящие между собою, не составляют никакого авторитета и что то, чему нас учат церковники, не есть христианство.

* * *

Какие же нужны церквам усилия, чтобы, несмотря на все эти разрушающие веру условия, продолжать строить церкви, служить обедни, проповедовать, учить, обращать и, главное, получать за это огромное содержание, как все эти священники, пастыри, интенданты, суперинтенданты, аббаты, архидиаконы, епископы и архиепископы?

Нужны особенные, сверхъестественные усилия. И такие усилия, все более и более напрягая их, и употребляют церкви. У нас в России (кроме всех других) употребляется простое, грубое насилие покорной церкви власти. Людей, отступающих от внешнего выражения веры и высказывающих это, или прямо наказывают, или лишают прав; людей же, строго держащихся внешних форм веры, награждают, дают права.

Так поступают православные; но и все церкви без исключения пользуются всеми для этого средствами, из которых главное – то, что теперь называется гипнотизацией.

Пускаются в дело все искусства от архитектуры до поэзии для воздействия на души

людей и для одурения их, и воздействие это происходит непрерывающее. Особенно очевидна эта необходимость гипнотизирующего воздействия на людей для приведения их в состояние одурения на деятельности армии спасения, употребляющей новые, не привычные нам приемы труб, барабанов, песней, знамен, нарядов, шествий, плясок, слез и драматических приемов.

Но это нас поражает только потому, что это новые приемы; разве старые приемы храмов с особенным освещением, с золотом, блеском, свечами, хорами, органом, колоколами, ризами, плаксивыми проповедями и т. п. не то же самое?

Но, как ни сильно это действие гипнотизации, не в этом главная и самая злобная деятельность церквей. Главная и наизлобнейшая деятельность церкви есть та, которая направлена на обман детей, тех самых детей, про которых Христос сказал, что горе тому, кто соблазнит одного из малых сих. С самого первого пробуждения сознания ребенка его начинают обманывать, с торжественностью внушать ему то, во что не верят сами внушающие, и внушать до тех пор, пока обман не срастется посредством привычки с природой ребенка. Ребенка старательно обманывают в самом важном деле в жизни, и когда обман так сросся с его жизнью, что уже трудно оторвать его, тогда перед ребенком открывают весь мир науки и действительности, который никаким образом не может совместиться с внушенными ему верованиями, предоставляя ему разбираться самому, как он умеет, в этих противоречиях.

Ведь если поставить себе задачей запутать человека так, чтобы он не мог со здоровым умом выбраться из внушенных ему с детства двух противоположных мирозерцаний, то нельзя ничего придумать сильнее того, что совершается над всяким молодым человеком, воспитываемым в нашем так называемом христианском обществе.

Ужасно то, что делают над людьми церкви, но если вдуматься в их положение, то тем людям, которые составляют учреждение церквей, иначе поступать нельзя. Перед церквами стоит дилемма: нагорная проповедь или Никейский символ – одно исключает другое: если человек искренно поверит в нагорную проповедь, Никейский символ неизбежно потеряет для него смысл и значение и вместе с ним церковь и ее представители; если же человек поверит в Никейский символ, т. е. в церковь, т. е. в тех, которые называют себя представителями ее, то нагорная проповедь станет для него излишняя. И потому церквам нельзя не употреблять всех возможных усилий для затемнения смысла нагорной проповеди и для привлечения к себе людей.

Только благодаря напряженной деятельности церквей в этом направлении держалось до сих пор влияние церквей. Останови церковь хоть на самый короткий срок это воздействие на массы гипнотизацией и обманом детей, и люди поймут учение Христа. А понимание учения уничтожает церкви и значение их. И потому церкви ни на мгновение не прекращают усиленной деятельности и гипнотизации взрослых и обмана детей. И вот эта-то деятельность церквей, внушающая людям ложное понимание учения Христа, и служит препятствием понимания его для большинства людей, так называемых верующих.

* * *

Теперь скажу о другом мнимом понимании христианства, мешающем истинному пониманию его, – о понимании научном.

Церковные люди считают христианством то представление о нем, которое они себе составили, и это-то понимание христианства считают единым несомненно истинным.

Люди науки считают христианством только то, что исповедовали и исповедуют различные церкви, и, предполагая, что исповедания эти исчерпывают всё значение христианства, признают его отжившим свое время религиозным учением.

Для того, чтобы ясно было, как невозможно при таком взгляде понять христианское учение, необходимо составить себе понятие о том месте, которое в действительности занимали и занимают религии вообще и, в частности, христианская в жизни человечества, и о том значении, которое приписывается им наукой.

Как отдельный человек не может жить, не имея известного представления о смысле своей жизни, и всегда, хотя часто и бессознательно, соображает свои поступки с этим придаваемым им своей жизни смыслом, так точно и совокупности людей, живущих в одинаковых условиях – народы, не могут не иметь представления о смысле их

совокупной жизни и вытекающей из нее деятельности. И как отдельный человек, вступающий в новый возраст, неизбежно изменяет свое понимание жизни, и взрослый человек видит смысл ее в ином, чем ребенок, так точно и совокупность людей, народа, неизбежно, соответственно возрасту своему, изменяет свое понимание жизни и вытекающую из этого понимания деятельность.

Различие в этом отношении отдельного человека от всего человечества состоит в том, что, тогда как отдельный человек в определении свойственного тому новому периоду жизни, в который он вступает, понимания жизни и вытекающей из него деятельности пользуется указаниями прежде живших его людей, переживших уже тот возраст, в который он вступает, человечество не может иметь этих указаний, потому что оно всё подвигается по не исследованному еще пути и не у кого спросить, как надо понимать жизнь и действовать в тех новых условиях, в которые оно вступает и в которых еще никто никогда не жил.

А между тем как человеку женатому и с детьми невозможно продолжать понимать жизнь так же, как он понимал ее, будучи ребенком, так и человечеству нельзя уже, при совершившихся разнообразных изменениях: и густоты населения, и установившегося общения между разными народами, и усовершенствования способов борьбы с природой, и накопления знаний, – продолжать понимать жизнь по-прежнему, а необходимо установить новое жизнепонимание, из которого и вытекла бы и деятельность, соответствующая тому новому состоянию, в которое оно вступило или вступает.

На это – то требование и отвечает особенная способность человечества выделять из себя людей, дающих новый смысл всей жизни человеческой, – смысл, из которого вытекает вся иная, чем прежняя, деятельность. Установление этого свойственного человечеству в тех новых условиях, в которые оно вступает, жизнепонимания и вытекающей из него деятельности и есть то, что называется религия.

И потому религия, во-первых, не есть, как это думает наука, явление, когда-то сопутствовавшее развитию человечества, но потом пережитое им, а есть всегда присущее жизни человечества явление, и в наше время столь же неизбежно присущее человечеству, как и во всякое другое время. Во-вторых, религия всегда есть определение деятельности будущего, а не прошедшего, и потому очевидно, что исследование прошедших явлений ни в каком случае не может захватить сущности религии.

Сущность всякого религиозного учения – не в желании символического выражения сил природы, не в страхе перед ними, не в потребности к чудесному и не во внешних формах ее проявления, как это думают люди науки. Сущность религии в свойстве людей пророчески предвидеть и указывать тот путь жизни, по которому должно идти человечество, в ином, чем прежде, определении смысла жизни, из которого вытекает и иная, чем прежняя, вся будущая деятельность человечества.

Свойство этого провидения того пути, по которому должно идти человечество, в большей или меньшей степени обще всем людям; но всегда во все времена были люди, в которых это свойство проявлялось с особенной силой, и люди эти ясно и точно выражали то, что смутно чувствовали все люди, и устанавливали новое понимание жизни, из которого вытекала иная, чем прежняя, деятельность, на многие сотни и тысячи лет.

* * *

Таких пониманий жизни мы знаем три: два уже пережитых человечеством, и третье, которое мы теперь переживаем в христианстве. Пониманий таких три, и только три, не потому, что мы произвольно соединили различные жизнепонимания в эти три, а потому, что поступки всех людей имеют всегда в основе одно из этих трех жизнепониманий, потому что иначе, как только этими тремя способами, мы не можем понимать жизнь.

Три жизнепонимания эти следующие: первое – личное, или животное, второе – общественное, или языческое, и третье – всемирное, или Божеское.

По первому жизнепониманию жизнь человека заключается в одной его личности; цель его жизни – в удовлетворении воли этой личности. По второму жизнепониманию жизнь человека заключается не в одной его личности, а в совокупности и последовательности личностей; в племени, семье, роде, государстве; цель жизни заключается в удовлетворении воли этой совокупности личностей. По третьему

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
жизнепониманию жизнь человека заключается и не в своей личности и не в совокупности и последовательности личностей, а в начале и источнике жизни – в Боге.

Эти три жизнепонимания служат основой всех существовавших и существующих религий.

Дикарь признает жизнь только в себе, в своих личных желаниях. Благо его жизни сосредоточено в нем одном. Высшее благо для него есть наиполнейшее удовлетворение его похоти. Двигатель его жизни есть личное наслаждение. Религия его состоит в умилоствлении божества к своей личности и в поклонении вообразимым личностям богов, живущим только для личных целей.

Человек языческий, общественный признает жизнь уже не в одном себе, но в совокупности личностей – в племени, семье, роде, государстве, и жертвует для этих совокупностей своим личным благом. Двигатель его жизни есть слава. Религия его состоит в возвеличении глав союзов: родоначальников, предков, государей и в поклонении богам – исключительным покровителям его семьи, его рода, народа, государства.

Человек божеского жизнепонимания признает жизнь уже не в своей личности и не в совокупности личностей (в семье, роде, народе, отечестве или государстве), а в источнике вечной, неумирающей жизни – в Боге; и для исполнения воли Бога жертвует и своим личным, и семейным, и общественным благом. Двигатель его жизни есть любовь. И религия его есть поклонение делом и истиной началу всего – Богу.

Вся жизнь историческая человечества есть не что иное, как постепенный переход от жизнепонимания личного, животного к жизнепониманию общественному и от жизнепонимания общественного к жизнепониманию божескому. Вся история древних народов, продолжавшаяся тысячелетия и заканчивающаяся историей Рима, есть история замены животного, личного жизнепонимания общественным и государственным. Вся история со времени императорского Рима и появления христианства есть, переживаемая нами и теперь, история замены государственного жизнепонимания божеским.

Вот это – последнее жизнепонимание и основанное на нем христианское учение, руководящее всей нашей жизнью и лежащее в основе всей нашей деятельности, как практической, так и научной, люди мнимой науки, рассматривая его только по его внешним признакам, признают чем-то отжившим и не имеющим для нас значения.

Учение это, по мнению людей науки, заключающееся только в его догматической стороне – в учении о троице, искуплении, чудесах, церкви, таинствах и пр., – есть только одна из огромного количества религий, которые возникали в человечестве и теперь, сыграв свою роль в истории, отживает свое время, уничтожаясь перед светом науки и истинного просвещения.

Происходит то, что в большей части случаев служит источником самых грубых заблуждений людских: люди, стоящие на низшей степени понимания, встречаясь с явлениями высшего порядка, – вместо того чтобы сделать усилия, чтобы понять их, чтобы подняться на ту точку зрения, с которой должно смотреть на предмет, – обсуживают его с своей низшей точки зрения, и с тем большей смелостью и решительностью, чем меньше они понимают то, о чем говорят.

Для большинства научных людей, рассматривающих жизненное нравственное учение Христа с низшей точки зрения общественного жизнепонимания, учение это есть только весьма неопределенное, нескладное соединение индийского аскетизма, стоического и неоплатонического учения и утопических антисоциальных мечтаний, не имеющих никакого серьезного значения для нашего времени, и все значение его сосредоточивается для них в его внешних проявлениях: в католичестве, протестантстве, догматах, борьбе с светской властью. Определяя по этим явлениям значение христианства, они подобны глухим, которые судили бы о значении и достоинстве музыки по виду движений музыкантов.

От этого происходит то, что все эти люди, начиная от Конта, Страуса, Спенсера и Ренана, не понимая смысла речей Христа, не понимая того, чему и зачем они сказаны, не понимая даже и вопроса, на который они служат ответом, не давая себе даже труда вникнуть в смысл их, прямо, если они враждебно настроены, отрицают разумность учения; если же они хотят быть снисходительны к нему, то с высоты

своего величия поправляют его, предполагая, что Христос хотел сказать то самое, что они думают, но не сумел этого сделать. Они обращаются с его учением так, как большею частью, поправляя слова своего собеседника, говорят самоуверенные люди с тем, кого они считают много ниже себя: «Да, вы собственно хотите сказать то-то и то-то». Поправка эта делается всегда в том смысле, чтобы учение высшего, божеского жизнепонимания свести к низшему, общественному.

* * *

Обыкновенно говорят, что нравственное учение христианства хорошо, но преувеличено, – что для того, чтобы оно было вполне хорошо, надо откинуть от него излишнее, не подходящее к нашему строю жизни. «А то учение, требующее слишком многого, неисполнимого, хуже, чем то, которое требует от людей возможного, соответственно их силам», – думают и утверждают ученые толкователи христианства, повторяя при этом то, что давно уже утверждали и утверждают и не могли не утверждать о христианском учении те, которые, не поняв его, распяли за то Учителя, – евреи.

Оказывается, что перед судом ученых нашего времени закон еврейский: зуб за зуб и око за око, – закон справедливого возмездия, известный человечеству 5000 лет тому назад, более целесообразен, чем закон любви, 1800 лет тому назад проповеданный Христом на место этого самого закона справедливости.

Оказывается, что всё то, что было сделано теми людьми, которые поняли учение Христа прямо и жили сообразно с таким пониманием, – всё то, что делали и говорили все истинные христиане, все христианские подвижники, всё то, что преобразовывает мир теперь под видом социализма и коммунизма, всё это преувеличения, о которых не стоит и говорить.

Люди, 18 веков воспитанные в христианстве, в лице своих передовых людей, ученых, убедились в том, что христианское учение есть учение о догматах; жизненное же учение есть недоразумение, есть преувеличение, нарушающее настоящие законные требования нравственности, соответствующие природе человека, и что то самое учение справедливости, которое отверг Христос, на месте которого он поставил свое учение, гораздо пригоднее нам.

Ученым людям заповедь непротивления злу насилеием кажется преувеличением и даже неразумием. Если откинуть ее, то будет гораздо лучше, думают они, не замечая того, что они толкуют вовсе не об учении Христа, а о том, что им представляется таковым.

Они не замечают того, что сказать, что в учении Христа заповедь о непротивлении злу насилеием есть преувеличение, всё равно что сказать, что в учении о круге положение о равенстве радиусов круга есть преувеличение. И те, которые говорят это, делают совершенно то же, что делал бы человек, не имеющий понятия о том, что есть круг, который бы утверждал, что требование того, чтобы все точки окружности были в равном расстоянии от центра, – есть преувеличение. Советовать откинуть или умерить положение о равенстве радиусов в круге – значит не понимать того, что есть круг. Советовать откинуть или умерить в жизненном учении Христа заповедь о непротивлении злу насилеием – значит не понимать учения.

И те, которые делают это, действительно совершенно не понимают его. Они не понимают того, что учение это есть установление нового понимания жизни, соответствующего тому новому состоянию, в которое вот уже 1800 лет вступили люди, и определение той новой деятельности, которая из него вытекает. Они не верят тому, что Христос хотел сказать то, что сказал: или им кажется, что он по увлечению, по неразумию, по незрелости своей говорил это.

Можно не разделять этого жизнепонимания, можно отрицать его, можно доказывать неточность, неправильность его; но невозможно судить об учении, не усвоив того жизнепонимания, из которого оно вытекает, а тем более невозможно судить о предмете высшего порядка с низшей точки зрения: глядя на фундамент, судить о колокольне. А это самое делают люди научные нашего времени. Делают они это потому, что находятся в подобном же церковным людям заблуждении о том, что они обладают такими приемами изучения предмета, что если только употреблены эти приемы, называемые научными, то не может уже быть сомнения в истинности понимания обсуждаемого предмета.

Это-то обладание мнимым непогрешимым их орудием познания и служит главным

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
препятствием понимания христианского учения для людей неверующих и так называемых научных, мнением которых и руководится все огромное большинство неверующих, так называемых образованных людей. Из этого-то мнимого понимания вытекают все заблуждения научных людей о христианском учении и в особенности два странных недоразумения, более всего другого препятствующие правильному пониманию его.

* * *

Одно из этих недоразумений то, что христианское жизненное учение неисполнимо и потому или вовсе не обязательно, т. е. не должно быть принимаемо за руководство, или должно быть видоизменено, умерено до тех пределов, в которых исполнение его возможно в нашем обществе. Другое недоразумение то, что христианское учение любви к Богу и потому служение Ему есть требование неясное, мистическое, не имеющее определенного предмета любви, которое поэтому должно быть заменено более точным и понятным учением о любви к людям и служении человечеству.

Первое недоразумение о неисполнимости учения состоит в том, что люди общественного жизнепонимания, не понимая того способа, которым руководит людей христианское учение, и принимая христианское указание совершенства за правила, определяющие жизнь, думают и говорят, что следование учению Христа невозможно, потому что полное исполнение требований этого учения уничтожает жизнь. «Если бы человек исполнил то, что проповедуется Христом, то он уничтожил бы свою жизнь; и если бы все люди исполнили это, то прекратился бы и род человеческий», – говорят они.

«Не заботясь о завтрашнем дне, – о том, что есть и что пить, во что одеться; не защищая свою жизнь, не противясь злу насилем, отдавая свою жизнь за других своя и соблюдая полное целомудрие, человек и человеческий род не могут существовать», – думают и говорят они.

И они совершенно правы, если принимать указания совершенства, даваемые учением Христа, за правила, которые каждый обязан исполнять так же, как в общественном учении всякий обязан исполнять правило уплаты податей, участия в суде и т. п.

Недоразумение состоит именно в том, что учение Христа руководит людьми иным способом, чем руководят учения, основанные на низшем жизнепонимании. Учения общественного жизнепонимания руководят только требованием точного исполнения правил или законов. Учение Христа руководить людьми указанием им того бесконечного совершенства Отца небесного, к которому свойственно произвольно стремиться всякому человеку, на какой бы ступени несовершенства он ни находился.

Недоразумение людей, судящих о христианском учении с точки зрения общественного, состоит в том, что они, предполагая, что совершенство, указываемое Христом, может быть вполне достигнуто, спрашивают себя (так же, как они спрашивают себя, предполагая, что законы общественные будут исполнены), что будет, когда это все будет исполнено? Предположение это ложно, потому что совершенство, указываемое христианам, бесконечно и никогда не может быть достигнуто; и Христос дает свое учение, имея в виду то, что полное совершенство никогда не будет достигнуто, но что стремление к полному, бесконечному совершенству постоянно будет увеличивать благо людей и что благо это поэтому может быть увеличиваемо до бесконечности.

Христос учит не ангелов, но людей, живущих животной жизнью, движущихся ею. И вот к этой животной силе движения Христос как бы прикладывает новую, другую силу сознания божеского совершенства – направляет этим движение жизни по равнодействующей из двух сил.

Полагать, что жизнь человеческая пойдет по направлению, указанному Христом, все равно, что полагать, что лодочник, переплывая быструю реку и направляя свой ход почти прямо против течения, поплывет по этому направлению.

Христос признает существование обеих сторон параллелограмма, обеих, вечных, неуничтожимых сил, из которых слагается жизнь человека: силу животной природы и силу сознания сыновности Богу. Не говоря о силе животной, которая, сама себя утверждая, остается всегда равна сама себе и находится вне власти человека, Христос говорит только о силе божеской, призывая человека к наибольшему сознанию ее, к наибольшему освобождению ее от того, что задерживает ее, и к доведению ее до высшей степени напряжения.

В этом освобождении – увеличении этой силы и состоит, по учению Христа, истинная жизнь человека. Истинная жизнь, по прежним условиям, состоит в исполнении правил закона; по учению Христа она состоит в наибольшем приближении к указанному и сознаваемому каждым человеком в себе божескому совершенству, в большем и большем приближении к слиянию своей воли с волей Божией, слиянию, к которому стремится человек и которое было бы уничтожением той жизни, которую мы знаем.

Божеское совершенство есть асимптота жизни человеческой, к которому она всегда стремится и приближается и которое может быть достигнуто ею только в бесконечности.

* * *

Учение христианское кажется исключаящим возможность жизни только тогда, когда люди указание идеала принимают за правило. Только тогда представляются уничтожающими жизнь те требования, которые предъявляются учением Христа. Требования эти, напротив, одни дают возможность истинной жизни. Без этих требований невозможна бы была истинная жизнь.

«Нельзя требовать слишком многого», – говорят обыкновенно люди, обсуждая требования христианского учения; «нельзя требовать того, чтобы совсем не заботиться о будущем, как это сказано в Евангелии, но надо только не слишком много заботиться; нельзя отдавать бедным всего, но надо отдавать известную, определенную часть; не надо стремиться к девственности, но надо избегать разврата; не надо оставлять жену и детей, но надо не иметь к ним слишком большого пристрастия» и т. д.

Но говорить так – все равно, что говорить человеку, переплывающему быструю реку и направляющему свой ход против течения, что нельзя переплыть реку, направляясь против течения, что для того, чтобы переплыть ее, надо плыть по тому направлению, по которому он хочет идти.

Учение Христа тем отличается от прежних учений, что оно руководит людьми не внешними правилами, а внутренним сознанием возможности достижения божеского совершенства. И в душе человека находятся не умеренные правила справедливости и филантропии, а идеал полного, бесконечного божеского совершенства. Только стремление к этому совершенству отклоняет направление жизни человека от животного состояния к божескому настолько, насколько это возможно в этой жизни.

Для того, чтобы пристать к тому месту, к которому хочешь, надо всеми силами направлять ход гораздо выше.

Спустить требования идеала значит не только уменьшить возможность совершенства, но уничтожить самый идеал. Идеал, действующий на людей, есть не выдуманный кем-то идеал, но идеал, носимый в душе каждым человеком. Только этот идеал полного бесконечного совершенства действует на людей и подвигает их к деятельности. Умеренное совершенство теряет свою силу воздействия на души людей.

Учение Христа только тогда имеет силу, когда оно требует полного совершенства, т. е. слияния божеской сущности, находящейся в душе каждого человека, с волей Бога, – соединения сына с Отцом. Только это освобождение сына Божия, живущего в каждом человеке, из животного и приближение его к Отцу и составляет жизнь по учению Христа.

Существование в человеке животного, только животного, не есть жизнь человеческая. Жизнь по одной воле Бога тоже не есть жизнь человеческая. Жизнь человеческая есть составная из жизни животной и жизни божеской. И чем более приближается эта составная к жизни божеской, тем больше жизни.

Жизнь, по учению христианскому, есть движение к божескому совершенству. Ни одно состояние по этому учению не может быть выше или ниже другого. Всякое состояние, по этому учению, есть только известная, сама по себе безразличная ступень к недостижимому совершенству и потому само по себе не составляет ни большей, ни меньшей степени жизни. Увеличение жизни, по этому учению, есть только ускорение движения к совершенству. И потому движение к совершенству мытаря Закхея, блудницы, разбойника на кресте составляет высшую степень жизни, чем неподвижная праведность фарисея. И потому-то для этого учения не может быть правил, обязательных для исполнения. Человек, стоящий на низшей ступени, подвигаясь к совершенству, живет нравственнее, лучше, более исполняет учение, чем человек,

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
стоящий на гораздо более высокой ступени нравственности, но не подвигающийся к совершенству.

В этом-то смысле заблудшая овца дороже Отцу заблудшихся. Блудный сын, потерянная и опять найденная монета дороже тех, которые не пропадали.

Исполнение учения – в движении от себя к Богу. Очевидно, что для такого исполнения учения не может быть определенных законов и правил. Всякая степень совершенства и всякая степень несовершенства равны перед этим учением; никакое исполнение законов не составляет исполнения учения; и потому для учения этого нет и не может быть обязательных правил и законов.

* * *

Из этого коренного отличия учения Христа от всех предшествующих учений, основанных на общественном непонимании, происходит и различие заповедей общественных от заповедей христианских. Заповеди общественные большей частью положительные, предписывающие известные поступки, оправдывающие людей, дающие им праведность. Заповеди же христианские (заповедь любви не есть заповедь в тесном смысле слова, а выражение самой сущности учения), пять заповедей нагорной проповеди – все отрицательные и показывают только то, чего на известной степени развития человечества люди могут уже не делать. Заповеди эти суть как бы заметки на бесконечном пути совершенства, к которому идет человечество, той степени совершенства, которая возможна в известный период развития человечества.

В нагорной проповеди выражены Христом и вечный идеал, к которому свойственно стремиться людям, и та степень его достижения, которая уже может быть в наше время достигнута людьми.

Идеал состоит в том, чтобы не иметь зла ни на кого, не вызвать недоброжелательства ни в ком, любить всех; заповедь же, указывающая степень, ниже которой вполне возможно не спускаться в достижении этого идеала, в том, чтобы не оскорблять людей словом. И это составляет первую заповедь.

Идеал – полное целомудрие даже в мыслях; заповедь, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться в достижении этого идеала, – чистота брачной жизни, воздержание от блуда. И это составляет вторую заповедь.

Идеал – не заботиться о будущем, жить настоящим часом; заповедь, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться – не клясться, вперед не обещать ничего людям. И это – третья заповедь.

Идеал – никогда ни для какой цели не употреблять насилия; заповедь, указывающая степень, ниже которой вполне возможно не спускаться, – не платить злом за зло, терпеть обиды, отдавать рубаху. И это – четвертая заповедь.

Идеал – любить врагов, ненавидящих нас; заповедь, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться, – не делать зла врагам, говорить о них доброе, не делать различия между ними и своими согражданами.

Все эти заповеди суть указания того, чего на пути стремления к совершенству мы имеем полную возможность уже не делать, – того, над чем мы должны работать теперь, – того, что понемногу мы должны переводить в область привычки, в область бессознательного. Но заповеди эти не только не составляют учения и не исчерпывают его, но составляют только одну из бесчисленных ступеней его в приближении к совершенству.

За этими заповедями должны и будут следовать высшие и высшие по пути совершенства, указываемого учением.

И потому христианскому учению свойственно заявлять требования высшие, чем те, которые выражены в этих заповедях; но никак не умалять требования ни самого идеала, ни этих заповедей, как это делают люди, судящие об учении христианства с точки зрения общественного непонимания.

* * *

Таково одно недоразумение людей научных относительно значения и смысла учения Христа. Другое, вытекающее из этого же источника, состоит в замене христианского

требования любви к Богу и служения Ему любовью и служением людям – человечеству.

Христианское учение любви к Богу и служения Ему и (только вследствие этой любви и служения) любви и служения ближнему кажется людям научным неясным, мистическим и произвольным, и они исключают совершенно требование любви и служения Богу, полагая, что учение об этой любви к людям, к человечеству гораздо понятнее, тверже и более обосновано.

Научные люди теоретически учат тому, что жизнь осмысленная и добрая есть только жизнь служения всему человечеству; и в этом самом учении видят смысл христианского учения; к этому учению сводят христианское учение; для этого своего учения отыскивают подтверждение в христианском учении, предполагая, что их учение и христианское – одно и то же.

Мнение это совершенно ошибочно. Христианское учение и учение позитивистов, коммунистов и всех проповедников всемирного братства людей, основанное на выгоде этого братства, не имеют ничего общего между собой и отличаются друг от друга в особенности тем, что учение христианское имеет твердые, ясные основы в душе человеческой; учение же любви к человечеству есть только теоретический вывод по аналогии.

Учение о любви к одному человечеству имеет в основе своей общественное жизнепонимание.

Сущность общественного жизнепонимания состоит в перенесении смысла своей личной жизни в жизнь совокупности личностей: племени, семьи, рода, государства. Перенесение это совершалось и совершается легко и естественно в первых своих формах, в перенесении смысла жизни из своей личности в племя, семью. Перенесение же в род или народ уже труднее и требует особенного воспитания для этого; перенесение же сознания в государство уже составляет предел такого перенесения.

Любить себя естественно каждому, и каждый себя любит без поощрения к этому, любить свое племя, поддерживающее и защищающее меня, любить жену – радость и помощь жизни, своих детей – утеху и надежды жизни, и своих родителей, давших жизнь и воспитание, – естественно; и любовь эта, хотя далеко не столь сильная, как любовь к себе, встречается довольно часто.

Любить для себя, для своей гордости свой род, свой народ хотя уже не так естественно, все-таки встречается. Любовь своего одноплеменного, одноязычного, одноплеменного народа еще возможна, хотя чувство это далеко не такое сильное не только как любовь к себе, но и к семье или роду; но любовь к государству, как Турция, Германия, Англия, Австрия, Россия, – уже почти невозможная вещь и, несмотря на усиленное воспитание в этом направлении, только предполагается и не существует в действительности. На этой совокупности уже кончается возможность для человека переносить свое сознание и испытывать в этой фикции какое-либо непосредственное чувство. Позитивисты же и все проповедники научного братства, не принимая во внимание ослабление чувства по мере расширения предмета, теоретически рассуждают далее в том же направлении. «Если, – говорят они, – личности было выгодно перенести свое сознание в племя, семью, а потом в народ, государство, то еще выгоднее будет перенести свое сознание в совокупность всего человечества и всем жить для человечества так же, как люди живут для семьи, для государства».

Оно теоретически действительно так выходит. Перенос сознания и любовь личности в семью, из семьи в род, народ, государство, было бы вполне логично и людям для избавления себя от борьбы и бедствий, которые происходят от разделения человечества на народы и государства, естественнее всего перенести свою любовь на человечество. Казалось бы, это логичнее всего, и теоретически проповедают это, не замечая того, что любовь есть чувство, которое можно иметь, но которое нельзя проповедовать, и что, кроме того, для любви должен быть предмет, а человечество не есть предмет, а только фикция.

Племя, семья, даже государство не выдуманы людьми, но образовались сами собой, как рой пчел, муравьев, и действительно существуют. Человек, любящий для своей животной личности семью, знает, кого он любит: Анну, Марью, Ивана, Петра и т. д. Человек, любящий род и гордящийся им, знает, что он любит всех гвельфов или всех гибеллинов любящий государство знает, что он любит Францию по берег Рейна и Пиренеи, и главный город ее Париж, и ее историю и т. д. Но что любит человек,

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
любящий человечество? Есть государство, народ, есть отвлеченное понятие:
человек; но человечества, как реального понятия нет и не может быть.

Человечество? Где предел человечества? Где оно кончается или начинается?
Кончается ли человечество дикарем, идиотом, алкоголиком, сумасшедшим
включительно? Если мы проведем черту, отделяющую человечество, так что исключим
низших представителей человеческого рода, то где мы проведем черту? Исключим ли
мы негров, как их исключают американцы, и индийцев, как их исключают некоторые
англичане, и евреев, как их исключают некоторые? Если же мы захватим всех людей
без исключения, то почему же мы захватим одних только людей, а не высших
животных, из которых многие выше низших представителей человеческого рода?

Человечество мы не знаем, как внешний предмет, не знаем пределов его.
Человечество есть фикция, и его нельзя любить. Действительно, очень выгодно бы
было, если бы люди могли любить человечество, как они любят семью; было бы очень
выгодно, как про это толкуют коммунисты, заменить соревновательное направление
деятельности людской общинным или индивидуальное – универсальным, чтобы каждый
для всех и все для одного, да только нет для этого никаких мотивов.

* * *

Позитивисты, коммунисты и все проповедники научного братства проповедуют
расширять ту любовь, которую люди имеют в себе, и к своим семьям, и к
государству на все человечество, забывая то, что любовь, которую они
проповедуют, есть любовь личная, которая могла, разжижаясь, распространиться до
естественного отечества, которая совершенно исчезает, касаясь искусственного
государства, как Австрия, Англия, Турция, и которой мы даже не можем себе
представить, когда дело касается всего человечества, предмета вполне
мистического.

«Человек любит себя (свою животную жизнь), любит семью, любит даже отечество.
Отчего же бы ему не полюбить и человечество? Так бы это хорошо было. Кстати же
это самое проповедует и христианство». Так думают проповедники позитивного,
коммунистического, социалистического братства. Действительно, это бы было очень
хорошо, но никак этого не может быть, потому что любовь, основанная на личном и
общественном непонимании, дальше любви к государству идти не может.

Ошибка рассуждения в том, что непонимание общественное, на котором основана
любовь к семье и к отечеству, зиждется на любви к личности и что эта любовь,
переносясь от личности к семье, роду, народности, государству, все слабеет и
слабеет и в государстве доходит до своего последнего предела, дальше которого
она идти не может.

Необходимость расширения области любви несомненна; но вместе с тем эта самая
необходимость расширения ее в действительности уничтожает возможность любви и
доказывает недостаточность любви личной, человеческой.

И вот тут-то проповедники позитивистического, коммунистического, социального
братства на помощь этой оказавшейся несостоятельной человеческой любви
предлагают христианскую любовь, но только в ее последствиях, но не в ее основах:
они предлагают любовь к одному человечеству без любви к Богу.

Но любви такой не может быть. Для нее нет никакого мотива. Христианская любовь
вытекает только из христианского непонимания, по которому смысл жизни состоит
в любви и служении Богу.

Естественным ходом от любви к себе, потом к семье, к роду, к народу,
государству, общественное непонимание привело людей к сознанию необходимости
любви к человечеству, не имеющему пределов и сливающемуся со всем существующим,
– к чему-то не вызывающему в человеке никакого чувства, привело к противоречию,
которое не может быть разрешено общественным непониманием.

Только христианское учение во всем его значении, давая новый смысл жизни,
разрешает его. Христианство признает любовь и к себе, и к семье, и к роду, и к
человечеству, не только к человечеству, но ко всему живому, ко всему
существующему, признает необходимость бесконечного расширения области любви; но
предмет этой любви оно находит не вне себя, не в совокупности личностей: в
семье, роде, государстве, человечестве, во всем внешнем мире, но в себе же, в
своей личности, но личности божеской, сущность которой есть та самая любовь, к

потребности расширения которой приведена была личность животная, спасаясь от сознания своей погибельности.

Различие христианского учения от прежних – то, что прежнее учение общественное говорило: живи противно твоей природе (подразумевая одну животную природу), подчиняй ее внешнему закону семьи, общества, государства; христианство говорит: живи сообразно твоей природе (подразумевая божественную природу), не подчиняя ее ничему, – ни своей, ни чужой животной природе, и ты достигнешь того самого, к чему ты стремишься, подчиняя внешним законам свою внешнюю природу.

Христианское учение возвращает человека к первоначальному сознанию себя, но только не себя животного, а себя – Бога, искры Божьей, себя – сына Божия, Бога такого же, как и Отец, но заключенного в животную оболочку. И сознание себя этим сыном Божиим, главное свойство которого есть любовь, удовлетворяет и всем тем требованиям расширения области любви, к которой был приведен человек общественного жизнепонимания. Так, при все большем и большем расширении области любви для спасения личности, любовь была необходимостью и приурочивалась к известным предметам: к себе, семье, обществу, человечеству; при христианском мировоззрении любовь есть не необходимость и не приурочивается ни к чему, есть существенное свойство души человека. Человек любит не потому, что ему выгодно любить того-то и тех-то, а потому, что любовь есть сущность его души, потому что он не может не любить.

Христианское учение есть указание человеку на то, что сущность его души есть любовь, что благо его получается не оттого, что он будет любить того-то и того-то, а оттого, что он будет любить начало всего – Бога, которого он сознает в себе любовью, и потому будет любить всех и все.

В этом состоит основное различие христианского учения от учения позитивистов и всех теоретиков нехристианского учения от учения позитивистов и всех теоретиков нехристианского всемирного братства.

* * *

Причин непонимания учения Христа много. Причина и в том, что люди полагают, что они поняли учение это, когда решили, как это делают церковники, что оно сверхъестественным способом передано им; или, как это делают люди научные, что они поняли его, когда изучили часть тех внешних явлений, которыми оно выразилось. Причина непонимания – и в недоразумениях о неисполнимости учения и о том, что оно должно быть заменено учением о любви к человечеству, но главная причина, породившая все эти недоразумения, – та, что учение Христа считается таким учением, которое можно принять или не принять, не изменяя своей жизни.

Люди, привыкшие к существующему порядку вещей, любящие его, боящиеся изменить его, стараются понять учение как собрание откровений и правил, которые можно принять, не изменяя своей жизни, тогда как учение Христа не есть только учение о правилах, которым должен следовать человек, но выяснение нового смысла жизни, определяющего всю, совсем иную, чем прежняя, деятельность человечества в тот период, в который она вступает.

Жизнь человеческая движется, проходит, как жизнь отдельного человека, возрасты, и каждый возраст имеет соответствующее ему жизнепонимание, и жизнепонимание это неизбежно усваивается людьми. Те люди, которые не усваивают соответствующего возрасту жизнепонимания сознательно, приводят к этому бессознательно. То, что происходит с изменением взглядов на жизнь отдельных людей, то же происходит и с изменением взглядов на жизнь народов и всего человечества. Если человек семейный продолжает руководствоваться в своей деятельности ребяческим жизнепониманием, то жизнь его делается так трудна ему, что он невольно будет искать иного жизнепонимания и охотно усвоит то, которое свойственно его возрасту.

То же происходит и теперь в нашем человечестве при переходе, переживаемом нами, от языческого жизнепонимания к христианскому. Общественный человек нашего времени приводится самую жизнь к необходимости отречься от языческого понимания жизни, несвойственного теперешнему возрасту человечества, и подчиниться требованиям христианского учения, истины которого, как бы они ни были извращены и перетолкованы, все-таки известны ему и одни представляют разрешение тех противоречий, в которых он путается.

Если человеку общественного жизнепонимания кажутся странными и даже опасными

требования христианского учения, то точно столь же странными, непонятными и опасными представлялись в давнишние времена дикарю требования учения общественного, когда еще он не вполне понимал их и не мог предвидеть их последствий.

«Неразумно жертвовать своим спокойствием или жизнью», говорит дикарь, «чтобы защищать что-то непонятное и неосязаемое, условное: семью, род, отечество, и главное – опасно отдавать себя в распоряжение чуждой власти». Но пришло время для дикаря, когда, с одной стороны, он хотя и смутно, но понял значение общественной жизни, значение главного двигателя ее, общественного одобрения или осуждения, – славы; с другой стороны, когда страдания его личной жизни стали так велики, что он не мог уже продолжать верить в истинность своего прежнего понимания жизни, и он принял учение общественное, государственное и подчинился ему.

Точно то же теперь совершается и с человеком общественным, государственным. «Неразумно», говорит человек общественный, «жертвовать благом своим, своей семьи, своего отечества для исполнения требований какого-то высшего закона, требующего от меня отречения от самых естественных и добрых чувств любви к себе, к своей семье, к родине, к отечеству и главное – опасно отвергать обеспечение жизни, даваемое государственным устройством».

Но приходит время, когда, с одной стороны, смутное сознание в душе своей высшего закона любви к Богу и ближнему, с другой – страдания, вытекающие из противоречий жизни, заставляют человека отречься от жизнепонимания общественного и усвоить новое, предлагаемое ему, разрешающее все противоречия и устраняющее страдания его жизни – жизнепонимание христианское. И время это пришло теперь.

* * *

Нам, пережившим тысячелетия назад уже переход от жизнепонимания животного, личного к жизнепониманию общественному, кажется, что тот переход был необходим и естественен, а этот – тот, который мы переживаем теперь, эти последние 1800 лет – и произволен, и неестественен, и страшен. Но это нам кажется только потому, что тот переход уже совершен и деятельность его уже перешла в бессознательную; теперешний переход еще не окончен, и мы сознательно должны совершить его.

Жизнепонимание общественное входило в сознание людей веками, тысячелетиями, проходило через разные нормы и теперь уже вошло для человечества в область бессознательного, передаваемого наследственностью, воспитанием и привычкой; и потому оно кажется нам естественным. Но 5000 лет тому назад оно казалось людям столь же неестественным и страшным, как им теперь кажется учение христианское в его настоящем смысле.

Нам кажется теперь, что требования христианского учения о всеобщем братстве, без различия народностей, об отсутствии собственности, о столь кажущемся странным непротивлении злу насилем суть требования невозможного. Но точно такими же казались тысячелетия тому назад в более древние времена требования не только государственные, но семейные, как, например: требование того, чтобы родители кормили детей, молодые – старых, чтобы супруги были верны друг другу. Еще более странными, даже безумными, казались требования государственные: чтобы граждане подчинялись поставленной власти, платили подати, шли на войну для защиты отечества и т. д. Нам теперь кажется, что все такие требования просты, понятны, естественны и не имеют в себе ничего мистического и даже странного; но пять или три тысячи лет тому назад эти требования казались требованиями невозможного.

Жизнепонимание общественное потому и служило основанием религий, что в то время, когда оно предъявлялось людям, оно казалось им вполне непонятным, мистическим и сверхъестественным. Теперь, пережив уже этот фазис жизни человечества, нам понятны разумные причины соединения людей в семьи, общины, государства; но в древности требования такого соединения предъявлялись во имя сверхъестественного и подтверждались им.

Патриархальные религии обоготворяли семьи, роды, народы; государственные религии обоготворяли царей и государства. Даже и теперь большая часть малообразованных людей, как наши крестьяне, называющие царя земным Богом, подчиняются законам общественным не по разумному сознанию их необходимости, не потому, что они имеют понятие об идее государства, а по религиозному чувству.

Точно так же и теперь христианское учение представляется людям общественного или языческого мирозерцания в виде сверхъестественной религии, тогда как в действительности в нем нет ничего ни таинственного, ни мистического, ни сверхъестественного; а оно есть только учение о жизни, соответствующее той степени материального развития, тому возрасту, в котором находится человечество и которое поэтому неизбежно должно быть принято им.

Придет время и приходит уже, когда христианские основы жизни равенства, братства людей, общности имуществ, непротivления злу насилieм – сделаются столь же естественными и простыми, какими теперь нам кажутся основы жизни семейной, общественной, государственной.

* * *

Ни человек, ни человечество не могут в своем движении возвращаться назад. Жизнепонимание общественное, семейное и государственное пережито людьми, и надо идти вперед и усвоить следующее высшее жизнепонимание, что и совершается теперь. Движение это совершается с двух сторон: и сознательно – вследствие духовных причин и бессознательно – вследствие причин материальных.

Как очень редко отдельный человек изменяет свою жизнь только по указаниям разума, а большей частью, несмотря на новый смысл и новые цели, указываемые разумом, продолжает жить прежнею жизнью и изменяет ее только тогда, когда жизнь его становится совсем противоречащей его сознанию и вследствие того мучительной, точно так же человечество, узнав через своих религиозных руководителей новый смысл жизни, новые цели, к которым ему нужно стремиться, долго ещё и после этого познания продолжает в большинстве людей жить прежней жизнью и приводиться к принятию нового жизнепонимания только сознанием невозможности продолжения прежней жизни.

Несмотря на требования изменения жизни, сознанные, высказанные религиозными руководителями и принятые разумнейшими людьми, большинство людей, несмотря на религиозное отношение к этим руководителям, т. е. веру в их учение, продолжает в усложнившейся жизни руководствоваться прежним учением, подобно тому как поступал бы семейный человек, если бы, зная о том, как следует жить в его возрасте, по привычке и по легкомыслию продолжал бы жить ребяческой жизнью.

Это-то и происходит в деле перехода человечества от одного возраста к другому, которое мы переживаем теперь. Человечество выросло из своего общественного, государственного возраста и вступило в новый. Оно знает то учение, которое должно быть положено в основу жизни этого нового возраста, но по инерции продолжает держаться прежних форм жизни. Из этого несоответствия жизнепонимания с практикой жизни вытекает ряд противоречий и страданий, отравляющих нашу жизнь и требующих ее изменения.

Ведь стоит только сличить практику жизни с ее теорией, чтобы ужаснуться перед тем вопиющим противоречием условий жизни и нашего сознания, в котором мы живем.

Вся жизнь наша есть сплошное противоречие всему тому, что мы знаем и что считаем нужным и должным. Противоречие это – во всем: и в экономической, и государственной, и международной жизни. Мы, как будто забыв то, что знаем, и на время отложив то, во что мы верим (не можем не верить, потому что это наши единственные основы жизни), делаем все наыворот тому, чего требуют от нас наша совесть и наш здравый смысл.

Мы руководимся в экономических, государственных и международных отношениях теми основами, которые были годны людям три и пять тысяч лет тому назад и которые прямо противоречат и теперешнему нашему сознанию, и тем условиям жизни, в которых мы находимся теперь.

Хорошо было человеку древности жить среди деления людей на рабов и господ, когда он верил, что деление это от Бога и что не может быть иначе. Но разве возможно подобное деление в наше время?

Человек древнего мира мог считать себя вправе пользоваться благами мира сего в ущерб другим людям, заставляя их страдать поколениями, потому что он верил, что люди рождаются разной породы, черной и белой кости, Яфетова и Хамова отродья. Величайшие мудрецы мира, учителя человечества Платон, Аристотель не только оправдывали существование рабов и доказывали законность этого, но даже три века

тому назад люди, писавшие о воображаемом обществе будущего, утопии, не могли представить себе его без рабов.

Люди древности и даже средних веков верили, точно верили, что люди не равны, что настоящие люди только персы, только греки, только римляне, только французы; но ведь нам нельзя уже верить в это. И те люди, которые в наше время распинаются за аристократизм и за патриотизм, не верят, не могут верить в то, что они говорят.

Мы все знаем и не можем не знать, если бы даже мы никогда и не слышали и не читали ясно выраженной этой мысли и никогда сами не выражали ее, мы, всосав это носящееся в христианском воздухе сознание, – все, всем сердцем знаем и не можем не знать ту основную истину христианского учения, ту, что мы все сыны одного отца, все, где бы мы ни жили и на каком бы языке ни говорили, – все братья и подлежим только одному закону любви, общим отцом нашим вложенному в наши сердца.

* * *

Каков бы ни были образ мыслей и степень образования человека нашего времени, будь он образованный либерал какого бы то ни было оттенка, будь он философ какого бы то ни было толка, будь он научный человек, экономист какой бы то ни было школы, будь он необразованный, даже религиозный человек какого бы то ни было исповедания, – всякий человек нашего времени знает, что люди все имеют одинаковые права на жизнь и блага мира, что одни люди не лучше и не хуже других, что все люди равны.

Всякий знает это несомненно твердо всем существом своим и вместе с тем не только видит вокруг себя деление всех людей на две касты: одну трудящуюся, угнетенную, нуждающуюся и страдающую, а другую – праздную, угнетающую и роскошествующую и веселящуюся, – не только видит, но волей-неволей с той или другой стороны принимает участие в этом отвергаемом его сознанием разделении людей и не может не страдать от сознания такого противоречия и участия в нем.

Будет ли он господином или рабом, человек нашего времени не может не испытывать постоянного мучительного противоречия сознания с действительностью и вытекающих из него страданий.

Рабочая масса, большое большинство людей, страдая от постоянного, поглощающего всю их жизнь, бессмысленного, беспросветного труда и лишений, страдает больше всего от сознания вопиющего противоречия того, что есть, с тем, что должно бы быть по всему тому, что исповедуется ими самими и теми, которые поставили их в это положение и удерживают в нем.

Они знают, что они в рабстве и гибнут в нужде и мраке для того, чтобы служить похотям меньшинства, держащего их в рабстве. Они знают и высказывают это. И это сознание не только увеличивает, но составляет сущность их страдания.

Древний раб знал, что он раб от природы, а наш рабочий, чувствуя себя рабом, знает, что ему не надо быть рабом, и потому испытывает мучения Тантала, вечно желая и не получая того, что не только могло, но должно бы быть. Страдания для рабочих классов, происходящие от противоречия между тем, что есть и что должно быть, удесятерятся вытекающими из этого сознания завистью и ненавистью.

Рабочий нашего времени, если бы даже работа его и была много легче работы древнего раба, не перестанет страдать, потому что, работая вещи, которыми он не будет пользоваться, работая не для себя по своей охоте, а по нужде, для прихоти вообще роскошествующих и праздных людей и, в частности, для наживы одного богача, владельца фабрики или завода, он знает, что всё это происходит в мире, в котором признается не только научное положение о том, что только работа есть богатство, что пользование чужими трудами есть несправедливость, незаконность, казняемая законами, но в мире, в котором исповедуется учение Христа, по которому мы все братья и достоинство и заслуга человека только в служении ближнему, а не в пользовании им.

Он знает всё это и не может не страдать мучительно от этого вопиющего противоречия всего того, что должно бы быть, и того, что есть. «По всем данным и по всему, что я знаю, что исповедуют все, – говорит себе рабочий человек, – я бы должен быть свободен, равен всем другим людям, любим, а я – раб, я унижен и ненавидим». И он сам ненавидит и ищет средств спастись от своего положения, свергнуть с себя навалившегося на него врага и самому сесть на него.

Говорят: «Рабочие неправы тем, что они хотят сесть на место капиталистов, бедные на место богатых». Это неправда: рабочие и бедные были бы неправы, если бы они этого хотели в том мире, в котором признаются от Бога установленные рабы и господа, богатые и бедные; но они хотят этого в том мире, в котором исповедуется учение евангельское, первое положение которого есть сыновность людей Богу и потому братство и равенство всех людей. И как ни стараются люди, нельзя скрыть того, что одно из первых условий христианской жизни есть любовь не на словах, а на деле.

* * *

Еще в большем противоречии и страдании живет человек так называемого образованного класса. Всякий такой человек если верит во что-нибудь, то верит если и не в братство людей, то в гуманность, если не в гуманность, то в справедливость, если не в справедливость, то в науку, и вместе с тем знает, что вся его жизнь построена на условиях, прямо противоположных всему этому, всем положениям и христианства, и гуманности, и справедливости, и науки.

Он знает, что все привычки, в которых он воспитан, лишение которых было бы для него мучением, все они могут удовлетворяться только мучительным, часто губительным трудом угнетенных рабочих, т. е. самым очевидным, грубым нарушением тех принципов христианства, гуманности, справедливости, даже научности (я разумею требования политической экономии), которые он исповедует. Он исповедует принципы братства, гуманности, справедливости, научности и не только живет так, что ему необходимо то угнетение рабочих, которое он отрицает, но так, что вся жизнь его есть пользование этим угнетением, и не только живет так, но и направляет свою деятельность на поддержание этого порядка вещей, прямо противоположного всему тому, во что он верит.

Мы все братья, а между тем каждое утро брат или сестра выносит мой горшок. Мы все братья, а мне утром необходима сигара, сахар, зеркало и т. п. предметы, на работе которых теряли и теряют здоровье мои, равные мне, братья и сестры, а я пользуюсь этими предметами и даже требую их. Мы все братья, а я живу тем, что работаю в банке или в торговом доме и лавке над тем, чтобы сделать все нужные моим братьям товары дороже. Мы все братья, а я живу тем, что получаю жалованье за то, чтобы уличать, судить и казнить вора или проститутку, существование которых обусловлено всем складом моей жизни и которых я сам знаю, что надо не казнить, а исправлять. Мы все братья, но я живу тем, что получаю жалованье за собирание податей с бедных рабочих для употребления их на роскошь праздных и богатых. Мы все братья, а я получаю жалованье за то, чтобы проповедовать людям мнимохристианскую веру, в которую я сам не верю, лишаящую их возможности узнать истинную. Я получаю жалованье как священник, епископ за то, что обманываю людей в самом важном для них деле. Мы все братья, но я отдаю бедным свои педагогические, врачебные, литературные труды только за деньги. Мы все братья, а я получаю жалованье за то, что готовлюсь к убийству, учусь убивать или делаю оружие, порох, крепости.

Вся жизнь наших высших классов есть сплошное противоречие, тем более мучительное, чем чутче нравственное сознание человека.

Человек с чуткой совестью не может не страдать, если он живет этой жизнью. Одно средство для него избавиться от этого страдания – в том, чтобы заглушить свою совесть, но, если и удастся таким людям заглушить совесть, они не могут заглушить страх.

Нечуткие и заглушившие совесть люди высших угнетающих классов если не страдают совестью, страдают страхом и ненавистью. И им нельзя не страдать. Они знают про ту ненависть против них, которая живет и не может не жить в рабочих классах, знают, что рабочие знают, что они обмануты и изнасилованы, и начинают организовываться, чтобы скинуть с себя угнетение и отплатить угнетателям.

Высшие классы видят союзы, стачки, 1-е мая и чувствуют ту беду, которая угрожает им, и страх этот отравляет им жизнь. Они чувствуют ту беду, которая угрожает им, и страх, который они испытывают, переходит в чувство самозащиты и в ненависть. Они знают, что если на минуту ослабнут в борьбе с угнетаемыми ими рабами, то сами погибнут, потому что рабы озлоблены и озлобление это растет с каждым днем угнетения.

Угнетающие, если бы они и желали этого, не могут перестать угнетать. Они знают,

что сами погибнут, как скоро не только перестанут, но ослабнут в угнетении. Они и делают это, несмотря на мнимые заботы о благоденствии рабочего, о 8-часовом дне, о запрещении работ малолетним и женщинам, о пенсиях и вознаграждениях. Всё это обман или забота о том, чтобы раб был в силах работать; но раб остается рабом, и господин, не могущий жить без раба, меньше чем когда-нибудь готов освободить его.

Правящие классы по отношению рабочих находятся в положении подмявшего под себя противника и держащего, не выпуская его, не столько потому, что он не хочет выпустить его, сколько потому, что он знает, что стоит ему выпустить на мгновение подмятого, чтобы самому быть сейчас же зарезанным, потому что подмятый озлоблен и в руке его нож. И потому, будут ли они чутки или не чутки, наши богатые классы не могут наслаждаться теми благами, которые они похитили у бедных, как это делали древние, веровавшие в свое право. Вся жизнь и все наслаждения их отравлены укурами совести или страхом.

* * *

Таково противоречие экономическое. Еще поразительнее противоречие государственное. Все люди прежде всего воспитываются в привычках повиновения государственному закону. Вся жизнь людей нашего времени определена государственным законом. Человек женится и разводится, воспитывает детей, даже исповедует веру (во многих государствах) сообразно закону.

Что же такое этот закон, определяющий всю жизнь людей? Верят ли люди в этот закон? Считают ли его истинным? Нисколько. В большинстве случаев люди нашего времени не верят в справедливость этого закона, презирают его, а все-таки повинуются ему. Хорошо было людям древности исполнять свои законы. Они верили, точно верили в то, что закон их (он же большею частью был религиозный) был единственный истинный закон, которому должны подчиняться все люди. Но мы? Ведь мы знаем и не можем не знать, что закон нашего государства не только не есть один вечный закон, но что это только один из многих законов разных государств, одинаково несовершенных, а часто и явно ложных и несправедливых, со всех сторон обсуждавшихся в газетах.

Хорошо было еврею подчиняться своим законам, когда он не сомневался в том, что их писал пальцем Бог; или римлянину, когда он думал, что их писала нимфа Егерия; или даже когда верили, что цари, дающие законы, – помазанники Божий; или хоть тому, что собрания законодательные имеют и желание и возможность найти наилучшие законы. Но ведь мы знаем, как делаются законы, мы все были за кулисами, мы все знаем, что законы суть произведения корысти, обмана, борьбы партий, – что в них нет и не может быть истинной справедливости.

И потому люди нашего времени не могут верить тому, чтобы повиновение законам гражданским или государственным удовлетворяло бы требованиям разумности человеческой природы. Люди давно уже знают, что неразумно повиноваться такому закону, в истинности которого может быть сомнение, и потому не могут не страдать, повинаясь закону, разумность и обязательность которого не признают.

Не может человек не страдать, когда вся его жизнь вперед определена законами, которым он должен повиноваться под угрозой наказания и – разумности, справедливости которых он не только не верит, но несправедливость, жестокость, неестественность которых он часто ясно сознает.

Мы признаем ненужность таможен и заграничных пошлин и должны платить их; признаем бесполезными расходы на содержание двора и многих чинов управления; признаем вредной проповедь церковную и должны участвовать в поддержании этих учреждений; мы признаем жестокими и бессовестными наказания, накладываемые судами, и должны участвовать в них; признаем неправильным и вредным распределение земельной собственности и должны подчиняться ему; не признаем необходимости войск войн и должны нести страшные тяжести для содержания войск и ведения войн и т. д.

Удивляются на то, что в Европе совершается ежегодно 60 000 самоубийств, только известных, записанных, и то за исключением России и Турции; но надо удивляться не тому, что самоубийств совершается так много, а тому, что их так мало. Всякий человек нашего времени, если вникнуть в противоречие его сознания и его жизни, находится в самом отчаянном положении.

Только этим и объясняется то страшное напряжение, с которым люди нашего времени стремятся к одурманению себя вином, табаком, опиумом, картами, чтением газет, путешествиями, всякими зрелищами и увеселениями. Все эти дела производятся как серьезные, важные дела. Они действительно важные дела. Если бы не было внешних средств отуманивания, половина людей немедленно перестрелялась бы, потому что жить противоречиво своему разуму есть самое непереносимое состояние. А в этом состоянии находятся все люди нашего времени.

* * *

Разрешение противоречий жизни и сознания возможно двумя путями: изменением жизни или сознания. И в выборе из двух, казалось бы, не может быть сомнения.

Человек может перестать делать то, что он считает дурным, но не может перестать считать дурным дурное.

Точно так же и всё человечество может перестать делать то, что оно считает дурным, но не может не только изменить, но и задержать хоть на время всё уясняющего и распространяющегося сознания того, что дурно и чего поэтому не должно быть. Казалось бы, что выбор между изменением жизни и сознания должен бы быть ясен и не подлежать сомнению.

И потому, казалось бы, неизбежно христианскому человечеству нашего времени отречься от осуждаемых им языческих форм жизни и на признаваемых им христианских основах построить свою жизнь.

Но так бы это было, если бы не было закона инерции, столь же неизменного в жизни людей и народов, сколько в неодушевленных телах, выражающегося для людей психологическим законом, так верно выраженным в Евангелии словами: «И не шли к свету, потому что дела их были злы». Закон этот состоит в том, что большинство людей мыслят не для того, чтобы познать истину, а для того, чтобы уверить себя, что они находятся в истине, чтобы уверить себя в том, что та жизнь, которую они ведут и которая им приятна и привычна, и есть та самая, которая сходитя с истиной.

Рабство было противно всем тем нравственным началам, которые проповедовали Платон и Аристотель, а между тем ни тот, ни другой не видели этого, потому что отрицание рабства разрушало всю ту жизнь, которой они жили. То же происходит и в нашем мире.

Разделение людей на две касты, так же как и государственное и военное насилие, противны всем тем нравственным началам, которыми живет наш мир, и вместе с тем передовые, образованные люди нашего времени как будто не видят этого.

Большинство, если не все образованные люди нашего времени бессознательно стараются удержать прежнее общественное жизнепонимание, оправдывающее их положение, и скрыть от себя и людей несостоятельность его и, главное, необходимость усвоения того христианского жизнепонимания, которое разрушает весь строи существующей жизни. Они стремятся поддержать порядки, основанные на общественном жизнепонимании, но сами не верят в него, потому что оно отжито и в него нельзя уже верить.

Вся литература – и философская, и политическая, и изящная – нашего времени поразительна в этом отношении. Какое богатство мыслей, форм, красок, какая эрудиция, изящество, обилие мыслей и какое не только отсутствие серьезного содержания, но какой-то страх перед всякой определенностью мысли и выражения ее! Обходы, иносказания, шутки, общие, самые широкие соображения и ничего простого, ясного, идущего к делу, т. е. к вопросу жизни.

Но мало того, что пишутся и говорятя грациозные ненужности, пишутся и говорятя прямо гадости, дикости, пишутся и говорятя самым утонченным образом рассуждения, возвращающие людей к первобытной дикости, к основам жизни не только языческой, но даже животной, уже 5000 лет тому назад пережитой нами.

Оно и не может быть иначе. Чураясь жизнепонимания христианского, нарушающего для одних только привычный, для других привычный и выгодный порядок, люди не могут не возвращаться назад к языческому жизнепониманию и к учениям, основанным на нем. В наше время проповедуется не только патриотизм и аристократизм так, как он проповедовался 2000 лет тому назад, но самый грубый эпикуреизм, животность, с

тою только разницею, что тогда проповедующие его люди верили в то, что проповедовали, теперь же сами проповедующие не верят в то, что говорят, и не могут верить, потому что то, что они проповедуют, уже не имеет смысла. Нельзя оставаться на месте, когда почва движется. Если не идешь вперед, то идешь назад. И странно и страшно сказать – образованные люди нашего времени, передовые люди своими утонченными рассуждениями в сущности влекут общество назад, к состоянию даже не языческому, а к состоянию первобытной дикости.

* * *

Часто говорят, что если христианство есть истина, то оно должно бы было быть принято всеми людьми тогда же, когда появилось, и тогда должно бы было изменить жизнь людей и сделать ее лучшею. Но говорить так, всё равно что говорить, что если бы зерно было всхоже, то оно должно тотчас же дать росток, цвет и плод.

Христианское учение не есть законодательство, которое, будучи введено насильем, может тотчас же изменить жизнь людей. Христианство есть иное, чем прежнее, новое, высшее понимание жизни. Новое же понимание жизни не может быть предписано, а может быть только свободно усвоено.

Свободно же усвоено новое жизнепонимание может быть только двумя способами: духовным – внутренним и опытным – внешним.

Одни люди – меньшинство – тотчас же, сразу пророческим чувством указывают истинность учения, отдаются ему и исполняют его. Другие – большинство – только длинным путем ошибок, опытов и страданий приводятся к познанию истинности учения и необходимости усвоения его.

И вот к этой-то необходимости усвоения учения опытным, внешним способом и приведено теперь всё большинство людей христианского человечества.

Иногда думается: для чего было нужно то извращение христианства, которое и теперь более всего другого мешает принятию его в его истинном значении. А между тем это-то извращение христианства, приведши людей в то положение, в котором они находятся теперь, и было необходимым условием того, чтобы большинство людей могло воспринять его в его истинном значении.

Если бы христианство предлагалось людям в его истинном, а не извращенном виде, то оно бы не было принято большинством людей и большинство это осталось бы чуждым ему, как чужды ему теперь народы Азии. Приняв же его в извращенном виде, народы, принявшие его, подверглись хотя и медленному, но верному воздействию его и длинным, опытным путем ошибок и вытекающих из них страданий приведены теперь к необходимости усвоения его в его истинном значении.

Извращение христианства и принятие его в извращенном виде большинством людей было так же необходимо, как и то, чтобы для того, чтобы оно взошло, посеянное зерно было на время скрыто землей.

Христианское учение есть учение истины и вместе с тем пророчество.

Тысяча восемьсот лет тому назад христианское учение открыло людям истину о том, как им должно жить, и вместе с тем предсказало то, чем будет жизнь человеческая, если люди не будут так жить, а будут продолжать жить теми основами, которыми они жили до него, и чем она будет, если они примут христианское учение и будут в жизни исполнять его.

Преподав в нагорной проповеди то учение, которое должно руководить жизнью людей, Христос сказал: «И так всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф. VII, 24–27).

И вот после 18 веков пророчество совершилось. Не следуя учению Христа вообще и проявлению его в общественной жизни непротивлением злу, люди невольно пришли к тому положению неизбежности гибели, которое обещано Христом тем, которые не последуют его учению.

* * *

Люди часто думают, что вопрос о противлении или непротивлении злу насиліем есть вопрос придуманный, вопрос, который можно обойти. А между тем это – вопрос, самую жизнь поставленный перед всеми людьми и перед всяким мыслящим человеком и неизбежно требующий своего разрешения. Вопрос этот для людей в их общественной жизни с тех пор, как проповедано христианское учение, есть, то же, что для путешественника вопрос о том, по какой из двух дорог идти, когда он приходит к разветвлению того пути, по которому шел. Идти надо, и нельзя сказать: не буду думать и буду идти, как шел прежде. Прежде была одна дорога, а теперь стало две, и нельзя идти, как шел прежде, а неизбежно выбрать одну из двух.

Так точно и нельзя сказать с тех пор, как учение Христа стало известно людям: буду жить, как я жил прежде, не решая вопроса о противлении или непротивлении злу насиліем. Надо неизбежно при возникновении каждой борьбы решить: противиться или не противиться насиліем тому, что я считаю злом, насиліем.

Вопрос о противлении или непротивлении злу насиліем возник тогда, когда появилась первая борьба между людьми, так как всякая борьба есть не что иное, как противление насиліем тому, что каждый из борющихся считает злом. Но люди до Христа не видали того, что противление насиліем тому, что каждый считает злом, только потому, что он считает злом то, что другой считает добром, есть только один из способов разрешения борьбы, а что другой способ состоит в том, чтобы вовсе не противиться злу насиліем.

До учения Христа людям представлялось, что есть только один способ разрешения борьбы посредством противления злу насиліем, и так и поступали, стараясь при этом каждый из борющихся убедить себя и других в том, что то, что каждый считает злом, и есть действительное, абсолютное зло.

И для этого с древнейших времен люди стали придумывать такие определения зла, которые бы были обязательны для всех. И за такие определения зла, обязательные для всех, выдавались то постановления законов, которые, предполагалось, были получены сверхъестественным путем, то веления людей или собраний людей, которым приписывалось свойство непогрешимости. Люди употребляли насиліе против других людей и уверяли себя и других, что насиліе это они не употребляли против зла, признанного всеми.

Средство это употреблялось с древнейших времен в особенности теми людьми, которые захватили власть, и люди долгое время не видали неразумности этого средства.

Но чем дальше жили люди, чем сложнее становились их отношения, тем более становилось очевидным, что противиться насиліем тому, что каждым считается злом, – неразумно, что борьба от этого не уменьшается и что никакие людские определения не могут сделать того, чтобы то, что считается злом одними людьми, считалось бы таковым и другими.

* * *

Уже во времена появления христианства, в том месте, где оно появилось, в Римской империи для большого числа людей было ясно, что то, что Нероном и Калигулой считается злом, которому надо противиться насиліем, не может считаться злом другими людьми. Уже тогда люди начинали понимать, что законы человеческие, выдаваемые за законы Божеские, писаны людьми, что люди не могут быть непогрешимы, каким бы они ни были облечены внешним величием, и что ошибающиеся люди не сделаются непогрешимыми оттого, что они соберутся вместе и назовутся сенатом или каким-нибудь другим таким именем.

Тогда уже это чувствовалось и понималось многими. И тогда-то и было проповедуемо Христом его учение, состоящее не в том только, что не надо противиться злу насиліем, а учение о новом понимании жизни, частью или, скорее, приложением которого к общественной жизни и было учение о средстве уничтожения борьбы между всеми людьми не тем, чтобы обязать только одну часть людей без борьбы покоряться тому, что известными авторитетами будет предписано им, а тем, чтобы никому, следовательно и тем (и преимущественно тем), которые властвуют, не употреблять насилія ни против кого ни в каком случае.

Учение это было принято тогда только самым малым числом учеников, большинство же

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
людей, в особенности все те, которые властвовали над людьми, и после номинального принятия христианства продолжало для себя держаться правила противления насиланием тому, что ими считалось злом. Так шло это при римских и византийских императорах, так продолжалось это и после.

Несостоятельность принципа авторитетного определения того, что есть зло, и противления ему насиланием, уже очевидная в первые века христианства, стала еще очевиднее при разложении Римской империи на многие равноправные государства, при их вражде между собою и при внутренней борьбе, происходившей в государствах.

Но люди не были готовы для принятия решения, данного Христом, и прежнее средство определения зла, которому надо противиться посредством установления обязательных для всех законов, приводившихся в исполнение силою, продолжало прилагаться. Решителем того, что должно было считаться злом и чему противиться насиланием, был то папа, то император, то король, то собрание выбранных, то весь народ. Но как внутри, так и вне государства всегда находились люди, не признававшие для себя обязательными ни постановлений, выдаваемых за веление божества, ни постановлений людей, облеченных святостью, ни учреждений, долженствовавшие представлять волю народа; и люди, которые считали добром то, что существующие власти считали злом, и таким же насиланием, которое употреблялось против них, боролись против властей.

Люди, облеченные святостью, считали злом то, что люди и учреждения, облеченные светской властью, считали добром, и наоборот; и борьба становилась всё жесточе и жесточе. И чем дальше держались люди такого способа разрешения борьбы, тем очевиднее становилось, что этот способ не годится, потому что нет и не может быть такого внешнего авторитета определения зла, который признавался бы всеми.

* * *

Так продолжалось 18 веков и дошло до того, до чего дошло теперь, – до совершенной очевидности того, что внешнего обязательного для всех определения зла нет и не может быть. Дошло до того, что люди перестали не только верить в возможность отыскания этого общего, обязательного для всех определения, но перестали верить даже и в необходимость выставления такого определения. Дошло до того, что люди, имеющие власть, перестали уже доказывать то, что они считают злом, есть зло, но прямо стали говорить, что они считают злом то, что им не нравится, а люди, повинующиеся власти, стали повиноваться ей не потому уже, что верят, что определения зла, даваемые этой властью, справедливы, а только потому, что они не могут не повиноваться.

Сделалось то, что есть теперь: одни люди совершают насилия уже не во имя противодействия злу, а во имя своей выгоды или прихоти, а другие люди подчиняются насиланию не потому, что они считают, как это предполагалось прежде, что насилание делается над ними во имя избавления их от зла и для их добра, а только потому, что они не могут избавиться от насилия.

Коли римлянин, средневековый, наш русский человек, каким я помню его за 50 лет тому назад, был несомненно убежден в том, что существующее насилание власти необходимо нужно для избавления его от зла, что подати, поборы, крепостное право, тюрьмы, плети, кнуты, каторги, казни, солдатство, войны так и должны быть, – то ведь теперь редко уже найдешь человека, который бы не только верил, что все совершающиеся насилия избавляют кого-нибудь от какого-нибудь зла, но который не видел бы ясно, что большинство тех насилий, которым он подлежит и в которых отчасти принимает участие, суть сами по себе большое и бесполезное зло.

Нет теперь человека, который бы не видел не только бесполезности, но и нелепости собирания податей с трудового народа для обогащения праздных чиновников или бессмысленности наложения наказаний на развращенных и слабых людей в виде ссылок из одного места в другое или в виде заключения в тюрьмы, где они, живя в обеспечении и праздности, только еще больше развращаются и ослабевают, или не только уже бесполезности и нелепости, но прямо безумия и жестокости военных приговоров и войн разоряющих и губящих народ и не имеющих никакого объяснения и оправдания, а между тем эти насилия продолжают и даже поддерживаются теми самыми людьми, которые видят их бесполезность, нелепость, жестокость и страдают от них.

Ведь если 50 лет тому назад богатый, праздный и рабочий, безграмотный человек оба одинаково были уверены, что их положение вечного праздника для одних и вечного труда для других определено самим Богом, то теперь уже не только в

Европе, но и в России, благодаря передвижениям населения, распространению грамотности и книгопечатанию, трудно найти из богачей и из бедняков такого человека, в которого бы не запало с той или другой стороны сомнение в справедливости такого порядка.

Не только богачи знают, что они виноваты уже одним тем, что богаты, и стараются искупить свою вину, как прежде искупали грехи жертвами на церкви, жертвами на науку или искусство, но и большая половина рабочего народа прямо признает теперь существующий порядок ложным и подлежащим уничтожению или изменению. Одни люди, религиозные, каких у нас в России миллионы, так называемые сектанты, признают этот порядок ложным и подлежащим уничтожению на основании понятого в настоящем его смысле евангельского учения; другие считают его ложным на основании социалистических, коммунистических, анархических теорий, проникших теперь уже в низшие слои рабочего народа.

Насилие держится теперь уже не тем, что оно считается нужным, а только тем, что оно давно существует и так организовано людьми, которым оно выгодно, т. е. правительствами и правящими классами, что людям, которые находятся под их властью, нельзя вырваться из-под нее.

Правительства в наше время – все правительства, самые деспотические так же, как и либеральные, – сделались тем, что так метко называл Герцен «Чингисханом с телеграфами», т. е. организациями насилия, не имеющими в своей основе ничего, кроме самого грубого произвола, и вместе с тем пользующимися всеми теми средствами, которые выработала наука для совокупной общественной мирной деятельности свободных и равноправных людей и которые они употребляют для порабощения и угнетения людей.

* * *

Правительства и правящие классы опираются теперь не на право, даже не на подобие справедливости, а на такую, с помощью усовершенствований науки, искусную организацию, при которой все люди захвачены в круг насилия, из которого нет никакой возможности вырваться. Круг этот составляется теперь из четырех средств воздействия на людей. Средства эти все связаны между собою и поддерживаются одно другим, как звенья кольцом соединенной цепи.

Первое, самое старое средство есть средство устрашения. Средство это состоит в том, чтобы выставлять существующее государственное устройство (какое бы оно ни было – свободное республиканское или самое дикое деспотическое) чем-то священным и неизменным и потому казнить самыми жестокими казнями все попытки изменения его.

Железные дороги, телеграфы, телефоны, фотографии и усовершенствованный способ без убийства удаления людей навеки в одиночные заключения, где они, скрытые от людей, гибнут и забываются, и многие другие новейшие изобретения, которыми преимущественно перед другими пользуются правительства, дают им такую силу, что, если только раз власть попала в известные руки и полиция, явная и тайная, и администрация, и всякого рода прокуроры, тюремщики и палачи усердно работают, нет никакой возможности свергнуть правительство, как бы оно ни было безумно и жестоко.

Второе средство есть средство подкупа. Оно состоит в том, чтобы, отобрав от трудового рабочего народа посредством денежных податей его богатства, распределять эти богатства между чиновниками, обязанными за это вознаграждение поддерживать и усиливать порабощение народа.

Подкупленные чиновники эти от высших министров до низших писцов, составляя одну неразрывную сеть людей, связанных одним и тем же интересом кормления себя трудами народа, тем более обогащаемые, чем покорнее они исполняют волю правительств, всегда и везде, не останавливаясь ни перед какими средствами, во всех отраслях деятельности отстаивают словом и делом правительственное насилие, на котором и основано их благосостояние.

Третье средство есть то, что я не умею назвать иначе, как гипнотизация народа. Средство это состоит в том, чтобы задерживать духовное развитие людей и различными внушениями поддерживать их в отжитом уже человечеством понимании жизни, на котором зиждется власть правительств.

Гипнотизация эта в настоящее время организована самым сложным образом и, начиная свое воздействие с детского возраста, продолжается над людьми до их смерти. Начинается эта гипнотизация с первого возраста в нарочно для того устроенных и обязательных школах, в которых внушают детям воззрения на мир, свойственные их предкам и прямо противоречащие современному сознанию человечества.

В странах, где есть государственная религия, детей обучают бессмысленным кощунствам церковных катехизисов, с указанием необходимости повиновения властям; в республиканских государствах их обучают дикому суеверию патриотизма и той же мнимой обязательности повиновения правительствам.

В более взрослых годах гипнотизация эта продолжается над людьми поощрением и религиозного суеверия и патриотического. Религиозное суеверие поощряется устройством на собранные с народа средства храмов, процессий, памятников, празднеств, с помощью живописи, архитектуры, музыки, благовоний, одуряющих народ, и, главное, содержанием так называемого духовенства, обязанность которого состоит в том, чтобы своими представлениями, пафосом служб, проповедей, своим вмешательством в частную жизнь людей – при родах, при браках, при смертях – отуманивать людей и держать их в постоянном состоянии одурения.

Патриотическое суеверие поощряется устройством правительствами и правящими классами на собранные с народа средства общественных торжеств, зрелищ, памятников, празднеств, располагающих людей к признанию исключительной значительности одного своего народа и величия одного своего государства и правителей его и к недоброжелательству и даже ненависти к другим народам.

При этом деспотическими правительствами прямо воспрещается печатание и распространение книг и произнесение речей, просвещающих народ, и ссылаются или запираются все люди, могущие пробудить народ от его усыпления; кроме того, всеми правительствами без исключения скрывается от народа всё, могущее освободить его, и поощряется всё, развращающее его, как-то: писательство, поддерживающее народ в его дикости религиозных и патриотических суеверий, всякого рода чувственные увеселения, зрелища, цирки, театры и всякие даже физические средства одурения: как-то: табак, водка, составляющие главный доход государства; поощряется даже проституция, которая не только признается, но организуется большинством правительств. Таково третье средство.

Четвертое средство состоит в том, чтобы посредством трех предшествующих средств выделять из всех таким образом закованных и одуренных людей еще некоторую часть людей для того, чтобы, подвергнув этих людей особым, усиленным способам одурения и озверения, сделать из них безвольные орудия всех тех жестокостей и зверств, которые понадобятся правительству.

Достигается это одурение и озверение тем, что людей этих берут в том юношеском возрасте, когда в людях не успели еще твердо сложиться какие-либо ясные понятия о нравственности, и, удалив их от всех естественных человеческих условий жизни: дома, семьи, родины, разумного труда, запирают вместе в казармы, наряжают в особенное платье и заставляют их при воздействии криков, барабанов, музыки, блестящих предметов ежедневно делать известные, придуманные для этого движения и этими способами приводят их в такое состояние гипноза, при котором они уже перестают быть людьми, а становятся бессмысленными, покорными гипнотизатору машинами. Эти-то загипнотизированные, физически сильные, молодые люди (теперь при общей воинской повинности все молодые люди), снабженные орудиями убийства, всегда покорные власти правительств и готовые по его приказанию на всякое насилие, и составляют четвертое и главное средство порабощения людей.

Этим средством замыкается круг насилия. Устрашение, подкуп, гипнотизация приводят людей к тому, что они идут в солдаты; солдаты же дают власть и возможность и казнить людей, и обирать их (подкупая на эти деньги чиновников), и гипнотизировать, и вербовать их в те самые солдаты, которые дают власть делать всё это.

Круг замкнут, и вырваться из него силой нет никакой возможности. Если некоторые люди утверждают, что освобождение от насилия или хотя бы ослабление его может произойти вследствие того, что угнетенные люди, свергнув силою угнетающее правительство, заменят его новым, таким, при котором уже не будет нужно такого насилия и порабощения людей, и некоторые люди пытаются сделать это, то эти люди только обманывают себя и других и этим не улучшают, а только ухудшают положение

людей. Деятельность этих людей только усиливает деспотизм правительств. Попытки освобождения этих людей дают только удобный предлог правительствам для усиления своей власти и вызывают усиление ее.

Если даже и допустить то, что вследствие особенно невыгодно сложившихся для правительства обстоятельств, как, например, во Франции в 1870 году, какое-либо из правительств было бы свергнуто силою и власть перешла бы в другие руки, то эта новая власть ни в каком случае не была бы менее угнетательной, чем прежняя, а всегда, напротив, защищая себя от всех озлобленных свергнутых врагов, была бы более деспотична и жестока, чем прежняя, как это и было при всех революциях.

* * *

Весь длинный 1800-летний ход жизни христианских народов неизбежно привел их опять к обойденной ими необходимости решения вопроса принятия или неприятия учения Христа и вытекающего из него для общественной жизни решения вопроса о противлении или непротивлении злу насилем, но только с тою разницею, что прежде люди могли принять и не принять решение, данное христианством, теперь же это решение стало неизбежно, потому что оно одно избавляет их от того положения рабства, в котором они, как в тенетах, запутали сами себя.

Но не одна бедственность положения людей приводит их к этой необходимости.

Рядом с отрицательным доказательством ложности языческого устройства шло и положительное доказательство истинности христианского учения.

Недаром в продолжение 18 веков лучшие люди всего христианского человечества, внутренним, духовным путем познав истины учения, свидетельствовали о них перед людьми, несмотря ни на какие угрозы, лишения, бедствия и мучения. Лучшие люди эти своим мученичеством запечатлевали истинность учения и передавали его массам.

Христианство проникало в сознание человечества не одним отрицательным путем доказательства невозможности продолжения языческой жизни, но и своим упрощением, уяснением, освобождением от примешавшихся к нему суеверий и распространением между всеми сословиями народа.

Восемнадцать веков исповедания христианства не прошли даром для людей, принявших его, хотя и внешним образом. Восемнадцать веков эти сделали то, что теперь люди, продолжая жить языческой жизнью, не соответствующей возрасту человечества, не только видят уже ясно всю бедственность того состояния, в котором они находятся, но в глубине души верят (только потому и живут, что верят) в то, что спасение от этого состояния только в исполнении христианского учения в его истинном значении. Как и когда совершится это спасение, все люди думают различно, соответственно своему умственному развитию и ходячим предрассудкам своей среды, но всякий человек нашего мира признает то, что спасение наше в исполнении христианского учения. Одни верующие люди, признающие христианское учение божественным, считают, что спасение наступит тогда, когда все люди поверят в Христа и приблизится второе пришествие; другие, также признающие божественность учения Христа, считают, что спасение это произойдет через церковь, которая, подчинив себе всех людей, воспитает в них христианские добродетели и преобразует их жизнь. Третьи, не признающие Христа Богом, считают, что спасение людей произойдет через медленный, постепенный прогресс, при котором основы жизни языческой заменятся понемногу основами свободы, равенства, братства, т. е. христианскими основами; четвертые, проповедующие общественное переустройство, считают, что спасение произойдет тогда, когда посредством насильственного переворота люди будут принуждены к общности имущества, отсутствию правительств, коллективному, а не индивидуальному труду, т. е. к осуществлению одной из сторон христианского учения. Так или иначе, но все люди нашего времени в сознании своем не только отрицают существующий отживший языческий строй жизни, но и признают, часто сами не зная этого и считая себя врагами христианства, то, что спасение наше только в приложении к жизни христианского учения или части его в его истинном значении.

* * *

Христианство для большинства людей, как и сказал его учитель, не могло осуществиться сразу, а должно было разрастаться, как огромное дерево, из мельчайшего зерна. И так оно и разрасталось и разрослось теперь, если еще не в действительности, то в сознании людей нашего времени.

Теперь не одно меньшинство людей, всегда понимавших христианство внутренним путем, признает его в его истинном значении, но и всё то огромное большинство людей, кажушееся по своей общественной жизни столь далеко отстоящим от христианства.

Посмотрите на частную жизнь отдельных людей, прислушайтесь к тем оценкам поступков, которые люди делают, судя друг о друге, послушайте не только публичные проповеди и речи, но те наставления, которые дают родители и воспитатели своим воспитанникам, и вы увидите, что, как ни далека государственная, общественная, связанная насилием жизнь людей от осуществления христианских истин в частной жизни, хорошими всеми и для всех без исключения и бесспорно считаются только христианские добродетели; дурными всеми и для всех без исключения и бесспорно считаются антихристианские пороки. Лучшими людьми считаются те, которые самоотверженно посвящают свою жизнь на служение человечеству и жертвуют собой для других; худшими считаются себялюбивые, пользующиеся для своих личных выгод бедствиями ближних.

Если признаются еще некоторыми нетронутыми христианством людьми идеалы нехристианские: сила, храбрость, богатство, то это идеалы, переживаемые и разделяемые не всеми и не людьми, признаваемыми лучшими. Всеми же разделяемых, всегда признаваемых обязательными для всех других идеалов, кроме христианских, нет.

Положение нашего христианского человечества, если посмотреть на него извне, с своей жестокостью и своим рабством людей, действительно ужасно. Но если посмотреть на него со стороны его сознания, то зрелище представляется совершенно другое.

Всё зло нашей жизни как будто существует только потому, что оно давно делалось, и люди, которые делают его, не успели, не научились еще перестать это делать, но все они не желают делать его.

Всё это зло существует по какой-то другой, как будто не зависимой от сознания людей, причине.

Как ни странно и ни противоречиво это кажется, все люди нашего времени ненавидят тот самый порядок вещей, который они сами же поддерживают.

Кажется, Макс Мюллер рассказывает про удивление одного индейца, обращенного в христианство, который, усвоив сущность христианского учения, приехал в Европу и увидел жизнь христиан. Человек этот не мог прийти в себя от удивления перед действительностью, совершенно противоположной той, которую он ожидал найти среди христианских народов.

Если мы не удивляемся на то противоречие между нашими верованиями, убеждениями и поступками, то это происходит только оттого, что влияния, скрывающиеся от людей это противоречие, действуют и на нас. Стоит только взглянуть на нашу жизнь с точки зрения того индейца, который понял христианство в его истинном значении без всяких уступок и приспособлений, и на те дикие зверства, которыми наполнена наша жизнь, чтобы ужаснуться перед теми противоречиями, среди которых мы живем, часто не замечая их.

Стоит только вспомнить приготовления к войнам, картечицы, посеребренные пули, торпеды – и Красный Крест; устройство одиночных тюрем, опыты электрических казней – и заботы о благоденствии заключенных; филантропическую деятельность богачей – и их жизнь, производящую тех бедных, которых они благодетельствуют.

И противоречия эти не происходят оттого, как это может показаться, что люди притворяются христианами, когда они язычники, а, напротив, оттого, что людям чего-то недостает или есть какая-то сила, которая мешает им быть тем, чем они уже чувствуют себя в своем сознании и чем они действительно хотят быть.

* * *

Люди нашего времени не притворяются в том, что они ненавидят угнетение, неравенство, разделение людей и всякого рода жестокость не только к людям, но даже к животным, – они действительно ненавидят всё это, но не знают, как уничтожить это, или не решаются расстаться с тем, что поддерживает всё это и кажется им необходимым.

В самом деле, спросите порознь каждого человека нашего времени о том; считает ли он не только похвальным, но достойным человека нашего времени заниматься тем, чтобы, получая за это несоразмерное с трудами жалование, собирать с народа – часто нищего – подати для того, чтобы на эти деньги строить пушки, торпеды и орудия убийства против людей, с которыми мы желаем быть мире и которые этого же самого желают по отношению нас; или тем, чтобы опять за жалование посвящать всю свою жизнь на устройство этих орудий убийства, или на то, чтобы самому готовиться к убийству и готовить к этому людей?

И спросите, похвально ли, и достойно ли человека, и свойственно ли христианину заниматься тем, чтобы опять за деньги ловить несчастных, заблудших, часто безграмотных, пьяных людей за то, что они присваивают чужую собственность в гораздо меньших размерах, чем мы ее присваиваем, и убивают людей не так, как это нами принято делать, и за это сажать их в тюрьмы, мучить и убивать?

И похвально ли, достойно ли человека и христианина опять за деньги проповедовать в народе вместо христианства заведомо нелепые и вредные суеверия?

Достойно ли человека отнимать у ближнего для своей прихоти то, что необходимо ему для удовлетворения его первых потребностей, как это делают большие землевладельцы; или заставлять его нести сверхсильный, губящий жизнь труд для увеличения своих богатств, как это делают заводчики, фабриканты; или пользоваться нуждою людей для увеличения своих богатств, как это делают купцы?

И всякий порознь, в особенности если один будет говорить про другого, скажет, что нет. И вместе с тем тот же самый человек, который видит всю гнусность этих поступков, сам, никем не принуждаемый, даже иногда и без денежной выгоды жалования, сам, произвольно, из-за детского тщеславия, из-за фарфоровой побрякушки, ленточки, галунчика, которые ему позволят надеть, сам произвольно идет в военную службу, в следователи, мировые судьи, министры, урядники, архиереи, дьячки, в должности, в которых ему необходимо делать все эти дела, постыдность и гнусность которых он не может не знать.

Знаю, что многие из этих людей будут с самоуверенностью доказывать, что они считают свое положение не только законным, но необходимым, будут в защиту свою говорить, что власти от Бога, что государственные должности необходимы для блага человечества, что богатство не противно христианству, что богатому юноше сказано отдать имение, только если он хочет быть совершен, что существующее теперь распределение богатств и торговля такими и должны быть и выгодны для всех и т. п.

Но, как они ни стараются обмануть себя и других, все эти люди знают, что то, что они делают, противно всему тому, чему они верят, во имя чего они живут, и в глубине души, когда они остаются одни с своей совестью, им стыдно и больно вспомнить то, что они делают, особенно если гнусность их деятельности была указана им. Не может человек нашего времени, исповедуй он или не исповедуй божественности Христа, не знать, что участвовать в качестве ли царя, министра, губернатора, или урядника в том, чтобы продать у бедной семьи последнюю корову на подати для того, чтобы отдать эти деньги на пушки или на жалование и пансионеры роскошествующим, праздным и вредным чиновникам; или участвовать в том, чтобы посадить в тюрьму кормильца семьи за то, что мы сами развратили его, и пустить семью его по миру; или участвовать в грабежах и убийствах войн; или во внушении вместо Христова закона диких идолопоклоннических суеверий; или загнать забежавшую на свою землю корову человека, у которого нет земли; или с человека, работающего на фабрике, вычесть за нечаянно испорченный предмет; или содрать вдвое за предмет с бедного только потому, что он в крайней нужде; не может не знать ни один человек нашего времени, что все эти дела – скверные, постыдные и что делать их не надо.

И все они знают это; все они знают, что то, что они делают, дурно, и ни за что бы не стали делать этого, если бы были в состоянии противостоять тем силам, которые, закрывая их глаза на преступность их поступков, влекут их к совершению их.

* * *

Положение народов христианских в наше время осталось столь же жестоким, каким оно было во времена язычества. Во многих отношениях, в особенности в порабощении

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
людей, оно стало даже более жестоким, чем было во времена язычества.

Но между положением людей в то время и в наше время та же разница, какая бывает для растений между последними днями осени и первыми днями весны. Там, в осенней природе, внешняя безжизненность соответствует внутреннему состоянию замирания; весной, внешняя безжизненность находится в самом резком противоречии с состоянием внутреннего оживления и перехода к новой форме жизни.

То же и в том внешнем сходстве прежней языческой жизни с теперешней. Сходство это только внешнее: внутреннее состояние людей во времена язычества и в наше время совершенно различно.

Там внешнее состояние жестокости и рабства людей было в полном согласии с внутренним сознанием людей, и каждый шаг вперед увеличивал это согласие; здесь же внешнее состояние жестокости и рабства находится в полном противоречии с христианским сознанием людей, и каждый шаг вперед только увеличивает это противоречие.

Происходят как бы ненужные, бесполезные страдания. Происходит нечто подобное родам. Всё готово для новой жизни, но жизнь эта все еще не появляется.

Положение кажется безвыходным. И оно было бы таковым, если бы человеку, а потому и всем людям, не была дана возможность иного, высшего понимания жизни, сразу освобождающего его от всех тех уз, которые, казалось, неразрывно связывали его.

И таково то, указанное еще 1800 лет тому назад человечеству, христианское понимание жизни.

Стоит человеку усвоить это жизнепонимание для того, чтобы сами собой распались те цепи, которые, казалось, так неразрывно сковывали его, и чтобы он почувствовал себя совершенно свободным, вроде того, как почувствовала бы себя свободной птица в загороженном кругом месте, когда бы она раскрыла свои крылья.

Говорят об освобождении христианской церкви от государства, о даровании или недаровании свободы христианам. В этих мыслях и выражениях есть какое-то странное недоразумение. Свобода не может быть дарована или отнята у христианина или христиан. Свобода есть неотъемлемое свойство христианина.

Если же говорится о даровании или отнятии свободы от христиан, то, очевидно, говорится не о действительных христианах, а о людях, только называющих себя христианами. Христианин не может быть не свободен потому, что достижение поставленной им для себя цели никем и ничем не может быть воспрепятствовано или хотя бы задержано.

Стоит человеку понять свою жизнь так, как учит понимать ее христианство, т. е. понять то, что жизнь его принадлежит не ему, его личности, не семье или государству, а тому, кто послал его в жизнь, понять то, что исполнять он должен поэтому не закон своей личности, семьи или государства, а ничем не ограниченный закон того, от кого он исшел, чтобы не только почувствовать себя совершенно свободным от всякой человеческой власти, но даже перестать видеть эту власть, как нечто могущее стеснять кого-либо.

Стоит человеку понять, что цель его жизни есть исполнение закона Бога, для того чтоб этот закон, заменив для него все другие законы и подчинив его себе, этим самым подчинением лишил бы в его глазах все человеческие законы их обязательности и стеснительности.

Христианин освобождается от всякой человеческой власти тем, что считает для своей жизни и жизни других Божеский закон любви, вложенный в душу каждого человека и приведенный к сознанию Христом, единственным руководителем жизни своей и других людей.

Христианин может подвергаться внешнему насилию, может быть лишен телесной свободы, может быть не свободен от своих страстей (делающий грех есть раб греха), но не может быть не свободен в том смысле, чтобы быть принужденным какою-либо опасностью или какою-либо внешнею угрозой к совершению поступка, противного своему сознанию.

Он не может быть принужден к этому потому, что составляющие могущественное орудие против людей общественного жизнепонимания лишения и страдания, производимые насильем, не имеют для него никакой принудительной силы. Лишения и страдания, отнимающие у людей общественного жизнепонимания то благо, для которого они живут, не только не могут нарушить блага христианина, состоящего в сознании исполнения воли Бога, но только могут усилить его, когда они постигают его за исполнение этой воли.

И потому христианин, подчиняясь одному внутреннему, божественному закону, не только не может исполнять, предписания внешнего закона, когда они не согласны с сознаваемым им Божеским законом любви, как это бывает при правительственных требованиях, но не может признавать и обязательства повиновения кому и чему бы то ни было, не может признавать того, что называется подданством. Для христианина обещание подданства какому бы то ни было государству – тот самый акт, который считается основанием государственной жизни, есть прямое отречение от христианства, потому что человек, безусловно вперед обещающий подчиниться тем законам, которые составляют и будут составлять люди, этим обещанием самым положительным образом отрекается от христианства, состоящего в том, чтобы во всех случаях жизни подчиниться только сознаваемому им в себе Божескому закону любви.

* * *

Можно было при языческом мирозерцании обещаться исполнять волю светских властей, не нарушая волю Бога, полагаемую в обрезании, субботе, определенной временем молитве, воздержании от известного рода пищи и т. п. Одно не противоречило другому. Но тем-то и отличается христианское исповедание от языческого, что оно требует от человека не известных внешних отрицательных действий, а ставит его в иное, чем прежде, отношение к людям, из которого могут вытекать самые разнообразные, не могущие быть вперед определенными поступки, и потому христианин не может обещаться не только исполнять чью-либо другую волю, не зная, в чем будут состоять требования этой воли, не может повиноваться изменяющимся законам человеческим, но не может и обещаться что-либо определенное делать в известное время или от чего-либо в известное время воздержаться, потому что он не может знать, чего и в какое время потребует от него тот христианский закон любви, подчинение которому составляет смысл его жизни. Христианин, обещаясь вперед безусловно исполнять законы людей, этим обещанием заявил бы то, что внутренний закон Божий не составляет уже для него единственный закон его жизни.

Христианину обещаться в повиновении людям или законам людским – всё равно что нанявшемуся к хозяину работнику обещаться вместе с тем исполнять всё то, что ему прикажут еще и чужие люди. Нельзя служить двум господам.

Христианин освобождается от человеческой власти тем, что признает над собой одну власть Бога, закон которой, открытый ему Христом, он сознает в самом себе, и подчиняется только ей.

И освобождение это совершается не посредством борьбы, не разрушением существующих форм жизни, а только изменением понимания жизни. Освобождение происходит вследствие того, что, во-первых, христианин признает закон любви, открытый ему его учителем, совершенно достаточным для отношений людских и потому считает всякое насилие излишним и незаконным, и, во-вторых, вследствие того, что те лишения, страдания, угрозы страданий и лишений, которыми общественный человек приводится к необходимости повиновения, для христианина, при его ином понимании жизни, представляются только неизбежными условиями существования, которые он, не борясь против них насильем, терпеливо переносит, как болезни, голод и всякие другие бедствия, но которые никак не могут служить руководством его поступков. Руководством поступков христианина служит только живущее в нем божественное начало, ничем не могущее быть стесненным или направленным.

Христианин поступает по слову пророчества, приложенного к его учителю: «Не воспрекословит, не возопиет и никто не слышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы» (Мф. XII, 19–20).

Христианин ни с кем не спорит, ни на кого не нападает, ни против кого не употребляет насилия; напротив того, сам беспрекословно переносит насилие; но этим самым отношением к насилию не только сам освобождается, но и освобождает

«Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан. VIII, 32). Если бы было сомнение в том, что христианство есть истина, то та полная свобода, ничем не могущая быть стесненной, которую испытывает человек, как скоро он усваивает христианское жизнепонимание, была бы несомненным доказательством его истинности.

* * *

Люди в теперешнем своем состоянии подобны отроившимся пчелам, висящим кучею на ветке. Положение пчел на ветке временное и неизбежно должно быть изменено. Они должны подняться и найти себе новое жилище. Каждая из пчел знает это и желает переменить свое положение и положение других, но ни одна не может этого сделать до тех пор, пока не сделают этого остальные. Все же не могут вдруг подняться потому, что одна висит на другой и мешает ей отделиться от роя, и потому все продолжают висеть. Казалось бы, пчелам нет из этого положения никакого выхода, как это кажется людям мирским, запутавшимся в тенета общественного миросозерцания. Но выхода не было бы пчелам, если бы каждая из пчел не была отдельно живущим существом, одаренным крыльями. Не было бы выхода и людям, если бы каждый из них не был живым отдельным существом, одаренным способностью усвоения христианского жизнепонимания.

Если бы каждая пчела, та, которая может лететь, не полетела бы, никогда не тронулись бы и остальные и никогда рой не изменил бы своего положения. И если бы тот человек, который усвоил христианское жизнепонимание, не стал бы, не дожидаясь других, жить сообразно с этим пониманием, никогда бы человечество не изменило своего положения. И как стоит одной пчеле раскрыть крылья, подняться и полететь и за ней другой, третьей, десятой, сотой, для того чтобы висевшая неподвижно кучка стала бы свободно летящим роем пчел, так точно стоит только одному человеку понять жизнь так, как учит его понимать ее христианство, и начать жить так, и за ним сделать то же другому, третьему, сотому, для того чтобы разрушился тот заколдованный круг общественной жизни, из которого, казалось, не было выхода.

Но люди думают, что освобождение всех людей этим способом слишком медленно, что нужно найти и употребить другое такое средство, которым можно бы было освободить всех сразу. Вроде того, как если бы пчелы, желающие подняться и улететь, находили бы, что слишком долго дожидаться, пока поднимется весь рой по одной пчеле, а надо найти такое средство, при котором не нужно бы было каждой отдельной пчеле раскрыть крылья и полететь, а вместе с тем и рой полетел бы, куда ему надо. Но это невозможно: до тех пор, пока первая, вторая, третья, сотая пчела свободно не раскроет свои крылья и не полетит, не полетит и рой и не найдет новой жизни. Пока не усвоит каждый отдельный человек христианского жизнепонимания и не станет жить сообразно с ним, не разрешится противоречие жизни людской и не установится новой формы жизни.

То, что освобождение всех людей произойдет именно через освобождение отдельных лиц, становится в последнее время всё более и более очевидным. Освобождение отдельных лиц во имя христианского жизнепонимания от государственного порабощения, бывшее прежде исключительным и незаметным явлением, получило в последнее время угрожающее для государственной власти значение.

Если в прежнее время, во времена Рима, в Средние века, случалось, что христианин, исповедуя свое учение, отказывался от участия в жертвах, от поклонения императорам, Богам или в Средние века от поклонения иконам, от признания папской власти, то отрицания эти, во-первых, были случайны: человек мог быть поставлен в необходимость исповедания своей веры и мог прожить жизнь, не будучи поставлен в эту необходимость. Теперь же этим испытаниям веры подвергаются все люди без исключения. Всякий человек нашего времени поставлен в необходимость признать свое участие в жестокостях языческой жизни или отвергнуть ее. И, во-вторых, в те времена отказы от поклонения Богам, иконам, папе составляли не существенные для государства явления: сколько бы людей поклонялось или не поклонялось Богам или иконам, или папе, государство оставалось столь же сильно. Теперь же отказы от нехристианских требований правительств подрывают под корень самую государственную власть, потому что на исполнении этих нехристианских требований зиждется вся власть государства.

Мирские власти были ходом жизни приведены к тому положению, что для своего поддержания они должны требовать от всех людей таких поступков, которые не могут

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
быть исполнены людьми, исповедующими истинное христианство.

И потому в наше время всякое исповедание отдельным человеком истинного христианства подрывает в самом существенном власть правительства и неизбежно влечет за собой освобождение всех.

* * *

Что, казалось бы, важного в таких явлениях, как отказы нескольких десятков шальных, как их называют, людей, которые не хотят присягать правительству, не хотят платить подати, участвовать в суде и в военной службе? Людей этих наказывают и удаляют, и жизнь идет по-старому.

Казалось бы, нет ничего важного в этих явлениях, а между тем эти-то явления более всего другого подрывают власть государства и подготавливают освобождение людей. Это те отдельные пчелы, которые начинают отделяться от роя и летают около, ожидая того, что не может задержаться, – чтобы весь рой поднялся за ними. И правительства знают это и боятся этих явлений больше всех социалистов, коммунистов, анархистов и их заговоров с динамитными бомбами.

Наступает новое царствование; по общему правилу и заведенному порядку требуется, чтобы все подданные присягнули новому правительству. Делается общее распоряжение. Призывают всех в собор для присяги. Вдруг один человек в Перми, другой в Туле, третий в Москве, четвертый в Калуге объявляют, что они присягать не будут, и объясняют свой отказ все, не сговариваясь между собой, одним и тем же, что по христианскому закону клятва запрещена, но что если бы клятва и не была запрещена, то они по духу христианского закона не могут обещаться совершать те дурные поступки, которые требуются от них в присяге, как-то: доносить на всех тех, которые будут нарушать интересы правительства, защищать с оружием в руках свое правительство или нападать на врагов его. Их призывают к станovým, исправникам, священникам, губернаторам, увещевают, упрашивают, угрожают и наказывают, но они остаются при своем решении и не присягают. И среди миллионов присягавших живут десятки не присягавших. И их спрашивают:

- Как же вы не присягали?
- Так и не присягали.
- И что же, ничего?
- Ничего.

Подданные государства обязаны все платить подати. И все платят, но один человек в Харькове, другой в Твери, третий в Самаре отказываются платить подать, говоря все, как бы сговорившись, одно то же. Один говорит, что он заплатит только тогда, когда ему скажут, на что пойдут отбираемые от него деньги. Если на добрые дела, говорит он, то он сам даст и больше того, что от него требуют. Если же на злые, то не даст добровольно ничего, потому что по закону Христа, которому он следует, он не может содействовать злым делам. То же, хотя и другими словами, говорят и другие и не дают добровольно подати. У тех, у которых есть что взять, отбирают насильно имущество; тех же, у которых нечего взять, оставляют в покое.

- Что же, так и не заплатил подать?
- Не заплатил.
- И что же, ничего?
- Ничего.

Учреждены паспорта. Все, отлучающиеся от места жительства, обязаны брать их и платить за это пошлины. Вдруг в разных местах является люди, которые говорят, что брать паспорта не нужно, что не следует признавать свою зависимость от государства, живущего насильем, и люди эти не берут паспортов и не платят за них пошлину. И опять ничем нельзя заставить этих людей исполнять требуемое. Их запирают в остроги и опять выпускают, и люди живут без паспортов.

Все граждане должны участвовать в суде в качестве присяжных. Вдруг самые разнообразные люди: каретники, профессора, купцы, мужики, дворяне, как бы

сговорившись, отказываются от этих обязанностей, и не по причинам, признаваемым законом, а потому, что самый суд, по их убеждению, есть дело незаконное, нехристианское, которое не должно существовать. Людей этих штрафуют, стараясь не дать им публично высказать мотивы отказа, и заменяют другими. Точно так же поступают и с теми, которые на тех же основаниях отказываются быть на суде свидетелями. И тоже ничего.

* * *

Среди русского народа, в котором, особенно со времени Петра I, никогда не прекращался протест христианства против государства, среди русского народа, в котором устройство жизни таково, что люди общинами уходят в Турцию, в Китай, в необитаемые земли и не только не нуждаются в правительстве, но смотрят на него всегда как на ненужную тяжесть и только переносят его как бедствие, будь оно турецкое, русское или китайское, – среди русского народа в последнее время стали всё чаще и чаще появляться случаи христианского сознательного освобождения отдельных лиц от подчинения себя правительству.

И проявления эти особенно страшны правительству теперь тем, что отказывающиеся часто принадлежат не к так называемым низшим, необразованным сословиям, а к людям среднего и высшего образования, и тем, что люди эти объясняют свои отказы уже не какими-либо мистическими исключительными верованиями, как это было прежде, не соединяют их с какими-либо суевериями и изуверствами, как это делают самосожигатели или бегуны, а причинами своего отказа выставляют самые простые и ясные, всем доступные и всеми признаваемые истины.

Так, отказываются от добровольной уплаты податей, потому что подати употребляются на дела насилия: жалованье начальникам, военным, на устройство тюрем, крепостей, пушек, а они, как христиане, считают грешным и безнравственным участвовать в этих делах. Отказывающиеся от общей присяги отказываются потому, что обещаться в повиновении властям, т. е. людям, предающимся насилиям, противно смыслу христианского учения; отказываются от присяги в судах потому, что клятва прямо запрещена Евангелием.

Отказываются от должностей полицейских, потому что при этих должностях приходится употреблять насилие против своих братьев и мучить их, а христианин не может делать этого. Отказываются от участия в суде, потому что считают всякий суд исполнением закона мести, не совместимого с христианским законом прощения и любви. Отказываются от всякого участия в военных приготовлениях и в войске потому, что не хотят и не могут быть палачами и не хотят готовиться к палачеству.

Все мотивы этих отказов таковы, что, как бы самовластны ни были правительства, они не могут открыто наказывать за них. Для того, чтобы наказывать за такие отказы, надо бесповоротно самим правительствам отречься от разума и добра. А они уверяют людей, что властвуют только во имя разума и добра.

Что делать правительствам против этих людей? В самом деле, правительства могут перебить, переказнить, перезапереть по тюрьмам и каторгам навечно всех своих врагов, желающих насилием свергнуть их; могут засыпать золотом половину людей, которые им нужны, и подкупить их; могут подчинить себе миллионы вооруженных людей, готовых погубить всех врагов правительств. Но что могут они сделать против людей, которые, не желая ничего ни разрушать, ни учреждать, желают только для себя, для своей жизни, не делать ничего противного христианскому закону и потому отказываются от исполнения самых общих и потому самых необходимых для правительств обязанностей?

Если бы это были революционеры, проповедующие насилие, убийство и совершающие эти дела, то противодействие им было бы легко: часть их подкупили бы, часть обманули, часть запугали бы; тех же, которых нельзя ни подкупить, ни обмануть, ни запугать, выставили бы злодеями, врагами общества, казнили бы или заперли бы, и толпа одобрила бы действие правительства. Если бы это были какие-нибудь изуверы, проповедующие какую-нибудь особую веру, можно бы было, благодаря тем суевериям лжи, которые примешиваются ими к их учению, опровергнуть и то истинное, что они исповедуют.

Но что делать с людьми, которые не проповедуют ни революции, ни каких-либо особенных религиозных догматов, а только потому, что они не желают делать никому зла, отказываются от присяги, уплаты податей, участия в суде, от военной службы,

от таких обязанностей, на которых зиждется всё устройство государства? Что делать с такими людьми? Подкупить их нельзя: уже самый тот риск, на который они добровольно идут, показывает их бескорыстие. Обмануть тем, что этого требует Бог, тоже нельзя, потому что их отказ основан на ясном, несомненном законе Бога, исповедуемом и теми, которые хотят заставить людей действовать противно ему. Запугать угрозами еще менее можно, потому что лишения и страдания, которым они будут подвергнуты за их исповедание, только усиливают их желание исповедания и в их законе прямо сказано, что надо повиноваться Богу более, чем людям, и не надо бояться тех, которые могут погубить тело, а того, что может погубить и тело и душу.

Казнить или навечно запереть их тоже нельзя. У людей этих есть прошедшее, друзья, образ мыслей и действий их известен, все их знают за кротких, добрых, смиренных людей, и невозможно выставить их злодеями, которые должны быть устранены для спасения общества. А казнь людей, признаваемых всеми добрыми, вызовет защитников, разъяснителей отказа. А стоит только разъясниться причинам отказа, для того чтобы всем стало ясно, что те причины, по которым эти христиане отказываются от исполнения государственных требований, таковы же для всех других людей и что всем уже надо бы делать то же.

* * *

Правительства перед отказами христиан находятся в отчаянном положении. Они видят, что пророчество христианства сбывается, – оно разрывает узы скованных и освобождает людей, находящихся в неволе, и видят, что это освобождение неизбежно должно уничтожить тех, которые держат других в неволе.

Правительства видят это, знают, что часы их сочтены, и ничего не могут сделать. Всё, что они могут сделать для своего спасения, это только то, чтобы отсрочить час своей гибели. Они и делают это, но положение их все-таки отчаянное.

Положение правительств подобно положению завоевателя, который желает сохранить город, поджигаемый самими жителями. Только что он затушит пожар в одном месте, загорается в двух других; только что он уступает огню, отломает то, что загорелось, от большого здания, – загорается с двух концов и это здание. Загорания эти еще редки, но загораются они огнем, который, начавшись с искры, не остановится до тех пор, пока не сожжет всего.

И вот тут-то, когда правительства перед людьми, исповедующими христианство, находятся в таком беззащитном положении и недостает только очень малого для того, чтобы рушилась вся эта кажущаяся столь могущественной и столькими веками воздвигавшаяся сила, тут-то общественные деятели проповедуют то, что не только не надо, но вредно, безнравственно даже каждому отдельно освободиться от рабства.

Вроде того, как если бы одни люди, чтобы освободить задержанную в реке воду, долго работая, прокопали бы уже всю канаву и им нужно бы было только открыть отверстие, чтобы вода сама устремилась и сделала остальное, и тут-то пришли бы другие люди и стали бы советовать, что гораздо лучше, вместо того чтобы спускать воду, устроить над рекой такую машину с черпаками, которые, вычерпывая воду с одной стороны, переливали бы ее с другой в тот же пруд.

Но дело зашло уже слишком далеко: правительства чувствуют уже свою беззащитность и слабость, и пробуждающиеся от усыпления люди христианского сознания уже начинают чувствовать свою силу.

«Огонь принес я на землю, – сказал Христос, – и как томлюсь, когда он возгорится».

И огонь этот начинает возгораться. Христианство в его истинном значении разрушает государство. Так оно было понято и с самого начала, за то был и распят Христос, и всегда так понималось людьми, не связанными необходимостью оправдания христианского государства. Только со времени принятия главами государств номинального внешнего христианства начали придумываться все те невозможные хитросплетенные теории, по которым христианство можно совместить с государством. Но для каждого искреннего и серьезного человека нашего времени не может не быть очевидной несовместимость истинного христианства – учения смирения, прощения обид, любви – с государством, с его величием, насилиями, казнями и войнами. Исповедание истинного христианства не только исключает возможность признания

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
государства, но и разрушает основы его.

Но если так и справедливо то, что христианство несовместимо с государством, то, естественно, является вопрос: что нужнее для блага человечества, что больше обеспечивает благо людей: государственная форма жизни или разрушение и замена ее христианством?

Одни люди говорят, что нужнее для человечества государство, что уничтожение государственной формы повлекло бы за собой уничтожение всего того, что выработало человечество, что государство как было, так и продолжает быть единственной формой развития человечества и что всё то зло, которое мы видим среди народов, живущих в государственной форме, происходит не от этой формы, а от злоупотреблений, которые могут быть исправлены без уничтожения, и что человечество, не нарушая государственной формы, может развиваться и прийти до высокой степени благосостояния. И люди, думающие так, приводят в подтверждение своего мнения кажущиеся им неопровержимыми и философские, и исторические, и даже религиозные доводы. Но есть люди, полагающие обратное, именно то, что, так как было время, когда человечество жило без государственной формы, то форма эта временная и должно наступить время, когда людям понадобится новая форма, и что время это наступило теперь. И люди, думающие так, приводят в подтверждение своего мнения кажущиеся им тоже неопровержимыми и философские, и исторические, и религиозные доводы.

Можно написать томы в защиту первого мнения (они уже и давно написаны и всё еще пишутся), но можно написать (и тоже, хотя и недавно, но много и блестяще написано) и многое против него.

И нельзя доказать ни того, как это утверждают защитники государства, что уничтожение государства повлечет за собой общественный хаос, взаимные грабежи, убийства и уничтожение всех общественных учреждений и возвращение человечества к варварству; ни того, как это утверждают противники государства, что люди уже стали настолько разумны и добры, что не грабят и не убивают друг друга, предпочитают мирное общение вражде, что сами без помощи государства учредят всё то, что им будет нужно, а что поэтому государство не только не содействует всему этому, а, напротив, под видом ограждения людей производит на них вредное и ожесточающее влияние. Нельзя доказать отвлеченными рассуждениями ни того, ни другого. Еще меньше можно доказать это опытом, так как вопрос состоит в том, следует или не следует делать опыт. Вопрос о том, наступило или не наступило время упразднения государства, был бы неразрешимым, если бы не существовал другой жизненный способ неоспоримого решения его.

Совершенно независимо от чьего бы то ни было суждения о том, созрели ли птенцы гнезда настолько, чтобы согнать наседку и выпустить из яиц птенцов, или еще не созрели для этого, неоспоримым решителем вопроса будут птенцы, когда они уже, не умещаясь более в яйцах, начнут пробивать их клювом и сами выходить из них.

* * *

То же с вопросом о том, наступило ли или не наступило для людей время уничтожения государственной формы и замены ее новой. Если человек, вследствие выросшего в нем высшего сознания, не может уже более исполнять требований государства, не умещается уже более в нем и вместе с тем не нуждается более в ограждении государственной формой, то вопрос о том, созрели ли люди до отмены государственной формы или не созрели, решается совсем с другой стороны и так же неоспоримо, как и для птенца, вылупившегося из яйца, в которое уже никакие силы мира не могут вернуть его, – самими людьми, выросшими уже из государства и никакими силами не могущими быть возвращенными в него.

«Очень может быть, что государство было нужно и теперь нужно для всех тех целей, которые вы приписываете ему, – говорит человек, усвоивший христианское жизнепонимание, – знаю только то, что, с одной стороны, мне не нужно более государство, с другой – я не могу более совершать те дела, которые нужны для существования государства. Устраивайте для себя то, что нужно вам для вашей жизни, я не могу доказывать ни общей необходимости, ни общего вреда государства, я знаю только то, что мне нужно и не нужно, что мне можно и нельзя.

Я знаю про себя, что мне не нужно отделение себя от других народов, и потому я не могу признавать своей исключительной принадлежности к какому-либо народу и государству и подданства какому-либо правительству; знаю про себя, что мне не

нужны все те правительственные учреждения, которые устраиваются внутри государств, и потому я не могу, лишая людей, нуждающихся в моем труде, отдавать его в виде подати на ненужные мне и, сколько я знаю, вредные учреждения: я знаю про себя, что мне не нужны ни управления, ни суды, производимые насильем, и потому я не могу участвовать ни в том, ни в другом; я знаю про себя, что мне не нужно ни нападать на другие народы, убивая их, ни защищаться от них с оружием в руках, и потому я не могу участвовать в войнах и приготовлениях к ним.

Очень может быть, что есть люди, которые не могут не считать всего этого нужным и необходимым, я не могу спорить с ними, я знаю только про себя, зато несомненно знаю, что мне этого не нужно и что я этого не могу делать. И не нужно это мне, и не могу я этого делать не потому, что мне, моей личности так хочется, а потому, что этого не хочет тот, кто послал меня в жизнь и дал мне несомненный закон для руководства в этой жизни».

Какие бы доводы ни приводили люди в пользу того, что вредно упразднить государственную власть и что упразднение это может породить бедствия, люди, выросшие уже из государственной формы, уже не могут вместиться в ней. И, сколько бы и какие бы доводы ни приводили человеку, выросшему из государственной формы, о необходимости ее, он не может вернуться к ней, не может принимать участия в делах, отрицаемых его сознанием, как не могут выросшие птенцы вернуться в скорлупу, из которой они выросли.

* * *

«Но если это и так, – говорят защитники существующего строя, – то все-таки упразднение государственного насилия возможно и желательно бы было тогда, когда бы все люди стали христианами. До тех пор, пока этого нет, пока среди людей, только называющихся христианами, есть люди нехристиане, люди злые, для своей личной похоти готовые нанести вред другим, упразднение государственной власти не только не было бы благом для остальных людей, но только увеличило бы их бедствие.

Упразднение государственной формы жизни нежелательно не только тогда, когда будет малая часть истинных христиан, но оно нежелательно даже тогда, когда все будут христианами, но в среде их или вокруг их, в других народах, останутся нехристиане, потому что нехристиане будут безнаказанно грабить, насиловать, убивать христиан и сделают их жизнь мучительной. Будет только то, что злые будут безнаказанно властвовать над добрыми и насиловать их. И потому государственная власть не должна быть упразднена до тех пор, пока не уничтожатся все злые, хищные люди на свете. А так как это, если не никогда, то еще долго не может быть, то, несмотря на попытки освобождения отдельных христиан от государственной власти, власть эта для большинства людей должна быть поддерживаема».

Так говорят защитники государства. «Без государства злые насилуют добрых и властвуют над ними. Государственная же власть дает возможность добрым удерживать злых», – говорят они.

Но, утверждая это, защитники существующего строя уже вперед решают справедливость того положения, которое им нужно доказать. Говоря то, что без государственной власти злые властвовали бы над добрыми, они считают доказанным то, что добрые – это те самые, которые в настоящее время обладают властью, и злые – те самые, которые покоряются. Но ведь это-то самое и надо доказать. Ведь это было бы справедливо только тогда, когда бы в нашем мире происходило то, что хоть и не происходит, но предполагается в Китае, именно то, что властвуют всегда добрые и что, как скоро во главе правительства стоят не более добрые, чем те, над которыми они властвуют, то граждане обязаны свергать их. Так это предполагается в Китае, в действительности же этого нет и не может быть, потому что для того, чтобы свергнуть власть насилующего правительства, мало иметь на это право, надо иметь силу. Так что и в Китае это только предполагается. Но в нашем христианском мире это даже никогда и не предполагалось. В нашем мире нет даже никакого основания предполагать, чтобы властвовали более добрые или лучшие, а не те, которые захватывали власть и удерживали ее для себя и для своих наследников. Захватывать же и удерживать власть никак не могут более добрые.

Для того, чтобы приобрести власть и удерживать ее, нужно любить власть. Властолюбие же соединяется не с добротой, а с противоположными доброте качествами: с гордостью, хитростью, жестокостью.

Без возвеличивания себя и унижения других, без лицемерия, обманов, без тюрем, крепостей, казней, убийств не может ни возникнуть, ни держаться никакая власть.

* * *

«Если упразднить государственную власть, то более злые будут властвовать над менее злыми», – говорят защитники государственности. Но если египтяне покорили евреев, персы покорили египтян, македонцы покорили персов, римляне покорили греков, варвары покорили римлян, то неужели все те, которые покоряли, были более добры, чем те, кого они покоряли?

И точно так же в переходах власти в одном государстве от одних лиц к другим разве всегда власть переходила к более добрым? Когда свергнут был Людовик XVI и во власть вступил Робеспьер и потом Наполеон, кто властвовал? Более добрые или более злые? И когда властвовали более добрые: когда версальцы или коммунары были во власти? Или когда во главе правительства был Карл I или Кромвель? И когда царем был Петр III или когда его убили и царицей стала в одной части России Екатерина, а в другой – Пугачев. Кто тогда был злой, кто добрый?

Все люди, находящиеся во власти, утверждают, что их власть нужна для того, чтобы злые не насильствовали добрых, подразумевая под этим то, что они-то и суть те самые добрые, которые ограждают других добрых от злых.

Но ведь властвовать значит насильствовать, насильствовать значит делать то, чего не хочет тот, над которым совершается насилие, и чего, наверное, для себя не желал бы тот, который совершает насилие; следовательно, властвовать значит делать другому то, чего мы не хотим, чтобы нам делали, т. е. делать злое.

Покоряться значит предпочитать терпение насилию. Предпочитать же терпение насилию значит быть добрым или хоть менее злым, чем те, которые делают другим то, что не желают себе.

И потому все вероятия за то, что властвовали всегда и теперь властвуют не более добрые, а, напротив, более злые, чем те, над которыми они властвуют. Могут быть злые и среди тех, которые подчиняются власти, но не может быть того, чтобы более добрые властвовали над более злыми.

Этого нельзя было предполагать при языческом неточном определении добра; при христианском же ясном и точном определении добра и зла этого уже никак нельзя думать. Если более или менее добрые, более или менее злые могут не различаться в языческом мире, то христианское понятие о добром и злом так ясно определило признаки добрых и злых, что их нельзя уже смешивать. По учению Христа, добрые – это те, которые смиряются, терпят, не противятся злу насилием, прощают обиды, любят врагов; злые – это те, которые величаются, властвуют, борются и насилуют людей, и потому, по учению Христа, нет сомнения о том, где добрые среди властвующих покоряющихся и где злые среди покоряющихся или властвующих. Даже как-то смешно говорить о властвующих христианах.

Нехристиане, т. е. те, которые полагают свою жизнь в мирском благе, всегда и должны властвовать над христианами, теми, которые полагают свою жизнь в отречении от этих благ.

И так это всегда было и становилось всё определеннее и определеннее по мере распространения и уяснения христианского учения.

Чем более распространялось и входило в сознание людей истинное христианство, тем менее возможно было христианам быть среди властвующих и тем легче становилось нехристианам властвовать над христианами.

* * *

«Устранение государственного насилия в том случае, если в обществе не все люди стали истинными христианами, сделает только то, что злые будут властвовать над добрыми и безнаказанно насильствовать их!» – говорят защитники существующего строя жизни.

«Злые будут властвовать над добрыми и насильствовать их». Да ведь другого никогда ничего не было и не может быть. Так всегда было с начала мира и так это до сих пор. Злые всегда властвуют над добрыми и всегда насилуют их. Каин насильствовал Авеля, хитрый Иаков властвовал над доверчивым Исавом, обманувший его Лаван над

Иаковом, Каиафа и Пилат властвовали над Христом. Римские императоры властвовали над Сенеками, Эпиктетами и добрыми римлянами, жившими в их время. Иоанн IV со своими опричниками, пьяный сифилитик Петр I со своими шутами, блудница Екатерина со своими любовниками властвовали над трудолюбивыми религиозными русскими людьми своего времени и насильствовали их.

Так что будет или не будет упразднено государственное насилие, положение людей добрых, насилуемых людьми злыми, от этого не изменится.

Пугать людей тем, что злые будут властвовать над добрыми, никак нельзя, потому что то, чем пугают, есть то самое, что всегда было, и есть, и не может быть иначе.

Вся языческая история человечества состоит только из тех событий, посредством которых более злые захватывали власть над менее злыми и, захватив ее, жестокостями и хитростями поддерживали ее, и выставя себя блюстителями справедливости, защитниками добрых от злых, властвовали над добрыми. Все перевороты в истории суть только захватывания власти более злыми и властвование над добрыми. То, что властвующие говорят, что если не было бы их власти, то более злые стали бы насильствовать добрых, означает только то, что насильники, находящиеся во власти, не хотят уступить этой власти другим насильникам, которые хотели бы отнять ее у них. Говоря же это, властвующие только обличают самих себя. Они говорят, что их власть, т. е. насилие, нужно для того, чтобы защищать людей от каких-то других или имеющих еще проявиться насильников.

Тем-то и опасно употребление насилия, что как скоро оно употреблено, так все доводы, которые за себя приводят насильники, не только с тем же, но с большим основанием могут быть приведены против них же. Они говорят о бывшем и чаще всего о воображаемом будущем насилии, а сами, не переставая, совершают действительное насилие. «Вы говорите, что люди прежде грабили и били, и вы боитесь, что ограбят и перебьют друг друга, если не будет вашей власти. Это может быть, может и не быть, но то, что вы губите тысячи людей в тюрьмах, каторгах, крепостях, ссылах, разоряете миллионы семей и губите в солдатстве физически и нравственно миллионы людей, – это не предполагаемое, а действительное насилие, против которого, по вашему же рассуждению, должно бороться насилием. И потому те злые, против которых, по вашему же рассуждению, несомненно нужно употреблять насилие, – это вы сами», – должны сказать насильникам насилуемые люди. И люди нехристиане всегда и говорят, и думают, и поступают так. Если насилуемые более злы, чем те, которые насилуют их, то они нападают на них и стараются свергнуть и при удобных обстоятельствах свергают их, или, что самое обыкновенное, вступают в ряды насилующих и участвуют в их насилиях.

Так что то самое, чем защитники государственности пугают людей, тем, что если бы не было насилующей власти, то злые властвовали бы над добрыми, это-то самое, не переставая, совершалось и совершается в жизни человечества, а потому упразднение государственного насилия не может ни в каком случае быть причиной увеличения насилия злых над добрыми.

Если насилие правительственное уничтожится, то насилия будут совершаться, может быть, другими людьми, а не теми, которыми они совершались прежде; но сумма насилия ни в каком случае не может увеличиться оттого, что власть перейдет от одних людей к другим.

* * *

«Государственное насилие может быть прекращено только тогда, когда уничтожатся злые люди среди общества», – говорят защитники существующего строя, подразумевая под этим то, что так как злые люди всегда будут, то насилие никогда не прекратится. И это было бы справедливо, но только тогда, когда было бы то, что ими предполагается, – именно, что насилующие суть более добрые и что единственное средство избавления людей от зла есть насилие. Тогда, точно, насилие никогда не могло бы прекратиться. Но так как этого нет, а есть обратное, именно, что не более добрые насилуют злых, а более злые насилуют добрых и что кроме насилия, никогда не прекращающего зла, есть другое средство уничтожения насилия, то утверждение о том, что насилие никогда не прекратится, несправедливо.

Насилие уменьшается и уменьшается и, очевидно, должно прекратиться, но не так, как представляют это себе некоторые защитники существующего строя, тем, что

люди, подлежащие насилию, вследствие воздействия на них правительств, будут делаться всё лучше и лучше (вследствие этого они, напротив, становятся всегда хуже), а вследствие того, что так как все люди постоянно становятся лучше и лучше, то и наиболее злые люди, находящиеся во власти, становясь всё менее и менее злыми, сделаются уже настолько добры, что станут неспособны употреблять насилие.

Движение вперед человечества совершается не так, что лучшие элементы общества, захватив власть, употребляя насилие против тех людей, которые находятся в их власти, делают их лучшими, как это думают и консерваторы и революционеры, а совершается, во-первых, и главное, тем, что люди все вообще неуклонно и безостановочно, более и более сознательно усваивают христианское жизнепонимание, и, во-вторых, тем, что, даже независимо от сознательной духовной деятельности людей, люди бессознательно вследствие самого процесса захватывания власти одними людьми и смены их другими, невольно приводятся к более христианскому отношению к жизни. Процесс этот совершается так, что худшие элементы общества, захвативши власть и находясь в обладании ею, под влиянием отрезвляющего свойства, всегда сопутствующего ей, становясь сами всё менее и менее жестокими, делаются неспособными употреблять жестокие формы насилия и вследствие того уступают свое место другим, над которыми совершается опять тот же процесс смягчения и, как бы сказать, бессознательного охристианения.

С людьми совершается нечто подобное процессу кипения. Все люди большинства нехристианского жизнепонимания стремятся к власти и борются, достигая ее. В борьбе этой наиболее жестокие, грубые, наименее христианские элементы общества, насилию наиболее кротких, чутких к добру, наиболее христианских людей, выступают посредством своего насилия в верхние слои общества. И тут над людьми, находящимися в этом положении, совершается то, что предсказывал Христос, говоря: «Горе вам, богатым, пресыщенным, прославленным»; совершается то, что люди, находясь во власти и в обладании последствий власти – славы и богатства, доходя до известных различных, поставленных ими самими себе в своих желаниях целей, познают тщету их и возвращаются к тому положению, из которого вышли.

Карл V, Иоанн IV, Александр I, познав всю тщету и зло власти, отказывались от нее, потому что видели уже всё зло ее и были не в силах спокойно пользоваться насилием как добрым делом, как они делали это прежде.

Но не одни Карлы и Александры проходят этот путь и признают тщету и зло власти: через этот бессознательный процесс смягчения проходит всякий человек, приобретший ту власть, к которой он стремился, всякий, не только министр, генерал, миллионер, купец, но столоначальник, добившийся места, которого он желал десять лет, всякий богатый мужик, отложивший одну-другую сотню рублей.

Через этот процесс проходят не только отдельные люди, но и совокупности людей, целые народы.

Соблазны власти и всего того, что она дает, и богатства, почестей, роскошной жизни, представляются достойной целью деятельности людей только до тех пор, пока она не достигнута, но тотчас, как скоро человек достигает их, обличают свою пустоту и теряют понемногу свою притягательную силу, как облака, которые имеют форму и красоту только издали: стоит только вступить в них, чтобы исчезло всё то, что казалось в них прекрасным.

Люди, овладевшие властью и богатством, иногда те самые, которые приобретали власть и богатство, большею же частью наследники их, перестают уже быть столь жадными к власти и жестокими к приобретению ее.

Изведав опытом, под влиянием христианского воздействия, тщету плодов насилия, люди иногда в одном, иногда через несколько поколений утрачивают те пороки, которые возбуждаются страстью к приобретению власти и богатства, и, становясь менее жестокими, не удерживают своего положения и вытесняются из власти другими, менее христианскими, более злыми людьми и возвращаются в низшие по положению, но высшие по нравственности слои общества, увеличивая собой средний уровень христианского сознания всех людей. Но тотчас же после них опять худшие, грубейшие, менее христианские элементы общества поднимаются вверх, подвергаются вновь тому же процессу, как и их предшественники, и опять через одно или несколько поколений, изведав тщету плодов насилия и пропитавшись христианством, спускаются в среду насилуемых и опять заменяются новыми, менее грубыми, чем

прежние, насильниками, но более грубыми, чем те, которых они насилуют. Так что, несмотря на то, что власть остается такую же, какою она была, по внешней форме, с каждой переменой людей, находящихся во власти, всё больше и больше увеличивается число людей, опытом жизни приводимых к необходимости усвоения христианского жизнепонимания, и с каждой переменой, хотя самые грубые и жестокие, менее христианские из всех и всё менее и менее грубые и жестокие и более христианские люди, чем прежде бывшие во власти, вступают в обладание властью.

Насилие выбирает и привлекает к себе худшие элементы общества, перерабатывает их и, улучшая и смягчая, возвращает их назад обществу.

Таков процесс, посредством которого христианство, несмотря на употребляемое государственной властью насилие, препятствующее движению вперед человечества, всё более и более охватывает людей. Христианство проникает в сознание людей не только несмотря на употребляемое властью насилие, но посредством его.

И потому утверждение защитников государственного строя о том, что если упразднить государственное насилие, то злые будут властвовать над добрыми, не только не доказывает того, чтобы это (властвование злых над добрыми) было опасно, так как это самое и происходит, но, напротив, доказывает то, что государственное насилие, дающее возможность злым властвовать над добрыми, и есть то зло, которое желательно уничтожить и которое постоянно уничтожается самою жизнью.

* * *

«Но если бы и было справедливо то, что государственное насилие прекратится тогда, когда обладающие властью настолько станут христианами, что сами откажутся от нее, и не найдется более людей, готовых занять их места, и справедливо, что процесс этот совершается, – говорят защитники существующего порядка, – то когда же это будет? Если прошло 1800 лет и всё еще так много охотников властвовать и так мало охотников подчиняться, то нет никакого вероятия, чтобы это не только случилось очень скоро, а случилось бы и когда-нибудь».

«Если и есть, как и бывали прежде среди всех людей, такие, которые предпочитают отказ от власти пользованию ею, то запас людей, предпочитающих властвование подчинению, так велик, что трудно представить себе время, когда бы он мог истощиться».

«Для того, чтобы произошел этот процесс охристианения всех людей, чтобы все люди одни за другими перешли от языческого жизнепонимания к христианскому и добровольно отказывались бы от власти и богатства и никто бы не желал пользоваться ими, нужно, чтобы не только переделялись в христианство все те грубые, полудикие, совершенно не способные воспринять христианство и следовать ему люди, которых всегда много среди каждого христианского общества, но и все дикие и вообще нехристианские народы, которых еще так много вне его. А потому, если и допустить даже, что процесс охристианения когда-нибудь совершится над всеми людьми, то, судя по тому, насколько подвинулось это дело в 1800 лет, это будет только через несколько раз 1800 лет, а потому и нельзя и незачем думать теперь о невозможном уничтожении власти, а нужно только стараться о том, чтобы власть эта была в наилучших руках».

Так возражают защитники существующего строя. И рассуждение это было бы совершенно справедливо, если бы переход людей от одного понимания жизни к другому совершался посредством только одного того процесса, при котором каждый человек отдельно и один за другим познает опытом тщету власти и внутренним путем постигает истины христианские.

Процесс этот совершается непрестанно, и люди один за другим переходят этим путем на сторону христианства.

Но переходят люди на сторону христианства не одним только этим внутренним способом, а еще и другим, внешним способом, при котором уничтожается постепенность этого перехода.

Переход людей от одного устройства жизни к другому совершается не постоянно так, как пересыпается песок в песочных часах: песчинка за песчинкой от первой до последней, а скорее так, как вливается вода в опущенный в воду сосуд, который

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
сначала только одной стороной медленно и равномерно впускает в себя воду, а потом от тяжести уже влившейся в него воды вдруг быстро погружается и почти сразу принимает в себя всю ту воду, которую он может вместить.

То же происходит и с обществами людей при переходе от одного понимания, а потому и устройства жизни, к другому. Люди только сначала постепенно и равномерно один за другим воспринимают новую истину внутренним путем и следуют ей в жизни; при известном же распространении истины она усваивается ими уже не внутренним способом, не равномерно, а сразу, почти невольно.

И потому несправедливо рассуждение защитников существующего строя о том, что если в продолжение 1800 лет только малая часть людей перешла на сторону христианства, то нужно еще несколько раз 1800 лет до тех пор, пока все остальные люди перейдут на его сторону, – несправедливо оно потому, что при этом рассуждении не принимается во внимание другой, кроме внутреннего постигновения истины, способ усвоения людьми новой истины и перехода от одного склада жизни к другому.

Другой этот способ усвоения людьми новой открывшейся истины и переход к новому устройству жизни состоит в том, что люди усваивают истину не только потому, что они познают ее пророческим чувством или опытом жизни, а потому еще, что при известной степени распространения истины люди, стоящие на низшей степени развития, принимают ее все сразу, по одному доверию к тем, которые приняли ее внутренним способом и прилагают ее к жизни.

Всякая новая истина, изменяющая склад человеческой жизни и двигающая вперед человечество, воспринимается сначала только самым малым количеством людей, понимающих ее внутренним путем. Остальные же люди, принявшие по доверию предшествующую истину, ту, на которой основан существующий строй, всегда противятся распространению новой истины.

Но так как, во-первых, люди не стоят на месте, а непрерывно движутся, всё более и более познавая истину и приближаясь к ней своею жизнью, и, во-вторых, все они по своему возрасту, воспитанию, породе расположены в постепенной градации от людей, наиболее способных понимать новые открывающиеся истины внутренним путем, до людей, наименее способных к этому, то люди, ближе других стоящие к тем, которые усвоили истину внутренним способом, одни за другими сначала через длинные промежутки времени, а потом всё чаще и чаще переходят на сторону новой истины, и количество людей, признающих новую истину, становится всё больше и больше, и истина становится всё понятнее, и понятнее.

А чем больше людей усваивают новую истину и чем истина понятнее, тем более возбуждается доверие в остальных, на низшей степени по способности понимания стоящих людей, и тем легче для них становится постигновение ее и тем большее число усваивает ее. И так идет движение, всё убыстряясь и убыстряясь, расширяясь и расширяясь, как ком снега, до тех пор, пока не зарождается при этом согласное с новой истиной общественное мнение и вся остальная масса людей уже не поодиночке, а вся сразу под давлением этой силы не переходит на сторону новой истины и не устанавливается сообразный с этой истиной новый склад жизни.

Люди, переходящие на сторону новой, дошедшей до известной степени распространения, истины, переходят на ее сторону всегда сразу, массами и подобны тому балласту, которым нагружают всегда сразу для устойчивого уравновесия и правильного хода всякое судно. Не будь балласта, судно не сидело бы в воде и изменяло бы свое направление при малейшем изменении условий. Балласт этот, несмотря на то, что он кажется сначала излишним и даже задерживающим ход судна, есть необходимое условие правильного движения его.

То же и с той массой людей, которая всегда не один по одному, а всегда сразу под влиянием нового общественного мнения переходит от одного устройства жизни к другому. Масса эта всегда своей инертностью препятствует быстрым, не проверенным мудростью людской, частым переходам от одного устройства жизни к другому и надолго удерживает всякую долгим опытом борьбы проверенную, вошедшую в сознание человечества истину.

И потому несправедливо рассуждение о том, что если только малая, самая малая часть человечества усвоила христианскую истину в продолжение 18 веков, то всё человечество усвоит ее только через много, много раз 1800 лет, т. е. так еще не

скоро, что нам, живущим теперь, нельзя и думать об этом. Несправедливо потому, что люди, стоящие на низшей степени развития, те самые народы и люди, которых защитники существующего строя представляют помехой для осуществления христианского строя жизни, это самые те люди, которые всегда сразу массами переходят на сторону истины, принятой общественным мнением.

И потому перемена в жизни человечества та, вследствие которой люди, пользующиеся властью, откажутся от нее и из людей, покоряющихся власти, не найдется более людей, желающих захватить ее, наступит не тогда только, когда все люди один по одному до последнего сознательно усвоят христианское жизнепонимание, а тогда, когда возникнет такое определенное и всем понятное христианское общественное мнение, которое покорит себе всю ту инертную массу, не способную внутренним путем усвоить истины и по этому самому всегда подлежащую воздействию общественного мнения.

Общественное же мнение не нуждается для своего возникновения и распространения в сотнях и тысячах лет и имеет свойство заразительно действовать на людей и с большою быстротою охватывать большие количества людей.

* * *

«Но если даже и справедливо, – скажут защитники существующего строя, – то, что общественное мнение, при известной степени своей определенности и ясности, может заставить инертную массу людей внехристианских обществ – нехристианские народы – и людей испорченных и грубых, живущих среди обществ, подчиниться ему, то какие признаки того, что это христианское общественное мнение возникло и может заменить действие насилия?»

«Нельзя рисковать, отбросив насилие, которым поддерживается существующий порядок, положиться на неосязаемую и неопределенную силу общественного мнения, предоставив диким людям вне и внутри обществ безнаказанно грабить, убивать и всячески насиловать христиан».

«Если с помощью власти мы насилу отливаемся от нехристианских элементов, готовых всегда залить нас и уничтожить все успехи христианской цивилизации, то есть ли, во-первых, верояние того, чтобы общественное мнение могло заменить эту силу и обеспечить нас, а во-вторых, как найти тот момент, в который общественное мнение стало настолько сильно, что может заменить власть? Отменить власть и положиться для защиты себя на одно общественное мнение значило бы поступить так же безумно, как поступил бы человек в зверинце, который, отбросив оружие, выпустил бы из клеток всех львов и тигров, положившись на то, что звери в клетках и под раскаленными прутьями казались смиренными».

«И потому люди, имеющие власть, поставленные судьбою или Богом в положение властвующих, не имеют права рисковать погибелью всех успехов цивилизации только потому, что они пожелают сделать опыт о том, может или не может общественное мнение заменить ограждение власти, а потому и не должны прекращать насилия».

Французский забытый теперь писатель Alphonse Karr сказал где-то, доказывая невозможность уничтожения смертной казни: «Пусть господа убийцы сначала подадут нам пример». И много раз я потом слышал повторение этой шутки людьми, которым казалось, что этими словами выражен убедительный и остроумный довод против уничтожения смертной казни. А между тем нельзя яснее выразить всю ложь довода тех, которые считают, что нельзя правительствам отменить насилие до тех пор, пока люди способны к нему, как именно этой шуткой.

«Пусть, – говорят защитники правительственного насилия, – убийцы покажут нам пример, отменив смертоубийство, тогда и мы отменим его». Но убийцы говорят то же самое, но только с гораздо большим правом. Убийцы говорят: «Пускай те, которые взяли нас и руководить нами, покажут нам пример отменения смертоубийства, тогда и мы последуем ему». И они говорят это не для шутки, а серьезно, потому что действительно таково положение дела.

«Мы не можем прекратить насилие, потому что мы окружены насильниками».

Ничто более этого ложного рассуждения не препятствует в наше время движению вперед человечества и установлению среди него того строя жизни, который свойствен уже его теперешнему сознанию.

Люди, обладающие властью, уверены в том, что движет и руководит людьми только насилие, и потому для поддержания существующего порядка смело употребляют насилие. Существующий же порядок держится не насилием, а общественным мнением, действие которого нарушается насилием.

И потому деятельность насилия ослабляет, нарушает то самое, что она хочет поддерживать.

Насилие всегда, в лучшем случае, если оно не преследует одних личных целей людей, находящихся во власти, отрицает и осуждает в одной неподвижной форме закона то, что большею частью уже гораздо прежде отрицалось и осуждалось общественным мнением, но с тою разницею, что, тогда как общественное мнение отрицает и осуждает все поступки, противные нравственному закону, захватывая поэтому в свое осуждение самые разнообразные положения, закон, поддерживаемый насилием, осуждает и преследует только известный, очень узкий ряд поступков, этим самым как бы оправдывая все поступки такого же порядка, не вошедшие в его определение. Общественное мнение уже со времени Моисея считает корыстолюбие, распутство и жестокость злом и осуждает их. И оно отрицает и осуждает всякого рода проявления корыстолюбия – не только приобретение чужой собственности насилием, обманом, хитростью, но и жестокое пользование ею; осуждает всякого рода распутство, будь то блуд с наложницей, невольницей, разведенной женой и даже своей; осуждает всякую жестокость, выражающуюся в побоях, в дурном содержании, в убийстве не только людей, но и животных. Закон же, основанный на насилие, преследует только известные виды корыстолюбия, как-то: воровство, мошенничество и известные виды распутства и жестокости, как-то: нарушение супружеской верности, убийства, увечья, – вследствие этого как бы разрешая все те проявления корыстолюбия, распутства и жестокости, которые не подходят под его узкое, подверженное лжетолкованиям определение.

Но мало того, что насилие извращает общественное мнение, оно производит в людях еще то пагубное убеждение, что движутся люди не духовной силой, влекущей их к постигновению истины и осуществлению ее той духовной силой, которая составляет источник всякого движения вперед человечества, а насилием, – тем самым действием, которое не только не приближает людей к истине, но всегда удаляет их от нее. Заблуждение это пагубно тем, что оно заставляет людей, пренебрегая основной силой своей жизни – своей духовной деятельностью, – переносить всё свое внимание и энергию на деятельность насилия, поверхностную, праздную и большею частью вредную.

* * *

Заблуждение это подобно тому, в котором бы находились люди, желавшие заставить двигаться паровоз тем, что они руками вертели бы колеса его, не догадываясь о том, что основная причина движения его есть расширение пара, а не движение колес. Люди, которые стали бы руками и рычагами вертеть колеса, только вызвали бы подобие движения, а между тем изогнули бы колеса, помешав этим возможности настоящего движения.

То же делают люди, думающие посредством внешнего насилия двигать людьми.

Люди говорят, что христианская жизнь без насилия не может установиться потому, что есть дикие народы внехристианского общества – в Африке, в Азии (некоторые такую угрозой нашей цивилизации представляют китайцев), и есть такие дикие, испорченные и, по новой теории наследственности, прирожденные преступники среди христианских обществ, и что для удержания тех и других людей от разрушений нашей цивилизации необходимо насилие.

Но те дикие люди и вне и внутри обществ, которыми мы пугаем себя и других, никогда не покорялись насилию, не покорены им и теперь.

Народы никогда не покоряли себе других народов одним насилием. Если народ, покорявший другой, стоял на низшей степени развития, то всегда повторялось то, что он не вводил насилием своего устройства жизни, а, напротив, всегда сам подчинялся тому устройству жизни, которое существовало в покоренном народе. Если чем покорен или близок к покорению какой-либо из подавляемых силою народов, то только общественным мнением, а никак не насилием, которое, напротив, всё больше и больше возмущает народ.

Если покорялись когда люди целыми народами новому религиозному исповеданию и

целыми народами крестились или переходили в магометанство, то совершались эти перевороты не потому, что их принуждали к этому люди, обладающие властью (насилие, напротив, чаще в обратную сторону поощряло эти движения), а потому, что принуждало их к этому общественное мнение. Народы же, которые силою принуждались к принятию вер победителей, никогда не принимали их.

То же и по отношению тех диких элементов, живущих среди обществ: ни увеличение, ни уменьшение строгости наказаний, ни изменение тюрем, ни увеличение полиции не уменьшают и не увеличивают количества преступлений, – уменьшается оно только вследствие изменения общественного мнения. Никакие строгости не искоренили дуэлей и кровомщения в некоторых странах. Сколько бы ни казнили черкесов за воровство, они продолжают красть из молодечества, потому что ни одна девушка не пойдет за молодого человека, не показавшего свою удаль, укравши лошадь или по крайней мере барана. Если люди перестанут драться на дуэлях и черкесы воровать, то не из страха перед казнями (страх казни прибавляет прелести молодечества), а потому, что общественное мнение изменится. То же и во всех других преступлениях. Насилие никогда не может уничтожить того, что признается общественным мнением. Напротив, стоит только общественному мнению стать прямо вразрез с насилием, и оно уничтожает всё действие насилия, как это было и всегда бывает при всяком мученичестве.

что бы было, если бы не употреблялось насилия против враждебных народов и преступных элементов общества, мы не знаем. Но то, что теперь употребление насилия не покоряет ни тех, ни других, это мы знаем по продолжительному опыту.

Да и как же покорить силою народы, которых всё воспитание, все предания, даже религиозное учение ведет к тому, чтобы высшую добродетель видеть в борьбе с поработителями и в стремлении к свободе? И как искоренить насилием преступления в среде наших обществ, когда то, что считается правительствами преступлением, общественным мнением считается подвигом. Истребить насилием можно такие народы и таких людей, как это и делается, но покорить нельзя.

Решителем всего, основною силою, двигавшею и двигающею людьми и народами, всегда была и есть только одна невидимая, неосызаемая сила – равнодействующая всех духовных сил известной совокупности людей и всего человечества, выражающаяся в общественном мнении.

Насилие только ослабляет эту силу, задерживает, извращает и подменивает ее другою, не только не полезною для движения вперед человечества, но вредною деятельностью.

Для покорения христианству диких людей внехристианского мира – всех зулусов, и манджуров, и китайцев, которых многие считают за диких, – и людей диких, живущих в среде христианского мира, есть только одно, одно средство: распространение среди этих народов христианского общественного мнения, устанавливающегося только христианскою жизнью, христианскими поступками, христианскими примерами. И вот для того, чтобы завладеть теми людьми, которые остались не покоренными христианству, имея только это одно, только одно средство, люди нашего времени делают как раз обратное тому, что может достигнуть цели.

Для покорения христианству диких народов, которые нас не трогают и на угнетение которых мы ничем не вызваны, мы, вместо того чтобы прежде всего оставить их в покое, а в случае необходимости или желая сближения с ними воздействовать на них только христианским к ним отношением, христианским учением, доказанным истинными христианскими делами терпения, смирения, воздержания, чистоты, братства, любви, мы, вместо этого, начинаем с того, что, устраивая среди них новые рынки для нашей торговли, имеющие целью одну нашу выгоду, захватываем их землю, т. е. грабим их, продаем им вино, табак, опиум, т. е. развращаем их и устанавливаем среди них наши порядки, обучаем их насилию и всем приемам его, т. е. следованию одному животному закону борьбы, ниже которого не может спуститься человек, делаем всё то, что нужно для того, чтобы скрыть от них всё, что есть в нас христианского. И после этого, послав к ним десятка два болтающих притворный церковный вздор миссионеров, мы в виде неопровержимого доказательства невозможности приложения к жизни христианских истин приводим эти наши опыты обращения диких в христианство.

* * *

То же и для тех так называемых преступников, живущих внутри наших обществ. Для

того, чтобы покорить этих людей христианству, есть только одно-единственное средство: христианское общественное мнение, которое может быть установлено среди этих людей только истинным христианским учением, подтвержденным истинным христианским примером жизни.

И вот для проповедания этого христианского учения и подтверждения его христианским примером мы устраиваем среди этих людей мучительные тюрьмы, гильотины, виселицы, казни, приготовления к убийству, на которые употребляем все свои силы, устраиваем для черного народа идолопоклоннические вероучения, долженствующие одурять их, устраиваем правительственную продажу одурманивающих ядов – вина, табаку, опиума; учреждаем даже проституцию; отдаем землю тем, кому она не нужна; устраиваем зрелища безумной роскоши среди нищеты; уничтожаем всякую возможность всякого подобия христианского общественного мнения; старательно разрушаем устанавливающееся христианское общественное мнение и потом этих-то самых нами самими старательно развращенных людей, запирая их, как диких зверей, в места, из которых они не могут выскочить и в которых они еще более звереют, или убивая их, – этих самых нами со всех сторон развращенных людей приводим в доказательство того, что на людей нельзя действовать иначе, как грубым насилием.

Совершается нечто подобное тому, что бывает тогда, когда заботливые невежественные врачи, поставив выздоравливающего силою природы больного в самые невыгодные условия гигиены и пичкая его ядовитыми лекарствами, потом утверждают, что больной не умер только благодаря их гигиене и лечению, тогда как больной уже давно бы был совсем здоров, если бы они его оставили в покое.

Насилие, которое выставляется орудием поддержания христианского устройства жизни, не только не производит этого действия, а, напротив, оно-то и препятствует общественному устройству быть тем, чем оно могло и должно бы быть. Общественное устройство таково, каково оно есть, не благодаря насилию, а несмотря на него.

И потому несправедливо утверждение защитников существующего строя о том, что если насилие только едва удерживает злые нехристианские элементы человечества от нападения на нас, то упразднение насилия и замена его общественным мнением не оградят человечества. Несправедливо это потому, что насилие не ограждает человечества, а, напротив, лишает человечество единственной возможности действительного ограждения себя установлением и распространением христианского общественного мнения на существующее устройство жизни. Только при упразднении насилия христианское общественное мнение перестанет извращаться, получит возможность беспрепятственного распространения, и люди не будут направлять свои силы на то, что не нужно им, а направят их на ту одну духовную силу, которая движет ими.

Но как отбросить очевидное, осязаемое ограждение городского с пистолетом и положиться на нечто невидимое, неосязаемое – общественное мнение? Существует ли еще оно, или нет? Главное же, тот порядок вещей, в котором мы живем, мы знаем. Хорош ли, дурен ли он, мы знаем его недостатки и привыкли к нему, знаем, как вести себя, что делать в теперешних условиях; но что будет тогда, когда мы откажемся от него и положимся на что-то невидимое, неосязаемое и вполне не известное? И людям представляется страшной та неизвестность, в которую они вступают, отказавшись от знакомых порядков жизни.

Но ведь хорошо бояться неизвестности, когда известное нам наше положение прочно и обеспечено. Но положение наше не только не обеспечено, но мы несомненно знаем, что стоим на краю гибели.

Если уж бояться, то будем бояться того, что, точно, страшно, а не того, что мы только предполагаем страшным.

Боясь сделать усилие, чтобы вырваться из губящих нас условий только потому, что будущее не вполне известно нам, мы похожи на пассажиров тонущего корабля, которые бы, боясь сесть в лодку, перевозящую их на берег, забились бы в каюту и не хотели бы выходить из нее; или на тех овец, которые от страха огня, охватившего двор, жмутся под сарай и не выходят в открытые ворота.

Разве можно нам, людям, стоящим на пороге ужасающей по бедственности и истребительности войны внутренних революций; перед которой, как говорят

приготовители ее, ужасы 93 года будут игрушкой, говорить об опасности, которая угрожает нам от дагомейцев, зулусов и т. п., которые живут за тридевять земель и не думают нападать на нас и от тех нескольких тысяч одуренных нами же и развращенных мошенников, воров и убийц, число которых не уменьшается от всех наших судов, тюрем и казней.

Кроме того, страх этот перед упразднением видимого ограждения полицейского городского есть страх преимущественно городских людей, т. е. людей, живущих в ненормальных и искусственных условиях. Люди, живущие в естественных условиях жизни, не по городам, но среди природы, борясь с нею, живут без этого ограждения и знают, как мало может оградить их насилие от окружающих их действительных опасностей. В страхе этом есть что-то болезненное, зависящее преимущественно от тех ложных условий, в которых многие из нас живут и выросли.

Доктор-психиатр рассказывал, что однажды летом, когда он выходил из больницы, душевнобольные сопровождали его до ворот на улицу. «Пойдемте со мной в город», – предложил им доктор. Больные согласились, и небольшая кучка пошла за доктором. Но чем дальше они подвигались по улице, где происходило свободное движение здоровых людей, тем более робели и всё ближе и ближе жались к доктору, задерживая его ход. И наконец, все стали проситься назад в свою больницу, к своему безумному, но привычному образу жизни, к своим сторожам, побоям, длинным рукавам, одиночкам.

Так же жмутся и тянутся назад к своему безумному строю жизни, своим фабрикам, судам, тюрьмам, казням, войнам люди, которых зовет христианство на волю, на свободную, разумную жизнь будущего, наступающего века.

Люди говорят: «Чем мы будем обеспечены, когда уничтожится существующее устройство? Какие именно и в чем будут состоять те новые порядки, которые заменят теперешние? До тех же пор, пока мы не будем знать, как именно сложится наша жизнь, мы не пойдем вперед и не тронемся с места».

Требование это подобно тому, которое заявил бы исследователь новых стран, потребовав подробное описание той страны, в которую он вступает.

Если бы жизнь отдельного человека при переходе от одного возраста к другому была бы вполне известна ему, ему незачем бы было жить. То же и с жизнью человечества: если бы у него была программа той жизни, которая ожидает его при вступлении в новый возраст его, то это было бы самым верным признаком того, что оно не живет, не движется, а толчется на месте.

Условия нового строя жизни не могут быть известны нам, потому что они должны быть выработаны нами же. Только в том и жизнь, чтобы познавать неизвестное и сообразовать с этим новым познанием свою деятельность.

В том жизнь каждого отдельного человека, и в том жизнь человеческих обществ и человечества.

* * *

Положение христианского человечества со своими тюрьмами, каторгами, виселицами, со своими фабриками, скоплениями капиталов, с своими податями, церквями, кабаками, домами терпимости, всё растущими вооружениями и миллионами одуренных людей, готовых, как цепные собаки, броситься на тех, на кого их натравят хозяева, было бы ужасным, если бы оно было произведением насилия, но оно есть прежде всего произведение общественного мнения. А то, что установлено общественным мнением, не только может им же быть разрушено, но им же и разрушается.

Сотни миллионов денег, десятки миллионов дисциплинированных людей, удивительной силы орудия истребления, при доведенной до последней степени совершенства организации, при целой армии людей, призванной к тому, чтобы обманывать и гипнотизировать народ, и всё это подчиненное, посредством электричества, уничтожающее пространство, людям, считающим такое устройство общества не только выгодным для себя, но таким, без которого они должны неизбежно погибнуть, и потому употребляющим все силы своего ума для поддержания его, – какая, казалось бы, несокрушимая сила.

А между тем стоит только представить себе то, к чему дело идет и чему никто не

может воспрепятствовать, что между людьми установилось с такою же силою и всеобщностью, как и языческое общественное мнение, общественное мнение христианское и заменило языческое, что большинство людей так же стыдится участия в насилии и пользовании им, как стыдятся теперь люди мошенничества, воровства, нищенства, трусости, и тотчас же само собой, без борьбы и насилия уничтожается это сложное и кажущееся столь могущественным устройство жизни. А для того, чтобы это случилось, не нужно, чтобы вошло в сознание людей что-либо новое, а только чтобы исчез тот туман, который скрывает от людей истинное значение некоторых дел насилия, чтобы растущее христианское общественное мнение пересилило отживающее общественное мнение языческое, допуславшее и оправдывавшее дела насилия. Нужно только, чтобы людям стало так же стыдно делать дела насилия, участвовать в них и пользоваться ими, как стыдно теперь быть и слыть мошенником, вором, трусом, нищим. А это самое начинает совершаться. Мы только не замечаем этого, как не замечают люди движения, когда они сами движутся вместе со всем окружающим.

Правда, устройство жизни в главных чертах остается всё таким же насильническим, каким оно было 1000 лет тому назад, и не только таким же, но в некоторых отношениях, особенно в приготовлениях к войне и в самых войнах, оно представляется даже более жестоким; но зарождающееся христианское общественное мнение, то самое, которое при известной степени развития должно изменить всё языческое устройство жизни, уже начинает действовать. Засохшее дерево по виду стоит так же твердо, как оно стояло и прежде, – оно даже кажется тверже, потому что стало жестче, – но оно уже подтачивается в сердцевине и готовится к падению. То же и с теперешним насильническим устройством жизни. Внешнее положение людей то же: такие же одни насильники, другие насилуемые, но уже не тот взгляд и насилующих и насилуемых на значение и достоинство положений тех и других.

Люди насилующие, т. е. участвующие в управлении, и люди, пользующиеся насилием, т. е. богатые, не представляют уже теперь из себя, как это было прежде, цвета общества и тот идеал человеческого благополучия и величия, к которому стремились прежде все насилуемые. Теперь уже, очень часто, не насилуемые стремятся к положению насилующих и стараются подражать им, а, напротив, насилующие часто добровольно отказываются от выгод своего положения, избирают положение насилуемых и стараются в простоте жизни уподобиться насилуемым.

Не говоря уже о явно презираемых теперь должностях и положениях, вроде: шпионов, агентов тайной полиции, ростовщиков, кабатчиков, – большое количество положений насильников, считавшихся прежде почетными, вроде полицейских, придворных, судейских, административных, духовных, военных, откупщицких, банкирских, не только не считается всеми желательным, но уже осуждается известным наиболее уважаемым кругом людей. Есть уже люди, которые добровольно отказываются от этих прежде считавшихся безукоризненными положений и предпочитают им менее выгодные, но не связанные с насилием положения.

* * *

Но не только правительственные люди, есть уже и такие богатые люди, которые не по религиозному чувству, как это бывало прежде, а только вследствие особенной чуткости к зарождающемуся общественному мнению отказываются от унаследованных состояний, считая справедливым пользование только тем, что заработано своим трудом.

Положение участника в правительстве и богача уже не представляется, как оно было прежде и каково оно теперь среди нехристианских народов, несомненно почтенным и достойным уважения положением и благословением Божиим. Люди, наиболее чуткие, нравственные (большею частью они же и наиболее образованные) избегают этих положений и предпочитают им более скромные, но не зависимые от насилия положения.

Лучшие молодые люди в том возрасте, когда они еще не испорчены жизнью и избирают карьеру, предпочитают деятельность врачей, технологов, учителей, художников, писателей, даже просто земледельцев, живущих своим трудом, положениям судейским, административным, духовным и военным, оплачиваемым правительством, или положению людей, живущих своими доходами.

Большинство памятников, воздвигаемых теперь, воздвигается уже не государственным деятелям, не генералам и уже никак не богачам, а ученым, художникам, изобретателям, людям, не имевшим не только ничего общего ни с правительствами, ни с властью, но очень часто боровшимся с нею. Воспеваются в поэзии,

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
изображаются пластическим искусством, почитаются торжественными юбилеями не
столько государственные люди и богачи, сколько ученые, художники...

Лучшие люди нашего времени стремятся в эти наиболее чтимые положения, и потому
круг, из которого отбираются люди правительственные и богатые, становится всё
меньше и низменнее, так что по уму, образованию и в особенности по нравственным
качествам уже теперь люди, стоящие во главе управления, и богачи не составляют,
как это было в старину, цвета общества, а, напротив, стоят ниже среднего уровня.

Как в России и Турции, так в Америке и Франции, сколько правительства ни
переменяют своих чиновников, большинство их люди корыстные и продажные, стоящие
на такой низкой степени нравственности, что они не удовлетворяют даже и тем
низким требованиям простой неподкупности, которые предъявляются к ним
правительствами.

Часто можно слышать теперь наивные сетования правительственных людей о том, что
лучшие люди по какой-то страной, как им кажется, случайности, всегда находятся
во враждебном им лагере. Вроде того, как если бы люди сетовали, что по какой-то
странной случайности в палачи попадают все люди неутонченные и не особенно
добрые.

Большинство богатых людей точно так же в наше время составляются уже не из самых
утонченных и образованных людей общества, как это было прежде, а или из грубых
собирателей богатств, занятых только обогащением себя, большею частью нечестными
средствами, или из вырождающихся наследников этих собирателей, не только не
играющих выдающейся роли в обществе, но подвергающихся в большинстве случаев
всеобщему презрению.

* * *

Те же в христианском мире правители и правительства, те же войска, те же суды,
те же мытари, то же духовенство, те же богачи землевладельцы, фабриканты и
капиталисты, как и прежде, но совсем другое уже отношение к ним людей и самих
людей к своему положению.

Все те же правители, так же ездят на свидания, такие же встречи, и охоты, и
пиры, и балы, и мундиры, и такие же дипломаты, и разговоры о союзах и войнах;
такие же парламенты, в которых так же разбираются вопросы восточные и
африканские, и союзов, и разрывов, и гомруля, и 8-часового дня. И так же
сменяются одни министерства другими, такие же речи, инциденты. Но людям,
видящим, каким образом одна статья в газете изменяет более положение дел, чем
десятки свиданий монархов и сессий парламентов, всё яснее и яснее становится,
что не эти встречи, и свидания, и разговоры в парламентах руководят делами
людей, а нечто независимое от всего этого и нигде не сосредоточенное.

Те же генералы, и офицеры, и солдаты, и пушки, и крепости, и смотры, и маневры,
но войны нет год, десять, двадцать лет, и кроме того всё менее и менее можно
надеяться на военных для усмирения бунтов, и всё яснее и яснее становится, что
поэтому генералы, и офицеры, и солдаты суть только члены торжественных
процессий, – предметы забавы правителей, большие, слишком дорогостоящие
кордебалеты.

Те же прокуроры, и судьи, и такие же заседания, но становится всё яснее и яснее,
что так как гражданские суды решаются по самым разнообразным причинам, но только
не по справедливости, и что уголовные суды не имеют никакого смысла, потому что
наказания не достигают никакой допускаемой даже самими судьями цели, то
учреждения эти не представляют никакого другого значения, как только средство
кормления людей, ни на что более полезное не способных.

Те же священники, и архиереи, и церкви, и синоды, но всем становится всё яснее и
яснее, что люди эти давно уже сами не верят в то, что проповедают, и потому не
могут уже никого убедить в необходимости верить в то, во что они сами не верят.

Те же сборщики податей, но они всё менее и менее делаются способными силою
отнимать у людей их имущество, и становится всё яснее и яснее, что люди без
сборщиков податей могут по добровольной подписке собрать всё, что им нужно.

Те же богачи, но всё становится яснее и яснее, что они могут быть полезны только
в той мере, в которой они перестанут быть личными распорядителями своих богатств

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
и отдадут обществу всё или хотя часть своего состояния.

* * *

Когда же всё это совсем и всем делается вполне ясным, естественно будет людям спросить себя: «Да зачем же нам кормить и содержать всех этих королей, императоров, президентов и членов разных палат и министерств, ежели от всех их свиданий и разговоров ничего не выходит? Не лучше ли, как говорил какой-то шутник, сделать королеву из гуттаперчи?»

«И на что нам войска с их генералами, и музыками, и кавалериями, и барабанами? На что они нужны, когда войны нет, никто не желает никого завоевывать, и даже если и есть война, то барышами от нее не дают воспользоваться другие народы и по своему народу войска отказываются стрелять?»

«И на что такие судьи и прокуроры, которые в гражданских делах решают не по справедливости, а в уголовных делах сами знают, что всякие наказания бесполезны?»

«И на что такие сборщики податей, которые неохотно собирают подати, а то, что нужно, собирается и без них?»

«И на что духовенство, которое давно уже не верит в то, что оно должно проповедовать?»

«И на что капиталы в частных руках, когда они могут приносить пользу, только сделавшись общим достоянием?»

А раз спросив себя об этом, люди не могут не прийти к решению перестать содержать все эти ставшие бесполезными учреждения.

Но мало того, что люди, содержащие эти учреждения, придут к решению упразднить их, сами люди, занимающие эти положения, одновременно или еще прежде этого будут приведены к необходимости отказа от этих положений.

Общественное мнение всё более и более осуждает и отрицает насилие, и потому люди, всё более и более подчиняясь общественному мнению, всё менее и менее охотно занимают положения, поддерживаемые насилием; те же, которые занимают эти положения, всё менее и менее могут употреблять насилие. Не употребляя же насилия, но оставаясь в положении, обусловливаемом насилием, люди, занимающие эти положения, всё более и более становятся ненужными. И ненужность эта, всё более и более чувствуясь и теми, которые поддерживают эти положения, и теми, которые находятся в них, делается, наконец, такова, что не найдется более людей для того, чтобы поддерживать эти положения, и таких, которые бы решились занимать их.

Раз я в Москве присутствовал при спорах о вере, которые происходили по обыкновению на Фоминой у церкви в Охотном ряду. Собралась на тротуаре кучка, человек 20, и шел серьезный разговор о религии. В это же время был какой-то концерт в рядом стоящем здании дворянского собрания, и полицейский офицер, заметив кучку народа, собравшуюся у церкви, прислал верхового жандарма с приказанием разойтись. Офицеру собственно не нужно было, чтобы расходились. Собравшиеся 20 человек никому не мешали; но офицер стоял тут целое утро, и ему надо было что-нибудь делать. Молодой малый – жандарм, молодецки подпираясь правой рукой и гремя саблей, подъехал к нам и строго приказал: «Разойтись! Что собрались?» Все оглянулись на жандарма, и один из говоривших, скромный человек в чуйке, спокойно и ласково сказал: «Мы говорим о деле, и нам незачем расходиться, а ты лучше, молодой человек, слезь да послушай, о чем говорят. И тебе будет на пользу», и, отвернувшись, продолжал беседу. Жандарм молча отвернул лошадь и отъехал.

* * *

То же самое должно совершиться во всех делах насилия. Офицеру скучно, ему делать нечего; он, бедный, поставлен в такое положение, в котором ему необходимо распорядиться. Он лишен всякой человеческой жизни, ему можно только смотреть и распорядиться, распорядиться и смотреть, хотя распоряжения его и смотреть не для чего не нужны. В таком же положении отчасти уже находятся и в скором времени вполне будут находиться все эти несчастные правители, министры, члены парламентов, губернаторы, генералы, офицеры, архиереи, священники, богачи даже.

Им больше ничего нельзя делать, как только распоряжаться, и они распоряжаются, посылают своих посланных, как офицер жандарма, для того чтобы мешать людям, и так как люди, которым они мешают, обращаются к ним же с просьбами, чтобы они не мешали им, то им кажется, что они необходимо нужны.

Но приходит время и придет, когда станет всем совершенно ясно, что они ни на что не нужны, а только мешают людям, и люди, которым они мешают, скажут им ласково и кротко, как тот человек в чуйке: «Не мешайте нам, пожалуйста». И все эти посланные и посылающие должны будут последовать этому доброму совету, т. е. перестать, подбоchenясь, ездить между людьми, мешая им, а слезши со своих коньков и снявши с себя свои наряды, послушать то, что говорят люди, и, присоединясь к ним, приняться со всеми вместе за настоящую человеческую работу.

Приходит время и неизбежно придет, когда все насильнические учреждения нашего времени уничтожатся вследствие сделавшейся слишком очевидной для всех ненужности, нелепости, даже неприличия их.

Должно прийти время, когда с людьми нашего мира, занимающими положения, даваемые насилем, случится то, что случилось с королем в сказке Андерсена «О новом царском платье», когда малое дитя, увидав голого царя, наивно вскрикнуло: «Смотрите, он голый!» – и все, видевшие это и прежде, но не высказывающие, не могли уже более скрывать этого.

Сказка в том, что к царю, охотнику до новых платьев, приходят портные, обещающиеся шить необыкновенное платье. Царь нанимает портных, и портные начинают шить, но говорят, что особенное свойство их платья то, что кто не нужен для своей должности, тот не может видеть платьев.

Придворные приходят смотреть работу портных и ничего не видят, так как портные водят иголками по пустому месту. Но, помня условие, все должностные лица говорят, что видят платье и хвалят их. То же делает и царь. Приходит время процессии, в которой царь пойдет в новом платье. Царь раздевается и надевает новые платья, т. е. остается голый и голый идет по городу. Но, помня условие, никто не решается сказать, что платьев нет, до тех пор, пока малое дитя не вскрикнуло: «Смотрите, он голый!»

То же должно случиться со всеми занимающими по инерции положения, давно уже ставшие ненужными, когда первый не заинтересованный в том, чтобы, по пословице: рука руку моет, скрывать ненужность этих учреждений, укажет на бесполезность их и наивно крикнет: «А ведь люди эти уже давно ни на что не нужны».

Положение христианского человечества с его крепостями, пушками, динамитами, ружьями, торпедами, тюрьмами, виселицами, церквями, фабриками, таможенями, дворцами действительно ужасно; но ведь ни крепости, ни пушки, ни ружья ни в кого сами не стреляют, тюрьмы никого сами не запирают, виселицы никого не вешают, церкви никого сами не обманывают, таможи не задерживают, дворцы и фабрики сами не строятся и себя не содержат, а всё делают это люди. Если же люди поймут, что этого не надо делать, то этого ничего и не будет.

А люди уже начинают понимать это. Если еще не все понимают это, то всё понимают передовые люди, те, за которыми идут остальные. И перестать понимать то, что раз поняли передовые люди, они уже никак не могут. Понять же то, что поняли передовые, остальные люди не только могут, но неизбежно должны.

Так что предсказание о том, что придет время, когда все люди будут научены Богом, разучатся воевать, перекуют мечи на орала и копья на серпы, т. е., переводя на наш язык, все тюрьмы, крепости, казармы, дворцы, церкви останутся пустыми и все виселицы, ружья, пушки останутся без употребления, – уже не мечта, а определенная, новая форма жизни, к которой с всё увеличивающейся быстротой приближается человечество.

* * *

Но когда же это будет?

1800 лет назад на вопрос этот Христос ответил, что конец нынешнего века, т. е. языческого устройства мира, наступит тогда, когда (Мф. XXIV, 3–28) увеличатся до последней степени бедствия людей и вместе с тем благая весть Царства Божия, т. е. возможность нового, ненасильнического устройства жизни, будет проповедана по

всей земле.

«О дне же и часе том никто не знает, только отец мой один (Мф. XXIV, 36)», – тут же говорит Христос. Ибо оно может наступить всегда, всякую минуту, и тогда, когда мы не ожидаем его.

На вопрос о том, когда наступит этот час, Христос говорит, что знать этого мы не можем; но именно потому, что мы не можем знать времени наступления этого часа, мы не только должны быть всегда готовы к встрече его, как должен быть всегда готов хозяин, стерегущий дом, как должны быть готовы девы со светильниками, встречающие жениха, но и должны работать из всех данных нам сил для наступления этого часа, как должны были работать работники на данные им таланты (Мф. XXIV, 43; XXV, 1–30). На вопрос, когда наступит этот час, Христос увещевает людей всеми своими силами работать для скорейшего наступления его.

И другого ответа не может быть. Знать то, когда наступит день и час Царства Божия, люди никак не могут, потому что наступление этого часа ни от кого другого не зависит, как от самих людей.

Ответ тот же, как ответ того мудреца, который, на вопрос прохожего: далеко ли до города? – ответил: «Иди». Как мы можем знать, далеко ли до той цели, к которой приближается человечество, когда мы не знаем, как будет подвигаться к этой цели человечество, от которого зависит – идти или не идти, остановиться, умерить свое движение или усилить его.

Всё, что мы можем знать, это то, что мы, составляющие человечество, должны делать и чего должны не делать для того, чтобы наступило это Царство Божие. А это мы все знаем. И стоит только каждому начать делать то, что мы должны делать, и перестать делать то, чего мы не должны делать, стоит только каждому из нас жить всем светом, который есть в нас, для того, чтобы тотчас же наступило то обещанное Царство Божие, к которому влечется сердце каждого человека.

Вместо послесловия
(Из очерка М. Горького «Лев Толстой»)
Умер Лев Толстой.

Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими словами сказано – скончался.

Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски, и вот теперь, в полоумном каком-то состоянии, представляю его себе, как знал, видел, – мучительно хочется говорить о нем. Представляю его в гробу, – лежит, точно гладкий камень на дне ручья, и, наверное, в бороде седой тихо спрятана его – всем чужая – обманчивая улыбочка. И руки наконец спокойно сложены – отработали урок свой каторжный...

Он всегда весьма расхваливал бессмертие по ту сторону жизни, но больше оно нравилось ему – по эту сторону. Писатель национальный в самом истинном значении этого понятия, он воплотил в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей; его туманная проповедь «неделания», «непротивления злу» – проповедь пассивизма, – всё это нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фанатизмом и, так сказать, химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой.

То, что называют «анархизмом Толстого», в существе и корне своем выражает нашу славянскую антигосударственность, черту опять-таки истинно национальную, издревле данное нам в плоть стремление «разбрестись розно».

Мы и по сей день отдаемся стремлению этому страстно – расплзаемся, и всегда по линиям наименьшего сопротивления, видим, что это пагубно, и ползем еще дальше друг от друга; эти печальные тараканы путешествия и называются «История России», государства, построенного едва ли не случайно, чисто механически, к удивлению большинства его честно мыслящих граждан, силами варягов, татар, остзейских немцев и околоточных надзирателей.

К удивлению, ибо мы всё «разбрелись», и только, когда дошли до мест, хуже которых – не найдешь, дальше идти – некуда, ну – остановились оседло жить: такова, стало быть, доля наша, такова судьба, чтобы сидеть нам в снегах и на болотах, в соседстве с дикой Эрзей, Чудью, Мерей, Весью и Муромой. Но явились люди, учувявшие, что свет нам не с Востока, а с Запада, и вот он, завершитель

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
старой истории нашей, желает – сознательно и бессознательно – лечь высокой горою на пути нации к Европе, к жизни активной, строго требующей от человека величайшего напряжения всех духовных сил.

Его отношение к опытному знанию тоже, конечно, глубоко национально, в нем превосходно отражается деревенский, старорусский скептицизм невежества. В нем – всё национально, и вся проповедь его – реакция прошлого, атавизм, который мы уже начали было изживать, одолевать.

* * *

Он часто казался мне человеком непоколебимо – в глубине души своей – равнодушным к людям, он был настолько выше, мощнее их, что они все казались ему подобными мошкам, а суета их – смешной и жалкой. Он слишком далеко ушел от них в некую пустыню и там, с величайшим напряжением всех сил духа своего, одиноко всматривался в «самое главное» – в смерть.

Всю жизнь он боялся и ненавидел ее, всю жизнь около его души трепетал «арзамасский ужас», ему ли, Толстому, умирать? Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки – отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити, его душа – для всех и – навсегда! Почему бы природе не сделать исключения из закона своего и не дать одному из людей физическое бессмертие, – почему? Он, конечно, был слишком рассудочен и умен для того, чтоб верить в чудо, но, с другой стороны, – он был озорник, испытатель и, как молодой рекрут, бешено буйствовал со страха и отчаяния пред неведомой казармой.

Помню – в Гаспре, после выздоровления, прочитав книжку Льва Шестова «Добро и зло в учении Ницше и графа Толстого», он сказал в ответ на замечание А. П. Чехова, что «книга эта не нравится ему»:

– А мне показалась забавной. Форсисто написано, а – ничего, интересно. Я ведь люблю циников, если они искренние. Вот он говорит: «Истина – не нужна», и верно: на что ему истина? Все равно – умрет.

И, видимо, заметив, что слова его не поняты, добавил, остро усмехаясь:

– Если человек научился думать, – про что бы он ни думал, – он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А – какие же истины, если будет смерть?

Далее он начал говорить, что истина едина для всех – любовь к богу, но на эту тему говорил холодно и устало. А после завтрака, на террасе, снова взял книгу и, найдя место, где автор пишет: «Толстой, Достоевский, Ницше не могли жить без ответа на свои вопросы, и для них всякий ответ был лучше, чем ничего», – засмеялся и сказал:

– Вот какой смелый парикмахер, так прямо и пишет, что я обманул себя, значит – и других обманул. Ведь это ясно выходит...

Сулержицкий спросил:

– А почему – парикмахер?

– Так, – задумчиво ответил он, – пришло в голову, модный он, шикарный – и вспомнился парикмахер из Москвы на свадьбе у дяди-мужика в деревне. Самые лучшие манеры, и лянсье пляшет, отчего и презирает всех.

Этот разговор я воспроизвожу почти дословно, он очень памятен мне и даже был записан мною, как многое другое, поражавшее меня. Я и Сулержицкий записывали много, но Сулер потерял свои записи по дороге ко мне в Арзамас, – он вообще был небрежен и хотя по-женски любил Льва Николаевича, но относился к нему как-то странно, точно свысока немножко. Я тоже засунул куда-то мои записки и не могу найти, они у кого-то в России. Я очень внимательно присматривался к Толстому, потому что искал, до сей поры ищу и по смерть буду искать человека живой, действительной веры. И еще потому, что однажды А. П. Чехов, говоря о некультурности нашей, пожаловался:

– Вот за Гёте каждое слово записывалось, а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-русски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и – наврут.

* * *

Иногда казалось, что старый этот колдун играет со смертью, кокетничает с ней и старается как-то обмануть ее: я тебя не боюсь, я тебя люблю, я жду тебя. А сам остренькими глазками заглядывает: а какая ты? А что за тобою, там, дальше? Совсем ты уничтожишь меня, или что-то останется жить?

Странное впечатление производили его слова: «Мне хорошо, мне ужасно хорошо, мне слишком хорошо». И – вслед за этим тотчас же: «Пострадать бы». Пострадать – это тоже его правда; ни на секунду не сомневаюсь, что он, полубольной еще, был бы искренно рад попасть в тюрьму, в ссылку, вообще – принять венец мученический. Мученичество, вероятно, может несколько оправдать, что ли, смерть, сделать ее более понятной, приемлемой, – с внешней, с формальной стороны. Но – никогда ему не было хорошо, никогда и нигде, я уверен: ни «в книгах премудрости», ни «на хребте коня», ни «на груди женщины» он не испытывал полностью наслаждений «земного рая». Он слишком рассудочен для этого и слишком знает жизнь, людей. Вот еще его слова:

«Халиф Абдурахман имел в жизни четырнадцать счастливых дней, а я, наверное, не имел столько. И всё оттого, что никогда не жил – не умею жить – для себя, для души, а живу напоказ, для людей».

А. П. Чехов сказал мне, уходя от него: «Не верю я, что он не был счастлив». А я – верю. Не был. Но – неправда, что он жил «напоказ». Да, он отдавал людям, как нищим, лишнее свое; ему нравилось заставлять их, вообще – «заставлять» читать, гулять, есть только овощи, любить мужика и верить в непогрешимость рассудочно-религиозных домыслов Льва Толстого. Надо сунуть людям что-нибудь, что или удовлетворит, или займет их, – и ушли бы они прочь! Оставили бы человека в привычном, мучительном, а иногда и уютном одиночестве пред бездонным омутом вопроса о «главном».

Все русские проповедники, за исключением Аввакума и, может быть, Тихона Задонского, – люди холодные, ибо верою живой и действенной не обладали. Когда я писал Луку в «На дне», я хотел изобразить вот именно этакого старичка: его интересуют «всякие ответы», но не люди; неизбежно сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того, чтоб они не мешали ему жить. И вся философия, вся проповедь таких людей – милостыня, подаваемая ими со скрытой брезгливостью, и звучат под этой проповедью слова тоже нищие, жалобные:

«Отстаньте! Любите бога или ближнего и отстаньте! Проклинайте бога, любите дальнего и – отстаньте! Оставьте меня, ибо я человек и вот – обречен смерти!»

Увы, это так, надолго – так! И не могло и не может быть иначе, ибо – замаялись люди, измучены, разъединены страшно и все окованы одиночеством, которое высасывает душу. Если б Л. Н. примирился с церковью – это не удивило бы меня нимало. Здесь была бы своя логика: все люди – одинаково ничтожны, даже если они и епископы. Собственно – примирения тут и не было бы, для него лично этот акт только логический шаг: «Прощаю ненавидящих мя». Христианский поступок, а под ним скрыта легонькая, острая усмешечка, ее можно понять как возмездие умного человека – глупцам.

* * *

Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел: шел к нему в Гаспру берегом моря и под именем Юсупова, на самом берегу, среди камней, заметил его маленькую угловатую фигурку, в сером помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками, – между пальцев веют серебряные волосы бороды, и смотрит вдаль, в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластиятся зеленоватые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну.

День был пестрый, по камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни – огромные, в трещинах, и окиданы пахучими водорослями, – накануне был сильный прибой. И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том – когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека и всего мира, от камня до солнца. А море – часть его души, и всё вокруг – от него, из него.

В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пылливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над

Русский мир. Лев Николаевич Толстой to1stoyleo.ru
землей, как будто это он – его сосредоточенная воля – призывает и отталкивает
волны, управляет движением облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят
их. И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что – возможно! –
встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остеклеет, а камни пошевелиятся и
закричат, и всё вокруг оживет, зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о
нем, против него. Не изобразить словом, что почувствовал я тогда; было на душе и
восторженно и жутко, а потом всё слилось в счастливую мысль:

«Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!»

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://tolstoyleo.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!